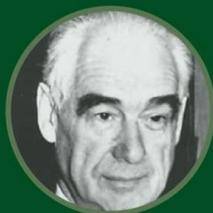


Леонид Фризман

**В КРУГАХ
ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ**

*Мемуарные
очерки*



Леонид Фризман

**В кругах литературоведов.
Мемуарные очерки**

«Нестор-История»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Ф 88

Ф88 Фризман Л.Г.

В кругах литературоведов: Мемуарные очерки. — 2-е изд., испр. и доп. — М.; СПб.: Нестор-История, 2017. — 380 с.

ISBN 978-5-4469-1248-3

Сборник мемуарных очерков известного советского, российского и украинского литературоведа рассказывает о людях, с которыми ему довелось общаться за более чем полвека своей научной деятельности. Среди них такие классики современной филологии, как Д. С. Лихачев, М. П. Алексеев, Д. Д. Благой, Б. Ф. Егоров, Н. Н. Скатов; ученые, с которыми у него сложились особенно продолжительные и близкие отношения, такие как М. Л. Гаспаров, В. Э. Вацуро, Г. М. Фридлендер, А. А. Аникст, Е. Г. Эткинд. Автор делится воспоминаниями о поддержке и помощи, которые он получал от своих коллег, и о препятствиях, которые ставились на его пути, о дискриминации, которой он подвергался. Публикуемые письма документально подтверждают правдивость освещения описываемых событий.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4469-1248-3



9 785446 912483

© Л.Г. Фризман, 2017

*Напрашивается то, чтобы писать без всякой формы:
не как статьи, рассуждения и не как художественное,
а высказывать, выливать, как можешь,
то, что сильно чувствуешь.*

Л.Н.Толстой

От автора

Я никогда не помышлял писать мемуары. Но в последние годы меня не раз приглашали участвовать в сборниках, которые выпускались в честь или в память видных литературоведов, и просили поделиться воспоминаниями о них и моих отношениях с ними. Я считал своим долгом откликаться на такие предложения, потому что это давало мне возможность выразить свою признательность людям, с которыми меня сводила судьба, многократно помогавшим мне словом и делом. В моем представлении эта книга не обо мне, а о них.

Составившие ее очерки — это не главы. Каждый из них самостоятелен, поэтому иногда приходилось повторять в разных очерках одни и те же факты. Последовательность их условна. Из самого ее названия явствует, что эта книга об ученых, а, как любил говорить Дмитрий Сергеевич Лихачев, плохой человек не может быть хорошим ученым.

Желаю моим читателям интересных встреч с хорошими людьми.

Вместо введения

Сказать, что мои детские годы прошли в кругах литературоведов, было бы преувеличением, хотя люди этой специальности, в том числе фигурирующие в этой книге Маргарита Орестовна Габель и Марк Владимирович Черняков, входили в дружеский круг моих родителей и бывали в нашем доме с довоенных времен. Но то, что я рос в мире литературы, это уж точно. Никогда меня не окружали стены, не занятые книжными полками. Хорошо помню, что до войны я уже свободно читал и особенно любил книги Бориса Жидкова «Что я видел» и Сергея Розанова «Приключения Травки». А уж «Дядю Степу» и «Мистера Твистера» знал наизусть. Мой отец Генрих Венецианович Фрирман был историком-медиевистом, мать Дора Абрамовна Гершман — музыкантом, сначала пианисткой, а потом — дирижером-хормейстером. Жившая с нами сестра отца Лидия Венециановна, которую всю жизнь звали Люсей, очень меня любила и была мне, можно сказать, второй матерью.



С родителями

В нашей семье был своего рода культ Ахматовой, Гумилева, Антокольского. Отец собирал все сборники стихов Антокольского, а Люся переписывала от руки недоступные в те годы сборники Ахматовой: «Белая стая», «Четки», «Anno Domini MСMXXI». Позднее и я переписывал «Россию» Волошина, «Лирическое отступление» Асеева... Храню эти рукописные «альбомы» как реликвии, свидетельства того, в каком положении держала советская власть и подавленную литературу, и свой несчастный народ.

Но это было потом. А главным событием моего детства, конечно, была война. 22 июня в 12 часов наша притихшая семья слушала по радио выступление Молотова, стараясь не пропустить ни слова, не проронить ни звука. И как только прозвучали последние слова: «Враг будет разбит. Победа будет за нами», — отец сказал: «Надо уезжать». Сталин еще отдавал приказы немедленно отбросить противника и перенести боевые действия на его территорию, а отец не питал иллюзий и был уверен, что Харьков будет сдан. На следующее утро он поехал на вокзал и, вернувшись с потемневшим лицом, рассказал, что там висит объявление: «Билеты продаются только по приказу военного коменданта».

Маминых родителей уговаривать не пришлось. Они сразу ответили: «Куда ты, туда и мы». А бабушка по отцовской линии отказалась уезжать наотрез: она, дескать, видела немцев во время Первой мировой войны, это такие интеллигентные люди, их нечего опасаться... Ее, разумеется, убили.

Вскоре начались бомбежки. Среди ночи взывала сирена, радио передавало: «Граждане, воздушная тревога!» — и мы бежали в бомбоубежище. Эта многократно повторявшаяся фраза сопрягалась в моем детском мышлении со стихами Ахматовой. В ее стихотворении «Лотова жена» есть строка «Но громко жене говорила тревога». Для меня пятилетнего слово «тревога» имело только одно значение: «воздушная тревога».

Уехать из Харькова было трудно. Меня и маму спасла тетка — Серафима Николаевна Фрирман. Коммунистка с дореволюционным стажем, участница Гражданской войны, она была начальницей санитарного эшелона, увозившего в тыл раненых, пристроила там и нас. Хотя количество вещей, которые можно было взять с собой, ограничивалось лишь самым необходимым, для меня везли какие-то игрушки, машинки, кубики. Как же, ведь ребенку нужно будет чем-то играть! Отец и его сестра выбрались из города в последний момент, буквально из-под гусениц немецких танков. После месяца беспорядочных скитаний мы соединились в Уральске, где и прожили до лета 1944 года.

Жили трудной, полуголодной жизнью. Отец страдал тяжелой формой бронхиальной астмы, из-за которой его не призвали в армию. Неимоверными усилиями он умудрился дописать начатую в Харькове кандидатскую диссертацию и защитить ее в Саратовском университете. Но нормально работать, читать лекции астма

ему не давала, и мамина зарплата долго оставалась единственным источником нашего существования.

Мама работала хормейстером военного училища, эвакуированного из Ленинграда, и поэтому была награждена не только медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», которую давали всем, но и «За победу над Германией», полагающуюся только военнослужащим. Ее не хотели отпускать, предлагали квартиру и любые блага в Ленинграде, но отец об этом и слышать не хотел — рвался только в родной Харьков. Мама была, конечно, измождена тяжелой работой и недоеданием. Папа острил: война — лучший способ сделать женщин изящными.

Меня определили в детский сад: кормежка, которую я там получал, хоть как-то облегчала положение семьи. По этой причине я и в школу пошел на год позже, и в Уральске закончил только первый класс. Книги, понятное дело, были почти недоступны, но папа считал, что война не война, а ребенок должен развиваться нормально, и вечерами рассказывал мне содержание книг, которые, по его мнению, мне следовало читать в этом возрасте: «Золотой ключик», «Чук и Гек», сказки Андерсена, «Похождения Мюнхгаузена», «Дети капитана Гранта», «Приключения Тома Сойера».

Я жадно интересовался событиями на фронте. По несколько раз в день слушал сводки «От советского Информбюро» и «Приказы Верховного Главнокомандующего». Когда мама приносила из училища какие-нибудь газеты, зачитывал их до дыр. Отчетливо помню огромное впечатление, которое производили на меня статьи Ильи Эренбурга, большинство которых печатала «Красная звезда». Наверное, я мало что в них понимал, но меня завораживала их тональность, боль и гнев, клокотавшие в каждой строке. Эти короткие призывные предложения звучали как набат.

Стал и сам делать записи о происходивших событиях. Объемная тетрадь с такими записями, на обложке которой красуется надпись «Война», цела до сих пор и лежит сейчас передо мной. Вначале обширный исторический экскурс. Описаны события, предшествовавшие мюнхенскому сговору, разоблачена предательская политика Англии и Франции, которой противопоставлена благородная позиция Советского Союза, последующий захват Чехословакии, нападение на Польшу. Рассказано о гитлеровской агрессии против Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и о разгроме Франции. В полном соответствии с тогдашней советской пропагандой

освещено присоединение к СССР прибалтийских республик. Наконец разоблачено вероломство Гитлера, нарушившего советско-германский пакт о ненападении, и «анализируются» причины поражений Красной армии в первые месяцы войны.

Память у меня была цепкая: все деревни, где происходили бои, и имена отличившихся командиров я знал наизусть. Мама водила меня в училище, где устраивала мои «политинформации» для курсантов. Восхищенные слушатели, понятное дело, не скупилась на похвалы, а какая же мать упустит возможность похвастать способностями своего сына!

Возвращение в освобожденный Харьков, или, как тогда говорили, реэвакуация, осуществлялось только по вызовам. Моему отцу вызов пришел с большой задержкой. Это были первые проявления зарождавшегося государственного антисемитизма, который позднее расцвел буйным цветом, достигнув апогея в таких событиях, как убийство Михоэлса, расстрел в подвалах Лубянки членов Еврейского антифашистского комитета и арест «врачей-вредителей». Из-за этой задержки мы лишились квартиры, которую могли бы получить, приехав на несколько месяцев раньше, но возвращение в родной город воспринималось как счастье.

Во время переезда из Уральска в Харьков я сильно отравился и выжил чудом. Лишь через много лет я узнал, что меня соглашались лечить, только получив у отца расписку, что он не будет предъявлять претензии в случае моей смерти. Маме он об этом не рассказывал, не хотел, чтобы она знала, как велика была угроза.

Лечение мое растянулось на годы, меня не раз клали в больницу, и моя учеба в школе пошла наперекосяк. По истории и литературе я был на высоте, но с предметами физико-математического рода возникали нешуточные проблемы. Репетитор, которого мне взяли, не только помог мне закончить школу, хоть и без медали, но достаточно пристойно, но уверял, что я одарен именно по его линии.

Погиб ли во мне великий математик, неизвестно, но неоспоримым фактом является то, что на протяжении нескольких десятилетий мой ближайший дружеский круг составляли не литературоведы, а математики и теорфизики, притом не абы какие, а с достаточно известными именами. Я назову их без отчества, как называл, когда все они были живы и я жил с ними в одной стране. Мусик Каганов, Фред Басс, Вова Кошкин, Юра Гуревич, Юра Гандель, Юра Бережной, Люсик Вербицкий, Миша Ястребенецкий,

Леня Ставницер, Саша Френкель. Под их влиянием я пытался уменьшить прорехи в своей осведомленности в области точных наук, корпел над классическим учебником Е. Куранта и Г. Роббинса «Что такое математика».



Фризман, Кошкин, Басс

Вместе с Вовой Кошкиным мною вынашивалась идея создания новой науки — литературометрии, существом которой было бы применение к изучению литературы статистических методов. Поскольку эти попытки, совместно подготовленные нами доклады и публикации по тематике вызвали интерес и получили поддержку Михаила Леоновича Гаспарова, я рассказываю о них в посвященном ему очерке «Обманчивый коллега».

И все же я убежден, что постоянное общение с математиками и теорфизиками, да еще такого уровня, не прошло для меня бесследно. Я ездил на разного рода семинары и выездные «школы», и, хотя участвовал лишь в «культурных программах», выступая с докладами о поэтах и авторской песне, они на какое-то время становились моей средой обитания, и какие-то навыки присущего им склада мышления, надо думать, проникали в меня, пусть и в небольших дозах. Отсюда, видимо, присущая мне устойчивая тяга связывать своеобразие поэта с количественными показателями его словаря, и установка на системность любого анализа, более свойственная представителям точных наук, чем гуманитарных. Но от любых самооценок воздержусь, доверившись суду со стороны.

Твардовский, Буртин и другие

*Чтоб нам хоть слово правды
по-русски вытало прочесть.*

Б. Чичибабин

В начале марта 1962 года я получил письмо от А. Т. Твардовского. Этому предшествовало его выступление на торжественном заседании в Большом театре со «Словом о Пушкине», где он, в частности, сказал: «Разве ограничивается идейно-художественное содержание и значение одного из самых известных произведений политической лирики Пушкина “Клеветникам России” тем, что непосредственный повод его — Польское восстание 1830–1831 годов?»¹. Эти слова задели меня за живое. Я давно был убежден, что стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» толкуются у нас искаженно и предвзято, что мы боимся «обидеть» Пушкина, вскрыв их конкретно-исторический смысл и звучание, которое они имели в свое время. И вот Твардовский отделяет идейно-художественное содержание и значение этих стихов от их непосредственного повода! Может быть, это открывает возможность сказать правду о нем, о поводе? Ведь Твардовский был тогда в чести: депутат Верховного Совета, кандидат в члены ЦК КПСС. Казалось, ему позволят то, что запретно для других.

И я написал большое письмо, где на трех или четырех страницах высказал то, что думал о стихах «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», и предложил развернуть его в статью на эту тему. Ответ пришел немедленно. Вот его текст:

Уважаемый тов. Фризман!

Мне очень приятно было получить Ваше письмо в связи с моей речью о Пушкине и по душе мысли, высказанные в нем. Большую «аргументированную статью на эту тему» «Новый мир» вряд ли сможет сейчас поместить. Но, во-первых, возможно, мне удастся опубликовать Ваше письмо в ряду других писем в связи со «Словом о Пушкине», а во-вторых, не попытаться ли

¹ Твардовский А. Т. Собр. соч. В 6 т. М.: Худож. лит., 1976–1983. Т. 5. М., 1980. С. 371.

бы Вам написать что-нибудь на собственно современную тему? Писать Вы можете — это, по крайней мере, вполне очевидно. Желаю Вам всего доброго.

А. Твардовский
5 марта 1962 г.²



А. Т. Твардовский

Конечно, отказ есть отказ. Но я уже сорвался с цепи. «Мысли по душе», «писать Вы можете» — нетрудно представить себе, что значило для двадцатилетнего учителя школы рабочей молодежи подобное ободрение, да еще из уст самого Твардовского! Статью я написал, обивал с нею пороги разных журналов, но безуспешно: все выражали мне одобрение, но никто не хотел брать на себя ответственность за публикацию крамольного сочинения. И лишь тридцать лет спустя его напечатали «Вопросы литературы».

Не забыл я и о предложении Твардовского написать что-нибудь на собственно современную тему. Но случилось так, что в двери «Нового мира» я постучался лишь через несколько лет. Предложенная мной статья называлась «Ирония истории». Замысел ее был обязан своим возникновением словам Энгельса: «Люди, хвалившиеся тем, что *сделали* революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, — что *сделанная* революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл “иронией истории”»³.

Когда я стал пересматривать произведения и особенно письма Маркса и Энгельса, то убедился, что выражение «ирония истории» повторяется в них десятки раз, что им обозначается не менее чем закономерность исторического развития, что это ключ, помогающий и глубже понять прошлое, и правильное разобраться в настоящем. А какая еще эпоха способна была дать такое изобилие примеров действия этого закона, как не эпоха Брежнева, эпоха всепронизывающей

² Твардовский А. Т. Собр. соч. Т. 6, 1983. С. 189.

³ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 50 т. М.: Госполитиздат, 1955–1981. Т. 36. М., 1964. С. 263. Здесь и далее курсив или другое выделение слов в цитатах при отсутствии особых оговорок принадлежит автору цитируемого текста.

лжи, фальшивых ценностей, вымышленных успехов, беспримерного разлада между словом и делом! Моим глубинным устремлением, которому я не в силах был противостоять, была жажда выразить свое отношение к советской действительности. Помнится, я думал тогда, что, если бы я мог предпослать своей статье такой эпиграф, как хочу, я выбрал бы заключительные строки одной из баллад А. К. Толстого:

Российская коммуна, Прими мой первый опыт!⁴

Между письмом Твардовского и моим приходом в «Новый мир» произошло два важных события. В конце 1962 года в нем была опубликована повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», вслед за ней еще несколько его произведений, а летом 1963-го — поэма Твардовского «Теркин на том свете».

Когда я предлагал «Новому миру» статью о Пушкине и Польском восстании, меня вдохновляло убеждение, что «Новый мир» и его редактор настолько независимы и влиятельны, что способны пренебречь легко ожидаемым сопротивлением пушкиноведческой элиты и предать гласности крамольный с ее точки зрения материал.

Но в свете последующих поступков Твардовского слова в его письме, что ему **«по душе»** мысли, мной высказанные, наполнились для меня намного более значимым содержанием, я услышал в них одобрение своего бунтарства и нонконформизма. Ведь «Один день Ивана Денисовича» и «Теркин на том свете» были потрясением основ в несравненно большей степени, чем любое обновленное толкование стихов «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».

Не зря автор «Теркина» упредил свою поэму строфами, где эта установка сформулирована в самых обобщенных выражениях, применимых к разным конкретным ситуациям:



Обложка отдельного издания поэмы.

Рисунок О. Г. Верейского

⁴ Толстой А. К. Собр. соч. В 4-х т. М.: Изд. худож. лит, 1963–1964. Т. 1. М., 1963. С. 326.

Не спеши с догадкой плоской,
Точно критик-грамотей,
Всюду слышать отголоски
Недозволенных идей.

И с его лихой ухваткой
Подводить издалека —
От ущерба и упадка
Прямо к мельнице врага.

И вздувать такие страсти
Из запаса бабьих снов,
Что грозят советской власти
Потрясением основ.

Не ищи везде подвоха,
Не пугай из-за куста.
Отвыкай. Не та эпоха —
Хочешь, нет ли, а не та!⁵



Автограф А. Т. Твардовского

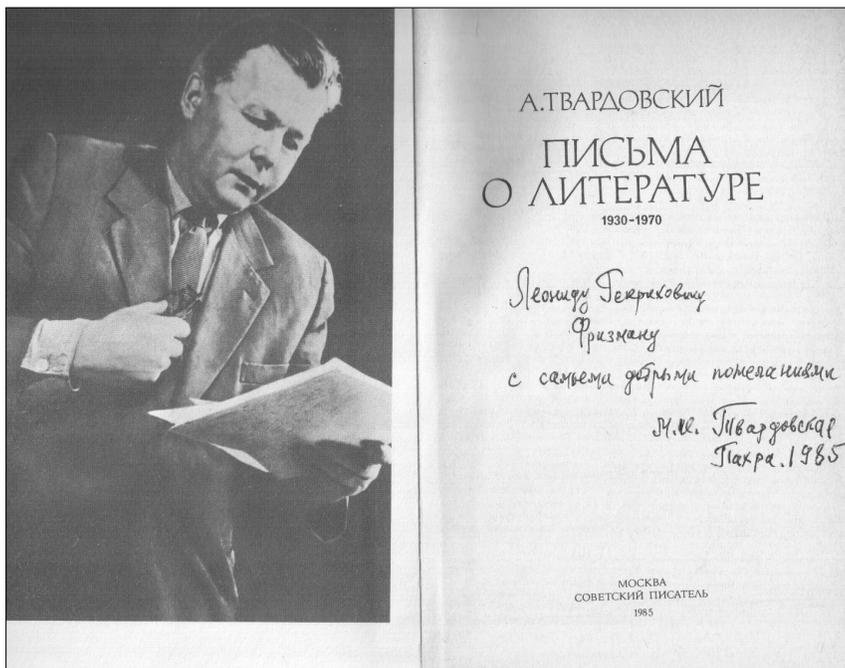
Надежда на взаимопонимание, которую я робко позволял себе питать, обращаясь к нему со своим письмом, полностью подтвердилась, когда я увидел, что из всех своих книг, которыми он мог бы меня одарить, он остановил свой выбор на отдельном издании поэмы «Теркин на том свете». Я счел это неоспоримым подтверждением того, что он почувствовал биение моего сердца, одобрил готовность вторгаться в запретные области, да как! **«Написать что-нибудь на собственно современную тему».**

Как и следовало ожидать, поэма вызвала взрыв ярости у сталинистов, которых в ту пору иронически именовали «бывшими слушателями культа». Из первых ринулся в бой верный знаменосец кочетовского «Октября» Дмитрий Стариков со статьей «Теркин

⁵ Твардовский А. Т. Собр. соч. Т. 3. М.: Худож. лит., 1978. С. 326.

против Теркина». Не промолчал и софроновский «Огонек». А события развивались в мрачном направлении. В 1964 году был отстранен от власти Хрущев, сразу же его зять Аджубей потерял пост редактора «Известий», газеты, которая первой, в обгон «Нового мира», хотя и с его согласия, напечатала «Теркина на том свете».

Но приходили и обнадеживающие вести. В ноябре 1963 года мы узнали, что В. Н. Плучек готовит в Театре сатиры спектакль по поэме «Теркин на том свете». Мне удалось побывать на нем дважды, и я видел изменения в постановке, которые вносились в нее, конечно, по желаниям Твардовского. Спустя много лет, в 1985 году, я получил от Марии Илларионовны Твардовской (о ней речь впереди!) составленный ею сборник «А. Твардовский. Письма о литературе». Это книга, которой нет цены. В ней опубликованы сотни писем — намного больше, чем в «Собрании сочинений», в том числе чрезвычайно важные письма к В. Н. Плучеку. Представляете себе, с каким интересом я через двадцать лет (!) сверял свои впечатления от спектакля с замечаниями, высказанными Твардовским!



Автограф М. И. Твардовской

Рецензии на постановку, появлявшиеся в печати, разумеется, были отрицательными. Я пробовал участвовать в этой дискуссии, да куда там! «Честная “Литературная газета”», как ее обычно называл Солженицын, не дала высказаться ни мне, ни моим единомышленникам. Должен признаться, что моя оценка спектакля не во всем совпадала с оценкой Твардовского. Собственно говоря, у него была не одна, а две оценки.

В письме, посланном в «Литературную газету», он взял спектакль под защиту, отверг обвинения его критиков и выразил благодарность и удовлетворение тем, что сделано театром. «Литгазета» напечатала это письмо, присовокупив к нему комментарий редакции, в котором оценка автора поэмы была названа «односторонней». А в большом письме к Плучеку от 7 января 1966 года Твардовский был полностью откровенен и высказал немало критических замечаний, причем достаточно резких.

Естественно, вначале сказаны слова, под которыми каждый из нас был бы готов подписаться, — «слова похвал и моего искреннего восхищения всем тем, что сделано Вами, Папановым (исполнителем роли Теркина. — Л.Ф.) и другими и что составляет безусловную и реальную ценность спектакля, о котором я ни от кого из видевших его не слышал ни единого слова сомнения относительно идейной и художественной правомерности этого неожиданного, как редкий подарок, явления искусства»⁶.

Замечания, высказанные им далее, мне казались мелкими, что совершенно естественно: не мог мой взгляд восторженного зрителя совпасть с требовательностью автора поэмы, который судил о сценическом перевоплощении его родного детища! Но в одном Твардовский был, как мне кажется, совершенно прав. «...Чего душа моя не приемлет, — писал он, — это “герлс” буржуазного того света с его “разложением”. Не нужно их в натуре. Они слишком безусловно телесны со всеми их “статями”, так что слова о том, что это “женский пол условный”, очень неубедительно звучат. Они должны быть “теньями”, мнимостью. Куда лучше они чувствуются без их зримой телесности, когда Теркин с другом подсматривают в щелку, что там делается, “за границей”»⁷. Я думаю, что здесь имел место чисто тактический просчет, который дал уже упоминавшему-

⁶ Твардовский А. Т. Письма о литературе. М.: Советский писатель, 1985. С. 294.

⁷ Там же. С. 296–297.

ся Д. Старикову повод лишний раз поглумиться над Твардовским... И все же — низкий поклон Плучеку и его театру! По моим наблюдениям, спектакль шел часто, был сравнительно доступен и у многих оставил такой же след в памяти, как у меня.

В моем восприятии Твардовского одно из важнейших, если не самое важное, мест всегда занимало его отношение к Сталину и то, как оно запечатлено в его произведениях. Мне одно время представлялось, что имел место естественный процесс: по мере того как становился известен чудовищный размах и характер сталинских преступлений, менялось и отношение Твардовского к «великому вождю». Оказалось, что дело обстояло иначе и сложнее.

Со времени появления первых стихов Твардовского до смерти Сталина прошло около трех десятилетий — большая часть его творческого пути. Написана поэма «Страна Муравия», принесшая ему широкую известность, завоевал сердца миллионов «Василий Теркин», в наши души запали десятки стихотворений. Твардовский — один из руководителей Союза писателей, лауреат Сталинской премии 1-й степени, член Ревизионной комиссии ЦК КПСС, главный редактор самого авторитетного литературного журнала «Новый мир». И на протяжении всех этих лет имя Сталина не упоминается в стихах поэта. Ведь когда Твардовский описывает Москву:

С подземными магистралями,
Гудящими, как струна.
Большую с заводом Сталина
И малую — в три окна⁸ —

это ведь не Сталин упоминается, а завод; как упоминание Сталинграда — это упоминание города, а не деятеля, имя которого ему присвоено.

Конечно, подобные умолчания обнаруживались и у других авторов. Когда Паустовский после смерти вождя осмелился напомнить, что в его произведениях отсутствует имя Сталина, в какую ярость пришла придворная челядь, все эти грибачевы, сурковы, бажаны: ишь, мерзавец, как исхитрился! Но тематика произведений Паустовского была такой, что отсутствие имени Сталина не очень-то бросалось в глаза. А Твардовский писал такие стихи, как «Кремль зимней ночью», «Москва», «Песнь о Москве», «9 Мая»,

⁸ Твардовский А. Т. Собр. соч. Т. 3. М., 1978. С. 68.

где имя Сталина, можно сказать, само лезло в строку, но поэт его туда не пускал.

Те, кто представляет себе порядки сталинских времен, согласятся, что это факт исключительный, связанный с огромным риском. Если бы он обратил на себя внимание властей или стал предметом доноса, это могло бы означать не только крах литературной карьеры, но и угрозу превращения виновника в лагерную пыль. Славить Сталина было общеобязательной нормой, и, отказавшись это делать, Твардовский пошел, используя колоритное чичибабинское выражение, **«всуперечь потоку»**.

Смысл и возможные последствия избранной им линии он прекрасно осознавал. Позднее он напишет:

Так на земле он жил и правил,
Держа бразды крутой рукой.
И кто при нем его не славил,
Не возносил —
Найдись такой!⁹

Такие находились. Одного из них звали Александр Твардовский. Уж кто-кто, а автор «Василия Теркина» лучше других знал, как прочно была в годы войны внедрена официальной пропагандой во всеобщее употребление нерасторжимая формула «За Родину! За Сталина!». Однако — странное дело! — и в этой поэме, и в стихах военных лет «За Родину!» есть, а «За Сталина!» отсутствует.

В поэме «Теркин на том свете» провожатый Теркина напоминает ему:

С чьим ты именем, солдат,
Пал на поле боя.
Сам не помнишь? Так печать
Донесет до внуков,
Что ты должен был кричать,
Встав с гранатой. Ну-ка?

Помнил Теркин все, но ответил с солдатской прямоотой:

⁹ Твардовский А. Т. За далью даль // Собр. соч. Т. 3. М., 1978. С. 307.

— Без печати нам с тобой
Знато-перезнато.
Что в бою — на то он бой —
Лишних слов не надо.

Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати...¹⁰

На первый взгляд может показаться поразительным, что тема Сталина появилась в поэзии Твардовского лишь после смерти вождя, когда перестала быть обязательной. В марте 1954-го исполнился год со дня смерти Сталина, и, конечно, не случайно именно тогда, в третьем номере «Нового мира», была напечатана одна из центральных глав поэмы Твардовского «За далью даль» — «Так это было», где сталинская тема стала во весь рост, как этого никогда не бывало прежде.

Я прошу прощения за длинную цитату, но речь идет о тексте, который после единственной публикации в журнальном номере, вышедшем более шестидесяти лет назад, оказался и напрочь забыт, и трудно доступен. Между тем эти стихи не только написаны на высочайшем поэтическом уровне, но и исключительно важны для понимания мироощущения и эволюции Твардовского.

Покамест ты отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть сорок лет и больше будь.
Хоть и жена давно, и дети,
Еще ты сын того отца,
Еще не полностью в ответе
За все на свете до конца.
Хоть за тобою попеченье
И о делах, но всякий раз
Его совет, сужденье, мненье
Ты как бы держишь про запас.
Его в виду имеешь разум,
Немалый опыт трудных лет.

¹⁰ *Твардовский А. Т.* Теркин на том свете // Собр. соч. Т. 3. М., 1978. С. 361.

Но вот уйдет отец, и разом —
Твоей той молодости нет.
И тем верней, неотвратимей
Ты в новый возрастходишь вдруг,
Что был он чтимый и любимый
Отец — наставник твой и друг.

Так мы на мартовской неделе,
Когда беда постигла нас,
Мы все как будто постарели
В жестокий этот день и час.

В минуты памятные эти
Мы все на проводах отца
Вдруг стали полностью в ответе
За все на свете до конца...

В безмолвной скорби той утраты
Стояли мы, заполнив зал,
Тот самый зал, где он когда-то
У гроба Ленина стоял.
Стоял поникший и спокойный
С рукою правой на груди.
А эти годы, стройки, войны —
Все это было впереди...

<...>

Да, мир не знал подобной власти
Отца, любимого в семье.
Да, это было наше счастье,
Что с нами жил он на земле;
Что распознали мы любовно
Его средь нас в своей судьбе...
Мой сверстник, друг и брат мой кровный,
Я — о тебе,
Я — о себе¹¹.

Пронзительная искренность этих стихов не вызывает сомнений: без нее они не получились бы такими. Но важно видеть другое: они зримо диссонировали с линией официальной пропаганды.

¹¹ Твардовский А. Т. За далью — даль // Новый мир. 1954. № 3. С. 4–6.

Уже через неделю-полторы после сталинских похорон имя вождя начало исчезать с газетных страниц. Передовые статьи обходились без его цитат. Было выведено из употребления неразделимое прежде словосочетание «сталинская конституция», его заменило другое: «советская конституция». А вскоре в постоянный обиход вошло выражение «культ личности». Хотя прямых указаний на то, какая личность имеется в виду, пока еще избегали, мало кто этого не понимал.

За год, минувший после смерти Сталина, генеральная линия официальной пропаганды выявила себя со всей полнотой и однозначностью. Десятилетиями вдалбливаемые догмы о том, что Сталин — источник всех наших побед, что только благодаря его мудрому руководству было отражено вторжение гитлеровских орд, что всем, что имеем, и самим своим существованием мы обязаны исключительно ему, следовало срочно и бесследно удалить из памяти. Прочитированные строфы Твардовского шли вразрез с этой линией. Вновь подтвердилось, что он идет «всуперечь потоку».

Следующую фазу эволюции этой темы запечатлели гневно-иронические строфы о не названном по имени Сталине в «Теркине на том свете». Взору попавшего в потусторонний мир солдата предстает «отдел Особый»:

... Там — рядами по годам
Шли в строю незримо
Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом¹².

Когда Теркин интересуется тем, «кто же все-таки за гробом / Управляет тем Особым», он получает ответ, способный потрясти глубиной и емкостью. Оказывается, та же личность, которая загубила миллионы невинных репрессированных, «в вечность их списка», несет ответственность и за бессчетные жертвы войны, заполнившие отдел, что «обозначен / Был армейскою звездой».

Чтобы увидеть истоки перемен, произошедших между 1960 и 1963 годами, нужно помнить, что на это время пришлось знаковое событие — состоялся XXII съезд КПСС, с трибуны которого о преступлениях Сталина было сказано не в закрытом и оставшемся неопубликованным докладе, а вслух, во многих выступлениях, с оглашением потрясших общество фактов.

¹² Твардовский А. Т. За далью даль // Собр. соч. Т. 3. М., 1978. С. 360.

«Новый мир» Твардовского до последних дней своего существования отстаивал правду, прозвучавшую на XXII съезде, что после отстранения от власти Хрущева сделало этот журнал лидером оппозиционных сил страны и объектом преследования со стороны властей. Брежневское руководство, насмерть перепуганное крупными правдами, успевшими просочиться в общественное сознание, всеми силами стремилось замолчать злодеяния Сталина, стереть их в народной памяти. Любые упоминания об ужасах коллективизации, организованном голоде, арестах миллионов невинных людей, выселении народов, ущербе, нанесенном биологии, кибернетике, стали запретными. И тогда Твардовский вновь, но несравненно более остро, чем прежде, разошелся с установками Кремля и создал поэму «По праву памяти», которая на два десятилетия стала достоянием самиздата.

Благодаря моей дружбе с Юрием Буртиным, о которой я в дальнейшем расскажу подробнее, я имел возможность прочесть эту поэму в 1969 году, когда она была написана. На моих глазах рождалась и статья Буртина «Вам из другого поколения», напечатанная в 87-м в связи с одновременным появлением поэмы «По праву памяти» сразу в двух московских журналах: в «Новом мире» и «Знамени». Эта поэма запечатлела последний и окончательный взгляд Твардовского на Сталина. Вспомним, что в «За далью даль» главный укор адресован не Сталину, а нам, возносившим ему неумеренную и безудержную хвалу.

Не те ли все, что в чинном зале,
И рта ему открыть не дав,
Уже, вставая, восклицали:
«Ура! Он снова будет прав...»?¹³

Если он «всем заведовал, как бог», то виноваты в этом мы, которые его обожествовали: «Кому пенять, что он таков?». В последней поэме поэт говорит об «отце народов» с горькой иронией, обличая его двуличие и коварство:

Да, он умел без оговорок,
Внезапно — как уж припечет —
Любой своих проступков ворох
Перенести на чей-то счет;

¹³ Твардовский А. Т. За далью даль // Собр. соч. Т. 3. М., 1978. С. 308.

На чье-то вражье искаженье
Того, кто возвещал завет,
На чье-то головокруженье
От им предсказанных побед¹⁴.

Репрессии 30-х годов обрисованы совсем не теми красками, которые мы видели в поэме «За далью даль»:

И за одной чертой закона
Уже равняла их судьба:
Сын кулака и сын наркома,
Сын командарма иль попа...

Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей.
И все, казалось, не хватало
Стране клейменных сыновей¹⁵.

Сталин и здесь назван богом, но это злобный бог, требующий нескончаемых жертв: «оставь отца и мать свою», «предай в пути родного брата / И друга лучшего тайком». В «За далью даль» звучала мысль, что бог оказался человеком, таким же, как все смертные, «что и в Кремле никто не вечен / И что всему выходит срок». В последней же поэме внимание приковано к другому: сын-то за отца, может быть, и не отвечает, но дети, признавшие отцом выродка, изверга, убийцу миллионов ни в чем не повинных людей, обожествившие его, одобрявшие его, а то и соучаствовавшие в его злодеяниях, не могут не нести своей доли ответственности. И заканчивается эта глава строками, беспощадными и к вождю, и к себе:

Давно отцами стали дети,
Но за всеобщего отца
Мы оказались все в ответе
И длится суд десятилетий,
И не видать ему конца¹⁶.

¹⁴ Твардовский А. Т. По праву памяти // Новый мир. 1987. № 3. С. 194.

¹⁵ Там же. С. 196.

¹⁶ Там же. С. 198.

Может быть, кто-нибудь упрекнет меня в том, что я превращаю мемуарный очерк в литературоведческую статью, неоправданно углубляясь в сравнение двух поэм Твардовского. Не могу с этим согласиться. Да, случилось так, что на предложение Твардовского написать в «Новый мир» что-нибудь на собственно современную тему я откликнулся лишь через несколько лет. Да, я тогда не мог знать, что за эти несколько лет Твардовский стал иным: что приглашал меня автор «За далью даль», а пришел я к автору «По праву памяти». Что Твардовский 1962 года одобрил замысел статьи о Пушкине и Польском восстании, а Твардовский 1968-го поддержал и пробивал в печать «Иронию истории» с ее откровенным осуждением Октябрьской революции, скудоумия ее организаторов и трагизма ее последствий.

Первым, с кем я поделился своим замыслом, был Владимир Яковлевич Лакшин. Вот ответ, который я от него получил:

Уважаемый товарищ Фризман!

Тема предложенной Вами статьи очень интересна. Конечно, вопрос о ее публикации зависит еще от многих условий — содержания, характера и тона изложения и т. п. Но в любом случае Вам следует прислать нам ее для ознакомления.

С уважением, В. Лакшин

27 ноября 1967 г.

Это письмо положило начало нашей дружбе, которая продолжалась до самой его смерти. Вскоре после скандала с «Иронией истории», о котором расскажу чуть ниже, я послал ему письмо с впечатлениями, вызванными его статьей о «Мастере и Маргарите», и кое-какими собственными размышлениями об этом романе. Он ответил:

Уважаемый Леонид Генрихович!

Вернувшись из отпуска, нашел Ваше письмо. Сердечное спасибо. Рад, что статья о «Мастере» пришлась Вам по душе. Ваши соображения относительно смерти Берлиоза остроумны и заслуживают внимания, хотя, быть может, сам автор и не рассчитывал на такое толкование этого эпизода. Ну, да и так бывает.

С искренним уважением, В. Лакшин

1 ноября 1968 г.

Когда в начале 1971 года редколлегию «Нового мира» разогнали, а Лакшина, так сказать, «трудоустроили» в журнале «Иностранная литература», он приглашал меня навещать его там. Запомнилась забавная формулировка этого приглашения: «поднимаетесь на такой-то этаж, входите в такую-то комнату и попадаете прямо ко мне в объятия». Я никогда не сотрудничал с «Иностранной литературой», и никаких редакционных дел у нас не было, а лишь чисто дружеское общение.

На отправленную ему «Жизнь лирического жанра» он откликнулся так: «Книгу я прочитал с интересом — много замечаний тонких и дельных, в особенности мне понравилась глава о Баратынском — и вообще Ваше коронное рассуждение о природе “объективного” и “субъективного” поэтического мироощущения, о том, что невзгода, погибаящая любовь и проч. — для романтика только повод выразить огорчение всем погибельным несовершенствам мира. Это так и есть». А вскоре я получил от него монографию «Толстой и Чехов», присланную мне «с крепким дружеским рукопожатием».

Из многого, что запомнилось в Лакшине, мне особенно дорог один эпизод, в котором высветилась его личность. Намного позднее, уже в пору горбачевской гласности, когда стало печататься многое, что прежде было запретным, его спросили: «Что вам больше всего хотелось бы написать?» — и он ответил: «Письма Короленко Луначарскому». Это может показаться мелочью, но те, кто помнит эти письма, согласятся, что в ответе Лакшина, как в капле воды, отразилась его политическая и этическая программа, можно сказать, вся его личность.



В. Я. Лакшин

Прочтя и одоббив мою «Иронию истории», Лакшин свел меня с Юрием Григорьевичем Буртиным, который курировал в «Новом мире» отдел публицистики. Сказать, что этот человек стал моим другом, — значит сказать лишь малую часть правды. С первой встречи и до своей смерти он был не только одним из самых близких людей, но и единомышленником в самом определенном и точном значении этого слова.

Те его письма, которые я буду приводить в дальнейшем, не могут дать полного представления о мере нашей идейной близости —

она сильнее всего проявлялась в личном общении, в том абсолютном доверии, которое мы питали друг к другу. Бывало, я приходил к нему домой, чтобы читать там книги Солженицына, не подлежащие выносу, и он, уходя на работу, оставлял меня на весь день в своей квартире, сказав на прощание: «Вот кофе, хлеб, в холодильнике колбаса, яйца, вернусь вечером». Я прочел тогда не только «В круге первом», но и подержал в руках корректуру «Ракового корпуса», набранного для публикации в «Новом мире», но не выпущенного в свет.

Основные факты биографии Буртина и предыстория его появления в «Новом мире» стали мне известны намного позже. Он родился в 1932 году в семье сельского врача и учительницы. После окончания Ленинградского университета восемь лет работал учителем литературы в железнодорожной школе для взрослых в Костромской области, на станции Буй. Там при поддержке других учителей и учеников (рабочих и машинистов железной дороги) предпринял, вероятно, первую в СССР попытку выдвижения «альтернативного» кандидата на выборах в Верховный Совет СССР — поэта Александра Твардовского; за эту выходку (разумеется, пресеченную) был исключен из партии по обвинению в ревизионизме.

В 1965 году представил диссертацию о творчестве Твардовского, точнее, о его связи с советской историей и сознанием народа, однако диссертация не увидела свет — на ее предварительном обсуждении в Институте мировой литературы (ИМЛИ) Буртин поблагодарил Андрея Синявского, который к тому времени был уже арестован, и это поставило крест на возможности защиты, но послужило сближению Буртина с диссидентской средой.



Ю. Г. Буртин

Начиная с 1959 года печатался в «Новом мире», а в 67-м Твардовский пригласил его на работу в редакцию. Вплоть до разгрома журнала Буртин вел раздел «Политика и наука», являясь фактическим заведующим отделом публицистики и членом редколлегии. Формально это было невозможно, так как он был беспартийным, но он входил в тот узкий доверенный круг, который определял направление редакционной политики. Благодаря ему и еще нескольким таким, как он, «Новый мир» был тем, чем он был.

Вскоре после того, как мы с Буртиным начали готовить к печати, вернее сказать, к пробиванию в печать мою «Иронию истории», я стал регулярно бывать в небольшой комнате, в которой размещался отдел публицистики, и ощутил себя членом стихийно сложившегося коллектива единомышленников-оппозиционеров. Люди, которые там встречались, как-то сразу становились вроде давними знакомыми, моментально возникала атмосфера доверительного общения. Впервые вступая в разговор, понимали друг друга с полуслова. Там я увидел публициста В. Кардина, историков А. Каждана и А. Некрича, литературоведа и писателя-сатирика З. Паперного, генетика В. Эфроимсона и еще многих людей, которых сближал их образ мыслей.

Со времени, когда Твардовский предложил мне писать для «Нового мира», прошло шесть лет и многое в стране изменилось. Отстранение от власти Хрущева, свертывание критики культа личности, преследования первых диссидентов, ужесточение цензурного нажима на печать делали любую критику происходивших процессов и даже размышления над ними вслух все более трудными, и не оставалось другого средства довести свою мысль до читателя, как прибегать к аллюзиям, иносказаниям, намекам. Тогда-то мы и стали самым читающим между строк народом, и ни в одном журнале не вычитывали этим способом так много, как в «Новом мире».

Сидели мы с Буртиным бок о бок долгие часы над моей статьей, ставшей нашим общим делом, решая обычную по тем временам задачу: как оставить в тексте побольше правды и вместе с тем сделать ее «проходимой»? А ситуация с каждым месяцем становилась все хуже. В начале 1968 года чехословацкую компартию возглавил А. Дубчек. Наши сталинисты с возрастающей подозрительностью следили за Пражской весной, их бросала в дрожь та поддержка, которую встречала у демократически настроенных слоев населения нашей страны идея создания социализма с человеческим лицом, а тем более опасение, что такие кошмарные явления, как свободная печать или ограничение диктатуры партийно-административного аппарата, могут, чего доброго, пересечь чехословацко-советскую границу. А тут еще появился и стал ходить по рукам первый меморандум Сахарова, провидчески указавшего на край пропасти, к которому мы неуклонно сползали.

Чистили мы с Буртиным злосчастную рукопись, искали какие-то приемлемые прикрытия для крамольных идей, и наконец она

ушла в набор, а в начале мая появилась и корректура. Статья намечалась в пятый, юбилейный, номер журнала — в мае 1968 года исполнялось 150 лет со дня рождения Маркса. Прошел май, за ним июнь и июль, а номер все не появлялся. Живя в Харькове, я с опозданием узнал, что с ним случилось.

Когда шли уже чистые листы, экземпляр журнала попал в ЦК, и там мою «Иронию истории» прочел Большой Начальник. Прочел и — что не всегда случается с начальниками — понял содержание прочитанного. И охватил Большого Начальника Большой Гнев. Кое-какие колоритные детали запечатлел в своем дневнике тогдашний заместитель главного редактора «Нового мира» А. И. Кондратович. «Вызвал Галанов. Вел разговор Беляев». Вердикт выглядел так: «У Фризмана¹⁷ в его статье “Ирония истории” получается, что эта ирония распространяется и на социалистическую революцию». Листы со статьей оказались уже отпечатаны. «Когда Беляев зачем-то вышел, я позвонил Мише (М. Н. Хитрову. — Л.Ф.). Да, именно эти листы. Беляев ходил, конечно, к начальству получать указания. Вернулся. Я сказал ему, что лучше все-таки оставить. Он молчит. Я ему: “Тогда принимайте решение сами”. Он посмотрел на меня внимательно и сказал: “Пускайте под нож”»¹⁸.

Естественно, все происходящее привлекало к себе напряженное внимание А. Т. Твардовского. 21 апреля 1968 года, изливая в своих «Рабочих тетрадях» негодование по поводу происшедшего в стране, он сделал такую запись: «И все не то, как бы ни старались деятели, неуклюже напяливающие на себя мантию деятеля, уже сделавшего свое дело (“трагедия” и “фарс”), воображающие, что верят в себя, и требующие от мира, чтобы и тот воображал это, стремящиеся обмануть себя насчет своего собственного содержания». И продолжил ее словами: «Выше цитированные строки — по верстке статьи Фризмана “Ирония истории”, наверняка не пройдет, хотя вся на Марксе и Энгельсе. Но слишком уж очевиден объект “иронии” — отнести ее к одному Китаю невозможно»¹⁹.

Запись от 15 июня: «Возвращается Кондратович от Беляева — Галанова. Шесть листов под нож? Беляев: под нож...

¹⁷ Автор несколько искажает мою фамилию.

¹⁸ *Кондратович А.* Новомирский дневник 1967–1970. М.: Советский писатель, 1991. С. 248–249.

¹⁹ *Твардовский А. Т.* Рабочие тетради // Знамя. 2003. № 8. С. 159. См. также с. 169.

— Вы же сами виноваты, печатаете этикие (“анalogии” в статьях о Гитлере и в “Иронии истории”)²⁰.

17 июня он отправил возмущенное письмо в ЦК КПСС, а на следующий день по памяти внес его в «Рабочие тетради». Задержание «Иронии истории» и других материалов, набранных для публикации в журнале, писал он, «ничем не мотивировано, кроме в высшей степени странных соображений, высказанных т. А. Беляевым устно т. Кондратовичу относительно возможности превратного истолкования этих публикаций читателем»²¹.

Упоминает об этих событиях и Лакшин. Рассказывая о тяготах, пережитых журналом, он напомнил о том, «что № 5 за 1968 год вышел “тощим” — он потерял почти треть своего объема, 208 страниц вместо обычных 288. Зато шестой номер по настоянию редакции, желавшей возместить ущерб подписчикам, оказался “толстяком” — 368 страниц как бы восполняли недобор предыдущей книжки. За полвека существования журнала такого, кажется, не бывало»²².

Еще одна забавная деталь этой скандальной истории. Поскольку удаление моей статьи из уже отпечатанных номеров «Нового мира» производилось в спешке, из части тиража она была вырезана не полностью, и какое-то количество подписчиков получило экземпляры с примерно половиной моего текста. Это вызвало в ЦК новый взрыв ярости, крики об «идеологической диверсии» и тому подобное. Как рассказал мне Буртин, тогдашний ответственный секретарь редколлегии Хитров собрал коллекцию из трех номеров: номер с полным текстом моей статьи, каким он планировался к выпуску; номер без нее, каким его получило большинство подписчиков, и номер-уродец — с куском моей статьи.

Лакшин рассказывал мне, что и позднее цензоры, присматриваясь к подозрительным «новомирским» материалам, ворчали: «Что, опять ирония истории?» А кто-то из крупных партийных бонз даже сказал ему: «Вы должны быть нам благодарны за то, что мы остановили эту статью. Если бы она появилась в печати, вас бы уже ничто не спасло». Можно поверить: до разгрома «Нового мира» осталось всего полтора года.

В кабинете Лакшина я единственный раз в жизни видел Твардовского. Это было весной или в начале лета 1969 года. Во время

²⁰ Там же. № 9. С. 130.

²¹ Там же. С. 131.

²² Лакшин В. Я. Твардовский в «Новом мире». М.: Правда. 1989. С. 33.

нашей беседы внезапно распахнулась дверь, и стремительно вошел, как бы ворвался человек, до того знакомый мне только по портретам. Я знал, что у редактора «Нового мира» такая манера: если ему был нужен кто-то из сотрудников, он не вызывал его к себе, а шел к нему.

Увидев, что Лакшин не один, он выразительным жестом показал: мол, зайду позже и сделал попытку уйти. Но Лакшин его удержал, усадил во второе кресло и представил меня словами: «Это автор “Иронии истории”». В глазах Твардовского мелькнул озорной огонек, он бросил какую-то насмешливую реплику, упомянул, что сорвать публикацию властям удалось в последний момент, когда значительная часть тиража была уже отпечатана. Зашел разговор о Пушкине и Польском восстании. Оказалось, что Твардовский хорошо помнил и об этом, он сам сопоставил оба сюжета, посетовал, что не удалось напечатать в «Новом мире» подборку откликов на «Слово о Пушкине», в которую было включено и мое письмо.

Вскоре после скандала с запрещением моей статьи я получил от Буртина такое письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!

Я очень сожалею, что начало Вашего сотрудничества в «Новом мире» оказалось не совсем удачным. (Кстати, получили ли Вы 50% гонорара?) Но давайте будем рассматривать его именно как начало, надеясь на то, что продолжение будет счастливее.

Нет ли, в частности, у Вас желания что-то написать для нашего рецензионного раздела «Политика и наука» или для раздела «Коротко о книгах»? Подумайте, посмотрите и, если что-то Вас в этом плане заинтересует, напишите мне. Ежели окажетесь в Москве, заходите. Буду рад.

С искренним уважением, Ю. Буртин

При этом он, однако, предупредил меня, что если я хочу в дальнейшем писать для «Нового мира», то делать это лучше под псевдонимом. Фамилию мою, сказал он, запомнили хорошо, и то, что выйдет из-под моего пера, читать будут так, что ничего сказать не удастся. Так я и поступил.

Вскоре после вторжения в Чехословакию войск Варшавского пакта я отослал в «Новый мир» рецензию на книгу Е. Черняка

о контрреволюционных интервенциях «Жандармы истории». Эта рецензия (она называлась «Походы бесславные и бесплодные») появилась в пятом номере журнала за 1970 год, когда расправа над «Новым миром» уже свершилась, и в журнале не было ни Твардовского, ни Буртина. Чехословацкая тема звучала в материале так прозрачно, что я по сей день ума не приложу, как он все же проник в печать. К тому же псевдоним, которым я подписал рецензию (Д. Александров), был сконструирован из имени свергнутого вдохновителя Пражской весны. Конечно, додуматься до этого читателю было мудрено, но не мог же я подписать рецензию «А. Дубчиков»!

Здесь я хочу передать слово Буртину, который дал такую характеристику этой статье и обстоятельств ее появления, какую я никогда бы дать не сумел. Это было сделано в его «Письме в редакцию “Континента”»:

Давно уже приходила мне в голову мысль написать — в полумемуарном, в полуйсследовательском роде — о публицистике «Нового мира» второй половины 60-х годов, к чему, по щедрости судьбы, я оказался причастен. При теперешнем историческом беспамятстве, на почве которого буйно цветет уже новая мифологизация нашей истории, это, пожалуй, не было бы лишним. Но, взятая в целом, это слишком большая тема, и нужен, по слову Твардовского, «запас покоя, чтоб ей отдаться без помех». Однако 25-летие Пражской весны побуждает положить на бумагу одно более локальное воспоминание. Адресую его журналу, который, предоставив свои страницы многим из бывших «новомирских» авторов (А. Солженицын, В. Гроссман, В. Некрасов, В. Войнович, Н. Коржавин, В. Корнилов и др.), возродил и развил в 70-е годы в условиях цензурной печати ту литературную традицию и те тенденции в публицистике, за которые подвергся разгрому журнал Твардовского. Тем более что именно в «Континенте» мы в былые годы читали о задавленной советскими танками Пражской весне то, что глубоко отвечало нашим собственным чувствам и мыслям.

Быть может, кто-нибудь еще сумеет в полной мере передать, как мы, люди 60-х годов, воспринимали август 68-го, вторжение советских войск в Чехословакию. Это была наша боль, наш стыд, наше отчаяние. Имена А. Дубчека, О. Черника, Й. Смирковского заслонили для нас в ту пору самые лучшие отечественные имена; перенятая откуда-то фотография Яна Палаха, мальчика-самосожженца

из Праги, висела тогда во многих московских домах как образ нашей вины и орудие самоистязания. Но ни единым словом нельзя было даже намекнуть на эти чувства в открытой печати, симулировавшей «единодушное одобрение» преступной акции брежневского руководства и столь же единодушную ненависть к «проискам антисоветских сил». Статья в «Новом мире», о которой я хочу рассказать, была в этом смысле едва ли не единственным исключением. Она — выразительный пример того, как в условиях жесточайшей цензуры, достигшей в ту пору верха изоэтрности, журнал Твардовского умудрялся говорить своему многотысячному читателю очень и очень многое из того, что было нужно сказать.

Одним из главных приемов эзопова языка тогдашней «новомирской» публицистики была аллюзия: острая современная тема обсуждалась на каком-нибудь отдаленном, политически нейтральном материале, камуфлировалась реалиями иных эпох и стран. И хотя цензура в свою очередь тоже научилась распознавать этот прием, и в числе ее запретительных знаков появилась оригинальная формула «неконтролируемый подтекст», все же ей далеко не всегда удавалось угнаться за изобретательностью злокозненного журнала. Сильно мешало ей то обстоятельство, что значительную часть своих вылазок публицисты «Нового мира» совершали в невиннейшем жанре рецензии, пересказывая и цитируя какую-то недавно вышедшую и, следовательно, должным образом заливотанную книгу. Ведь не запрещать же одобрительное изложение того, что сами только что разрешили! Так было и в данном случае. Первая «пристрелка» к теме состоялась в рецензии-коротышке за подписью Э.Р. (инициалы кандидата технических наук Э. М. Рабиновича) на книгу польского автора Зенона Косидовского «Когда солнце было богом» (№ 4, 1969). В качестве центрального рецензент извлек из книги рассказ «об одном из первых в истории политических реформаторов Урукагине, который сверг власть жрецов и провел в Лагаше (Месопотамия. — Ю.Б.) реформы в пользу трудящихся». Хотя Урукагина и не думал посягать на установившийся социальный строй, его «либеральные реформы вызвали среди рабовладельческой аристократии остальных шумерских городов сильнейшую тревогу». В результате царь города Уммы «внезапно напал на Лагаш, опустошил его, а Урукагину, вероятно, взял в плен и убил» — прямая параллель с подвигами «рабовладельческой аристократии» Москвы, Берлина, Варшавы, Будапешта и Бухареста,

внезапно напавшей на «либеральную» Прагу и не остановившейся перед арестом законных руководителей суверенного государства, судьба которых некоторое время была неизвестна.

Но это был, понятно, лишь краткий сигнал «другу-читателю». Случай высказаться гораздо серьезнее и шире представился год спустя, когда издательство «Международные отношения» выпустило книгу Е. Б. Черняка «Жандармы истории (Контр-революционные интервенции и заговоры)». Рецензию на нее написал харьковский литературовед Л. Г. Фризман, в то время активно сотрудничавший с нашим отделом. Наиболее ярким фактом его сотрудничества была статья «Ирония истории», остановленная цензурой, а затем и агитпропом ЦК по обвинению все в том же неконтролируемом подтексте. В ней усматривался — и, надо признать, вполне справедливо — намек на то, что Октябрьский переворот повторил участь многих прежних революций — несовпадение результатов с исходными намерениями участников. Поскольку редакция отказалась дать замену этой и еще двум задержанным статьям по отделу публицистики, майский номер «Нового мира» вышел в августе и в уменьшенном на 1/3 объеме. После этой многомесячной тяжбы имя автора было, конечно, памятно нашим надзирателям, и уже поэтому они обязательно сделали бы на рецензии стойку, пришлось придумывать ему очередной псевдоним. Дело происходило в начале 1970 года. В Чехословакии добивают ревизионистов. Вот характерные заглавия тогдашних статей в органе ЦК КПЧ — газете «Руде право» (воспроизвожу по сборнику «Правда торжествует» (!), выпущенному в 1971 году Политиздатом): «Маска сброшена. И. Пеликан исключен из КПЧ», «Как формировался право-оппортунистический центр в Брно», «Карта, которая была и будет бита», «Кому принадлежал Эдуард Гольдштюккер» и т. п. А у нас? Вовсю работает зловещее постановление апрельского пленума ЦК КПСС 1969 года, предусматривающее «чистку» в средствах массовой информации. Изгоняют с работы «подписантов». В ноябре того же года исключен из Союза писателей А. И. Солженицын. Наконец, февраль 70-го — разгром «Нового мира», что означало завершение реставрации тоталитарной диктатуры в нашей стране.

В этих условиях уже было недостаточно только выражать отношение к августовскому злодеянию 1968 года: важно было решить, что делать дальше, а для этого осмыслить новую историческую ситуацию, проанализировать вероятное воздействие бандитских

действий Кремля на ход общественного развития как там, в задушенной нашими танками стране, так и здесь. Вот этому главным образом и была посвящена статья Д. Александрова (Л. Фризмана) «Походы бесславные и бесплодные», несколько выдержек из которой позволю себе привести.

«Очень важным и сложным является вопрос о результатах интервенций, об их влиянии на последующий ход исторического процесса. Е. Черняк подходит к его решению с учетом всего многообразия анализируемого в книге материала и его диалектической противоречивости. Он не оставляет без внимания “той роли, которую сыграла интервенция в торможении темпов общественного прогресса. Это замедляющее действие проявлялось и во временной реставрации отживших политических и общественных порядков, и в таком же временном предотвращении их крушения”, а также в том, что “интервенция во многом способствовала победе более консервативного из возможных вариантов общественного развития и зигзагообразного пути исторического процесса...” Вместе с тем автор убедительно доказывает, что “ни в один из исторических периодов интервенционизм не приводил к достижению своих главных целей, а то, чего удавалось добиться, по сути дела перечеркивалось сравнительно скоро в дальнейшем процессе общественного развития”».

Чуть дальше это общее соображение конкретизируется, заодно обрстая узнаваемыми подробностями:

«Конечно, можно указать немало случаев, когда “реакционное безумие, заранее обреченный бунт против законов истории, какими являются контрреволюционные интервенции”, приводили к быстрой и, казалось, легко добытой победе. Это случалось в ситуациях, когда военное превосходство интервентов было подавляющим (! — Ю.Б.), когда мощь интервентов поддерживалась внутренней контрреволюцией, готовой сотрудничать с иноземцами против революционных устремлений собственного народа».

Тогдашний читатель легко мог подставить сюда имена высокопоставленных чехословацких коллаборационистов, знакомых ему по частым похвальным упоминаниям в нашей прессе: В. Билян, Д. Кольдер, О. Швестка, А. Индра и др.

«Но конечные итоги подобных нашествий были вовсе не те, к которым стремились их вдохновители. Во-первых, “реакционная интервенция разоблачает антинациональный характер ее со-

юзника — внутренней контрреволюции”. Во-вторых, “иностранное вмешательство вызывает новое расслоение в реакционном лагере, способствует отходу от него тех элементов, узкоклассовый эгоизм которых не подавил окончательно патриотические чувства, и которых останавливает перспектива соучастия в национальной измене”. Наконец, действия интервентов помимо их воли способствуют обогащению политического опыта масс, пониманию непреходящих ценностей революции, отторгнутых у них иностранными штыками, а сопротивление интервентам, пусть даже недолгое и безуспешное, закаляет силы народа, готовит его к новой, победоносной борьбе».

Это — о том, что происходит (будет происходить!) там, где демократическая революция оказалась пресечена, задушена благодаря «братской помощи» соседей-рабовладельцев. Это был наш тайный привет чехам, наше «Товарищ, верь!». Но поверить, заново собраться с духом важно было и нам самим. А для этого оценить ситуацию и в форме исторических воспоминаний попытаться взглянуть в будущее.

«Далекими от желаемых обычно оказывались и те последствия, которые имели контрреволюционные вторжения для самих стран-интервентов. “Контрреволюционная интервенция, — говорит Е. Черняк, — в конечном счете всегда противоречила и вредила национальным интересам страны, которая ее осуществляла, укрепляя, пусть временно, позиции реакционных сил, замедляла общественный прогресс или способствовала утверждению особо мучительного для народных масс пути развития... Однако в истории нередко возникали ситуации, когда участие в контрреволюционных интервенциях противоречило государственным интересам даже в том смысле, в каком они понимались господствующими классами”. Так, для Испании XVI века платой за интервенционную политику оказалась утрата положения великой державы и превращение ее во второразрядное государство».

Там, где материала книги не хватало для продолжения мысли, «Д. Александров» к месту вспоминает о критической стороне своих рецензентских обязанностей:

«Не получил в книге Е. Черняка сколько-нибудь полного освещения и вопрос о воздействии интервенций на передовые общественные слои в странах, предпринимавших вторжение. Между тем опыт истории свидетельствует, что интервенции не раз приводили к размежеванию в рядах внутренней оппозиции, отношение

к вторжению являлось лакмусовой бумажкой для выявления подлинной революционности. Псевдооппозиционные круги в такие моменты клонились к сближению с властями, поддерживая их в борьбе против “внешнего” врага, а действительно прогрессивные силы под влиянием того саморазоблачения реакции, которым неизменно являлась интервенция, глубже, чем когда-либо, осознавали меру своей исторической ответственности, расставались с иллюзиями, становились непримиримее, бескомпромисснее, решительнее противостояли насилиям и произволу».

Так оно и будет в последующие 15 лет: одни пойдут в «патриоты», и власти раскроют им свои объятия, другие — в диссиденты, во внешнюю и внутреннюю эмиграцию. Да и вообще, как видим, анализ и прогноз, заключенный в этих выдержках, вполне подтвердился дальнейшим ходом событий.

Еще два слова в заключение.

Статья Л. Фризмана пошла в набор не позднее марта 1970 года. Уже месяц как по негласному решению ЦК «Новый мир» был обезглавлен, разгромлен (см. об этом: «Октябрь», № 11, 1990): смещена и заменена благонадежными людьми преобладающая часть редколлегии, с резким заявлением протеста ушел Твардовский. Но рядовые сотрудники редакции еще оставались на своих местах и вели последние, арьергардные бои — уже на два фронта, пытаясь напоследок «протащить» то, что считали наиболее важным. По разделу публицистики — наряду со статьей гонимого тогда М. Я. Гефтера, с «рецензией» Г. С. Лисичкина, обосновывавшего крамольную мысль о необходимости рынка, с очерком писателя-вологжанина А. В. Петухова о трагической судьбе вепсов, малого северного народа, уже в послевоенные годы лишенного родины (так и не удалось его напечатать), вместе с повестью В. Быкова «Сотников», помещенной в той же книжке журнала, и явилась в некотором смысле нашим завещанием.

Ю. БУРТИН, сотрудник редакции «Нового мира» в 1967–1970-е годы, редактор раздела «Политика и наука»²³

Когда в 1971 году редколлегия «Нового мира» была обезглавлена, и Твардовский ушел из журнала, преданные ему сотрудники покинули редакцию вместе с ним. Среди них, разумеется, был и Буртин. Через некоторое время он стал одним из редакторов от-

²³ Континент. 1993. № 75. С. 325–331.

дела литературы издательства «Советская энциклопедия». Я писал статьи для «Краткой литературной энциклопедии», и между нами восстановились деловые контакты.

К этому времени относится эпизод, ярко отразивший обстановку, в которой мы жили. Я написал для «Краткой литературной энциклопедии» статью «Элегия». Когда я увидел ее напечатанной, у меня глаза полезли на лоб: после моего текста шла строка «Пример рус. Э. — “Признание” (1823) Е. А. Баратынского», и далее был перепечатан ее полный текст (41 стих!). В энциклопедической статье, где на счету каждый знак, — и вдруг такая расточительность!

А случилось вот что. В последний момент, уже из верстки, была исключена большая статья «Эмигрантская литература». Нужно было срочно чем угодно заполнить освободившееся место. Делали, что возможно: к статье «Эмблематика литературная» наляпали в качестве иллюстраций кучу эмблем. Так и вышел том энциклопедии без статьи «Эмигрантская литература».

Когда после смерти Твардовского была создана комиссия по его литературному наследию, я переслал туда фотокопии двух автографов, которыми обладал: письмо и дарственную надпись на присланном мне экземпляре отдельного издания поэмы «Теркин на том свете». Так мой адрес стал известен Марии Илларионовне Твардовской, которая немедленно меня нашла; между нами началась переписка, продолжавшаяся более пятнадцати лет. Положа руку на сердце, признаю, что никогда не понимал и сейчас не понимаю, чем заслужил расположение этой необыкновенной женщины (точнее сказать, совершенно уверен, что не заслужил ничем). Но давно известно, что нечаянный дар судьбы мы обычно ценим выше, чем то, на что имеем право.

Она присылала мне посмертные издания Твардовского, делая на каждом из них своим крупным четким почерком дарственную надпись. Если какой-то сборник переиздавался, я получал и новое издание. Прислав том «Воспоминаний об А. Т. Твардовском», трогательно извинялась за задержку: дескать, какие-то



М. И. Твардовская

незванные гости расхватили не положенные им экземпляры, а вы, заслуживший больше других, терпеливо, не напоминая о себе, ждали своей очереди. Хранится у меня и надписанный Марией Илларионовной конверт с портретом Твардовского, выпущенный к 70-летию со дня его рождения. Она сама готовила комментарий к письму Твардовского ко мне, помещенному в шестом томе собрания его сочинений, педантично согласовывала со мной каждое слово. Приводимое ниже письмо, полученное мной в начале наших отношений, позволяет, как мне кажется, ощутить ее душевное богатство, ее глубинную интеллигентность.

Дорогой Леонид Генрихович!

Хочу думать, что не считаете Вы меня существом неблагодарным и черствым: получила, что желала, и успокоилась.

Совсем не успокоилась. Все время думала, что я перед Вами в долгу. Но сначала ожидала получения книг, а потом дважды переболела гриппом, который дал какое-то дурное осложнение на легкие, ослабившее меня до крайней степени. Подробно о болезнях не люблю, но в данном случае — это мое оправдание перед Вами. Посылаю Вам на память об Александре Трифионовиче книгу его стихов (3-е изд-е) и хочу, чтобы Вы, насколько позволит жизнь, и в будущем держались тех же взглядов, симпатий и чувств, которые были во времена «Нового мира» (того).

Всего Вам доброго. Твардовская М. И. 23 марта 1972 г.

Спустя много лет в моих руках оказался автограф Твардовского со следующими двумя строками:

Так, как хочу, не умею.

Так, как могу, не хочу.

У меня возникло страстное желание их опубликовать, что я и сделал в тексте статьи, которая называлась «Десять слов». Предварительно я, естественно, спросил разрешения у Марии Илларионовны. Вот ее ответ:

Дорогой Леонид Генрихович!

Ничего не имею против использования строк Твардовского в Вашей работе. Стихи эти пока не опубликованы: рукопись лежит

в ожидании такого издательства, которое могло бы полиграфически обеспечить столь своеобразный материал: наброски и т. д.

В посылаемой книге отсутствует письмо А. Т., адресованное Вам и входившее в шестой том его собрания. Но, если будущая Ваша книга, как сообщаете Вы, представит собой «сборник творческих деклараций», думаю, что в письмах о литературе такие «декларации» Вы легко обнаружите.

Желаю Вам всего доброго и, конечно, успеха Вашей будущей книге.

М. И. Твардовская. 6 октября 1985 г.

P. S. Ссылку к приводимой цитате сделайте на архив А. Т.

P. P. S. Если бы о замеченных ляпсусах этой книги могли бы Вы сообщить, — была бы и благодарна, и много обязана. М. Т.

Моя статья «Десять слов» с публикацией двустихия Твардовского была напечатана в Ученых записках Смоленского пединститута «Русская филология».

Помимо тех чувств, которые оставили во мне письма Марии Илларионовны, я много слышал о ней от людей, знавших ее лучше, чем я, да и многократные упоминания в «Рабочих тетрадях» Твардовского, что называется, западали в душу. Пересказывать это я, разумеется, не стану, скажу только, что единственное слово, которым я могу выразить свое отношение к ней, — благоговение.

Вернусь к Буртину. В 1978 году я послал ему составленный мной сборник «Литературно-критические работы декабристов», а также сообщил, что ВАК утвердил решение Ученого совета МГУ о присуждении мне докторской степени. Вот каким был его ответ:

Дорогой Ленья!

Спасибо за книжку — довольно элегантную с внешней и, не сомневаюсь, весьма интересную с внутренней стороны. И поздравляю — во-первых, с книжкой, а во-вторых (и еще больше), с докторскими «корочками».

Я за Вас очень рад и представляю себе дело так: Вы прошли и закончили очень важную, но трудную, а поначалу и тягостную, полосу своей биографии. Она обеспечила Вам нормальные условия (по нашим стандартам) существования и работы, однако при

всей своей результативности («Баратынский», «Элегия» и др.) это все же предварительная, подготовительная полоса. Теперь, когда Вы еще молоды и обладаете всеми необходимыми предпосылками, надо вступать в новую и главную полосу жизни, то есть работы, ибо для мужчины эти вещи в общем совпадают. И тут главное — храбрость. Не остаться в плену у старого, сделанного, не побояться открыть чистую страницу, замахнуться на что-то очень большое, даже непосильное. Понимаю всю провокационность этого совета, но слишком много видишь вокруг себя людей, способных, даже очень, но живущих вяло, в четверть силы, утопающих в суете, в мелочах. Подавляющее большинство.

Другое дело — где оно, это Дело, в чем оно состоит? Нахождение его — штука сугубо индивидуальная, акт открытия, и тут я уже ничего вымолвить не могу. Да и нельзя его просто «найти», надо до него «дожить» (хотя, с другой стороны, дожить можно лишь с внутренней установкой на это).

Вот какие философические размышления вызвали у меня Ваши «корочки». Недостаток этих рассуждений в том, что они относятся ко всему роду человеческому, но, с другой стороны, вызваны убеждением в Вашей силе. Поэтому простите некоторую напыщенность моего слога: она — от важности того рубежа, который Вы перешли, и от моих дружеских чувств.

Крепко жму руку.

Ваш Ю. Буртин

16 июня 1978 г.

Я тогда не осознал, что это было одно из самых главных, самых мудрых писем, какие мне довелось получить. Совет «замахнуться на что-то очень большое, даже непосильное» пропустил мимо ушей. Понадобилось почти сорок лет, чтобы «дожить» до его исполнения. Но я дожил и работаю над книгой, создание которой мне сейчас представляется и может оказаться выше того, на что я способен. Спасибо, дорогой Юра, за убеждение в моей силе! Выложусь до конца, но постараюсь оправдать твою веру в меня.

Приход к власти Горбачева и следовавшая за ним полоса идеологических послаблений, так называемой гласности, утрата Коммунистической партией ее командных позиций и падение советской власти ознаменовали для Буртина последний и самый славный пе-

риод его деятельности, когда смог наконец развернуться его колоссальный идейно-творческий потенциал. Яркие публикации быстро выдвинули его в первый ряд лидеров демократического движения. После возвращения Сахарова из горьковской ссылки он стал одним из его ближайших и наиболее радикально настроенных сподвижников. Эти события повлекли за собой обогащение наших отношений новым, ранее не представимым содержанием.

В 1992 году Буртин выпустил сборник статей и интервью, озаглавленный «Год после Августа. Горечь и выбор». Помнящие те времена засвидетельствуют правоту моих слов: самые прогрессивные политики и публицисты тогдашней России собрались под знамя Буртина. Их было больше двух десятков, я назову лишь некоторые имена: Юрий Афанасьев, Леонид Баткин, Елена Боннер, Зоя Крахмальникова, Кронид Любарский, Лариса Пияшева, Эльдар Рязанов, Василий Селюнин, Лев Тимофеев, Лилия Шевцова. Эта книга лежит сейчас передо мной. На титульном листе надпись: «Дорогому Леониду Генриховичу Фризману в знак старой дружбы и солидарности, на память о наших “новомирских” диверсиях. Ю. Буртин».

Через три года он подарил мне сборник своих статей «Новый строй». Они содержали анализ Перестройки, глубинную характеристику августовского путча, ельцинскую власть, едко определенную как «театр номинальной демократии». Вместе с Г. Водолазовым Буртин ввел в оборот популярнейший термин 90-х годов — «номенклатурный капитализм».

Получив в 1995 году сборник статей, выпущенный к моему 60-летию, он откликнулся на него так:

Дорогой Леня!

Твой юбилейный сборник — по нынешним временам приятная неожиданность. Значит, жива еще добрая традиция русской науки, значит, жив еще в ученой братии дух корпоративной солидарности и товарищества! А то уж могло показаться, что корпоративность ныне — привилегия бюрократов и бандитов. Слава богу, что это не так. Сам сборник производит очень серьезное и хорошее впечатление. Многие статьи — и по темам, и по именам авторов — хочется прочесть. Ну и весьма внушителен твой «послужной список» на ниве литературоведения и педагогики, а сочетание академической учености и эстетизма с гражданской публицистикой делает

твой творческий облик особенно привлекательным — по крайней мере, для меня.

Словом, по случаю юбилея тебя есть с чем поздравить. Жизнь удалась — и целиком за твой счет, без малейших поблажек с ее стороны, за счет твоих дарований и неустанного, вызывающего восхищение труда. Да и в дальнейшем, я надеюсь, еще много чего будет тобой сделано. Как сказал наш А. Т.,

Не все на прилавке, А есть и на базе.

Крепко жму руку и обнимаю.
Твой Ю. Буртин 2 декабря 1995 г.

Он уже был в это время тяжело болен. В 1988 году перенес первый инфаркт, за которым последовало еще три. Он не мог выходить из дому, а позже я узнал, что в последние годы жизни у него работало лишь 13% сердечной мышцы. Но до последнего дыхания он оставался в строю. Будучи главным редактором еженедельной газеты «Демократическая Россия», пригласил к сотрудничеству в ней и меня. Осуществить эти планы мы не успели, потому что финансировавший газету Г. Каспаров неожиданно отказал ей в поддержке, и ее выпуск приостановился.

Тогда Буртин, неведомыми мне путями изыскавший какие-то средства, возобновил издание своего еженедельника под названием «Гражданская мысль». Меньшим тиражом, меньшего объема, но газета вновь стала выходить. Мне, живущему в Харькове, печататься в ней было сложно. Цены на железнодорожные билеты подскочили выше крыши, компьютеры были редкостью, связь по e-мейлу не налажена. И все же несколько статей я там опубликовал.

21 августа 1993 года исполнилось 25 лет со дня вторжения войск Варшавского пакта в Чехословакию. Я посвятил этой мрачной годовщине статью «21 августа 1968 года как дата советской истории», в которой смог наконец, не прибегая к эзоповой манере, сказать все, что думал и тогда, и сейчас об этой бандитской акции брежневского руководства. В той же газете я напечатал свою первую статью о поэзии Бориса Чичибабина, озаглавленную его строчкой «Я живу на земле Украины». Позднее я написал о Чичибабине много, но эта статья оказалась единственной, которую я успел ему показать: через год с небольшим после ее появления его не стало.

Естественно, я выступал как политический публицист и дома, отстаивал демократическое развитие Украины, дружбу и сотруд-

ничество с Россией, резко возражал против насильственной украинизации и дискриминации русского языка и русской культуры. Большинство этих статей публиковалось в харьковских газетах, некоторые печатались (или перепечатывались) в Киеве, а в последние годы и в Канаде, где вызвали значительный интерес. Десятка два статей, написанных в период с 1993-го по 2000-й годы, были собраны в небольшой книжке «Эти семь лет». Она имела посвящение: «Дорогому Юре Буртину, другу и соратнику».

В марте — мае 1996 года в газете «Время» печатались мои статьи «На кой дьявол нам кайзер», «Вторая сторона президентской медали», «Ползет по земле зараза». Первые две из них были памфлетами, направленными против тогдашнего президента Украины Л. Кучмы. Я доказывал, что на постсоветском пространстве институт президентства себя не оправдал и ведет к возникновению антидемократических, авторитарных режимов. Третья была посвящена разоблачению национализма, который я характеризовал как предтечу фашизма, его начальную стадию. Газетные вырезки с этими тремя статьями я отправил Буртину и получил от него письмо, лишнее раз подтвердившее всю глубину нашего с ним взаимопонимания и единомыслия:

Дорогой Леня!

Спасибо за вырезки. Все прочтено и усвоено. Действительно, национализм — зараза из заразы, и действительно, наше повсеместное президентство — форма нового господства правящих верхушек, подчинения демократии их интересам. Как все эти сволочи похожи на просторах Родины чудесной — хоть создавай транснациональную дем. оппозицию всем им сразу.

Жму руку.
Твой Ю. Буртин
9 июля 1996 г.

В 1999 году вышла в свет моя книга «Борис Чичибабин. Жизнь и судьба», которую я привез в Москву и просил передать Буртину вместе со сборником «Эти семь лет». В ответ получил такое письмо:

Дорогой Леня!

Вчера получил твое письмо и книжку о Чичибабине, залежавшуюся в ИМЛИ в ожидании оказии. Двойное спасибо, а если

прибавить к нему честь посвящения (чем я мог бы, понятно, только гордиться), то и тройное. Желая осуществиться этому замыслу.

Встречное предложение или просьба. Я тут придумал маленькую, всего из одного вопроса, анкету в связи с 90-летием А. Т. Твардовского. Отвечают на нее бывшие авторы и редакторы «Нового мира», вообще активные шестидесятники (в том числе ученые, актеры и др.) разных нынешних взглядов — от Солженицына до Горбачева.

Вопрос такой: Ваш **нынешний** (из 2000 года) взгляд на Твардовского как поэта и редактора, на его (и его журнала) роль в литературной и общественной жизни, а также и в Вашей собственной творческой судьбе. Никаких ограничений в объеме — от нескольких строк до десятка и более страниц. Никакой обязательности в смысле полноты охвата темы — каждый пишет о том, что ему близко. Единственная просьба: в случае готовности ответить сделать это в течение ближайших пары месяцев (думаем об издании этих ответов и других материалов, появившихся нынче в связи с этим юбилеем, отдельной книжкой).

Послать можешь мне (сохранив — на случай превратностей почты — копию у себя).

Доходит ли до вас «Знамя» (№№ 6–8 и, вероятно, 10) с публикацией рабочих тетрадей А.Т.? Думаю, что она представит для тебя интерес.

Еще раз спасибо.

Поклон твоему семейству.

Твой Юра 5 августа 2000 г.

Я, разумеется, отослал требуемый материал, не подозревая, что менее чем через два месяца прочту в «Известиях» заметку, сообщавшую о кончине «публициста великой эпохи». Разумеется, задуманная им книга, к участию в которой он привлек меня и еще многих (от Солженицына до Горбачева!), без него не состоялась.

Хотя состояние его здоровья не было тайной, трагическая развязка оказалась внезапным ударом судьбы и потрясла многих. Горестная статья, озаглавленная «Мы уходим», появилась в «Московских новостях», и написал ее Леонид Баткин. Григорий Явлинский напечатал в «Новой газете» статью «Помните Юрия Буртина», в которой прозвучали такие слова: «Он был из последних, для кого совесть, благородство и достоинство были жизненным правилом.

<...> Не имея формального повода считать себя учеником Юрия Григорьевича, я многим в себе обязан именно ему».

И последнее, о чем я хотел бы рассказать. В старое доброе время у меня была большая аспирантура. От желающих у меня учиться отбоя не было, а киевское начальство не мешало работать, как стало это делать в последние годы. Поэтому я успел подготовить более шестидесяти докторов и кандидатов наук и, конечно, стремился в каждого вложить кусочек души. Но особенно мне хотелось, чтобы кто-нибудь из них написал диссертацию о Твардовском. Я никогда не навязывал своим «детям», как я про себя называл моих аспирантов, нравившихся мне тем. Предлагая, всегда предупреждал, что разрешаю неограниченно капризничать и отказываться от всего, что будет не по душе. «Брак должен быть по любви», — говорил я им.

Высматривать достойную исполнительницу пришлось довольно долго, но в конце концов я нашел ту, которую искал. Зовут ее Яна Романцова. Не могу сказать, что она была подготовлена к аспирантуре лучше других. Мы так учим студентов, что на подготовленных аспирантов рассчитывать не приходится. В этом смысле она была такой, как все, — не лучше и не хуже. Но ее человеческие качества оказались на высоте. Она так прониклась доверием, которое я ей оказываю, что превзошла сама себя.

И вот, когда диссертация была защищена, я решил, что тема не исчерпана и что на этом материале мы с ней уже вместе напишем еще и книгу. Ведь в огромной литературе о Твардовском такой книги, какую мы задумали, исследующую его деятельность как литературного критика, не было. Кроме того, на наше неслыханное везение, как раз в это время публиковались «Рабочие тетради» Твардовского — бесценный материал, сопоставимый по значению с дневниками Никитенко, Кюхельбекера, Чуковского, записными книжками Вяземского, а в чем-то их даже превосходящий. И ни один исследователь к этим золотым залежам пока не прикоснулся. Книга, которую мы написали, называлась «Требовательная любовь» — потому что именно такой представлялась нам любовь Твардовского к литературе и к писателям.

Поскольку ко времени, когда мы занялись этой работой, Марии Илларионовны Твардовской давно не было в живых, я решил воспользоваться теми нитями, которые когда-то связывали меня

с «Новым миром», и посвятил в наши замыслы дочерей поэта — Валентину и Ольгу. Старшая, Валентина, была доктором исторических наук и человеком более-менее известным. Общаться с ней мне не довелось. Чем занималась Ольга, я не знаю, во время моих наездов в Москву, она приглашала меня в гости и помогала, чем могла. Жила она в квартире, оставленной дочерям Александром Трифоновичем, в знаменитом московском высотном доме на Котельнической набережной. Там жили многие известные писатели и ученые, и трудно сказать, сколько мемориальных досок украшает его стены. Ясно только, что счет идет на десятки.

В человеческом плане я к обеим этим женщинам никаких чувств, кроме благодарности за внимание, испытывать не могу. Они были очень довольны нашим замыслом написать книгу о Твардовском, а ознакомившись с ней, популяризировали и расхваливали ее. Но имел место факт, вызвавший во мне такой всплеск негодования, что наши контакты прервались. Случилось вот что. Вскоре после выхода нашей книги я получил от них бандероль, содержащую роскошное издание «Рабочих тетрадей», т. е. дневников и писем Твардовского за 1941–1945 годы. На титульном листе — надпись: «Леониду Генриховичу Фризману — с добрыми пожеланиями — Валентина и Ольга Твардовские». В книгу было вложено такое письмо:

Уважаемый Леонид Генрихович!

Хочу еще раз извиниться за прерванный телефонный разговор. Но основное я успела сказать.

Вы, вероятно, переоцениваете наши «связи и возможности». Посылаем Вам книгу, подготовленную нами, и на которую в Москве почти никто не откликнулся, — «такие времена».

Всего Вам доброго. Ольга Твардовская. 15 апреля 2006 г.

Не могу сказать, что за «связи и возможности» она имела в виду: совсем не помню того разговора. Если она сочла, что я интересовался их возможностями реализации книги, то это чистое недоразумение. Напротив, тираж оказался заниженным, имевшиеся экземпляры расхватали, как горячие пирожки, а из Смоленска, родины поэта, приходили слезные просьбы присылать еще и еще, а у нас уже ничего не было.

Нет! Причина моей обиды, ярости, негодования, возмущения (нужное подчеркнуть) была вызвана той книгой, которую

они мне прислали! В ней были собраны записи Твардовского, сделанные за годы войны, а название ей дали — «Я в свою ходил атаку...». Напомню, что это стих из поэмы «Теркин на том свете». Отдавая ее в печать, Твардовский был готов к тому, что она наткнется на скептический и недоброжелательный прием: «что за чертовщина!», «странный, знаете, сюжет», «ни в какие ворота», — и объяснял смысл своего решения:

И такой сюжет для сказки
Я избрал не потому,
Чтобы только без подсказки
Сладить с делом самому.

Я в свою ходил атаку,
Мысль одна владела мной:
Слажу с этой, так со всякой
Сказкой слажу я иной²⁴.

Как можно было не понять, не ощутить, что главное слово здесь — «своя», что эта атака не имеет ничего общего с той, в которую ходил Александр Матросов, что строка эта не о войне, а о творческом процессе и никак не годится в заглавие сборника материалов военных лет? Сейчас, по прошествии десяти с лишним лет, готов признать, что проявил чрезмерную горячность. Но я был глубоко обижен за Твардовского, который оказался не услышан, не понят, искажен самыми близкими ему людьми.

Что касается Яны Романцовой, то мы удачно распределили с ней наши соавторские обязанности, за время нашего общения и сотрудничества она очень выросла, так что мы дружим и творчески взаимодействуем по сей день. Я много рассказывал ей о Буртине, и по общему согласию нашей книге было предпослано такое посвящение:

Посвящается светлой памяти Юрия Буртина,
друга, сподвижника
и исследователя Твардовского.

²⁴ Твардовский А. Т. Собр.соч. Т. 3. М., 1978. С. 378.

А.Г.Фризман, Я.В.Романцова

Требовательная любовь

А.Т.Твардовский — литературный критик



Обложка книги о Твардовском-критике

Приглушенное жало Овода

В 1953 году я стал студентом и продолжил учить в институте немецкий язык, которому учился и в школе. Но мне было ясно, что без английского не проживешь, и им я пытался овладеть самостоятельно, читая в оригинале английские книги. Выбирал, понятно, такие, которые любил и лучше знал. Одной из них был роман Э.Л. Войнич «Овод».

Чем пристальнее я присматривался к английскому тексту, прежде известному мне в русском переводе, тем ощутимее мои глаза вылезали из орбит. Обнаружилось нечто, казавшееся поначалу прямо-таки невероятным, но получившее вполне достоверное объяснение.

«Овод», как известно, произведение богоборческое. Его главный герой говорит: «Жизнь нужна мне только для того, чтобы бороться с церковью. Я не человек, а нож. Давая мне жизнь, вы освящаете нож»²⁵.

На русский язык роман был переведен в 1898 году; в дореволюционной России любые формы антирелигиозной пропаганды не просто отторгались, но подвергались гонениям, и неудивительно, что «Овод» попал тогда к русскому читателю в немножко кастрированном виде. Не могу сказать, было ли это результатом деятельности цензуры, или сами переводчики «освобождали» текст от наиболее одиозных формулировок.

Естественно было бы предполагать, что революция покончит с подобной практикой, и советский читатель получит роман таким, каким его написала Э.Л. Войнич. Но нет! Он продолжал печататься с купюрами, сделанными при царизме. А ведь «Овод» тогда стоял в одном ряду с такими романами, как «Молодая гвардия» и «Как закалялась сталь», и был любимым орудием коммунистической пропаганды! Мало того, в этом ряду «Оводу» принадлежало свое и очень важное место. Первые три-четыре десятилетия существования советской власти были временем активной, можно сказать, жестокой борьбы с религией и церковью. Второго произведения, которое бы с таким талантом и такой страстностью мобилизовало бы людей, и особенно молодежь, на эту борьбу, просто не было.

²⁵ См. сноску 26.

Популярность романа поддерживалась всеми мыслимыми средствами. В некоторых изданиях к его тексту прилагались целые «хрестоматии» восторженных высказываний таких деятелей, как Зоя Космодемьянская, молодогвардейцы Георгий Арутюнянц и Валерия Борц, Александр Маресьев, Юрий Гагарин, дружно рассказывавших, чему их научил герой прославленного романа. Валентина Терешкова называла роман Войнич «самым потрясающим, запавшим в душу». Словом, «Овод» — это было святое. И вдруг выясняется, что это святое читатель получал в подпорченном виде.

Хочу сразу предупредить: я не утверждаю, что те дефекты, на которые я укажу ниже, касались всех послереволюционных изданий романа. По сведениям «Краткой литературной энциклопедии», их и к 1962 году было более 100, а сейчас Интернет уже сообщает о 150. Понятно, что проверить их все немисливо, я подержал в руках десяток или чуть более, нижеприводимые цитаты даются по следующей книге²⁶. Переводчик, как и во многих подобных случаях, не указан.

Приведу лишь несколько примеров, которые дают достаточное представление о тенденции, породившей эти искажения и купюры.

Вот записка, которую Артур адресовал Монтанелли перед своим бегством в Южную Америку, — очень важный документ, фигурирующий в романе дважды: в тюрьме, на предсмертном свидании, Риварес вновь предъявит его кардиналу. В советских изданиях печатался такой текст:

«Я верил в вас, как в бога, а вы лгали мне всю жизнь» (с. 65).

А вот что написала Войнич:

«Я верил в вас, как в бога. Но бог — это глиняный идол, которого можно разбить молотком (God is a thing made of clay, that I can smash with a hammer, p. 89), а вы лгали мне всю жизнь».

Переживания Артура, как они были напечатаны в переводах:

«И из-за этих-то лживых, рабских душонок он вытерпел все муки стыда, гнева и отчаяния!..» (С. 64.)

А вот неискаженный текст:

«Из-за этих-то лживых, рабских душонок, из-за этих немых и бездушных богов (these dumb and soulless gods, p. 89) он вытерпел все муки стыда, гнева и отчаяния».

²⁶ *Войнич Э.* Овод. Роман / После­словие С. Марвич. М.: Военное изд-во Минист­рства воору­женных сил СССР, 1949. 308 с. Страницы оригинала также указаны в тексте по изданию: *Voynich E.L.* The Gadfly. Moscow: Progress Publishers, 1964. 344 p.

Во время последнего разговора с Монтанелли Риварес бросает ему обвиняющие слова: «Обратитесь к своему Христу. Он требовал все до последнего кодранта, так следуйте же его примеру (Go back to your Jesus; he exacted the uttermost farthing, and you'd do the same, p. 284–285)». Эта фраза исключена при переводе. Посмеиваясь над Монтанелли, призывающим бога, Риварес «советует» ему: «Громче зовите» — и усиливает ироническое звучание этого совета предположением: «Он, может быть, спит (perchance he sleepeth, p. 292)». Переводчики, видимо, сочли такое предположение неуважительным для бога и исключили его.

И еще один, может быть, самый поразительный пример. Сцена расстрела. Все считают, что Риварес уже мертв. Но он неожиданно поднимает голову и обращает к Монтанелли последний обвиняющий вопрос: «Падре, вы... удовлетворены?» (с. 270). Но в неискаженном тексте романа этот вопрос звучал иначе, с несравненно большей обвиняющей силой: «Падре, ваш бог удовлетворен? (Padre, is your God satisfied? P. 299)».

Обнаружив все это, обиженный за такое обращение с его любимой книгой харьковский студент состряпал и направил в «Литературную газету» небольшую статью, или заметку, которая в меру моего тогдашнего умения разоблачала эту позорную ситуацию. Сотруднику, который со мной беседовал (если мне не изменяет память, его фамилия была Зверев), она поначалу понравилась. Но потом не то он сам, не то какое-то более высокое начальство сообразило, что приближается 90-летие со дня рождения Э. Войнич, и в канун такой торжественной даты сообщить ей (а она была еще жива!), что советская власть десятилетиями печатала ее прославленный роман с искажениями, внесенными цензурой царских времен, значило бы оскандалиться с головы до ног.

Вопрос решили так, как это обычно делалось при советской власти. Статью мою не напечатали, но мне сообщили, что какому-то издательству предписано выпустить в свет двухтомник писательницы, в котором читатель найдет неискаженный текст романа. Наверное, это было сделано, и всю эту постыдную историю безмолвно и бессовестно замяли.

Молодой Баткин



Л. М. Баткин

29 ноября 2016 года ушел из жизни выдающийся историк, культуролог, общественный деятель Леонид Михайлович Баткин. Весть о понесенной утрате потрясла многих. Григорий Явлинский признался, что беседы с Баткиным всегда были для него событием. Баткин был бескомпромиссным борцом за идеалы гуманизма и демократии, одним из самых убежденных сподвижников Андрея Дмитриевича Сахарова и после его смерти выпустил сборник, в котором обобщены конституционные идеи этого великого человека.

Рылеев писал в свое время, что «подвиг воина гигантский / И стыд сраженных им врагов / В суде ума, в суде веков / Ничто пред доблестью гражданской»²⁷. В моих глазах Леня Баткин — воплощение именно этого качества. Я высоко ценю его эрудицию, его талант исследователя, его писательское и ораторское мастерство, но в этой книге вы прочтете о многих, кому эти свойства были присущи не в меньшей мере. А вот в «доблести гражданской», в бестрепетности определения своей жизненной позиции, в неспособности на любые сделки с совестью он не превзойден никем.

Я не видел Баткина-политика, что называется, в деле. Другие расскажут о его деятельности в «Демократической России», в Межрегиональной депутатской группе, о том, как он вел митинги, разил противников в политических дискуссиях. А я попытаюсь говорить о том, о чем вы не услышите больше ни от кого или почти ни от кого, — о молодом Баткине, о становлении его личности, происходившем на моих глазах пятьдесят-шестьдесят и более лет назад.

После окончания школы Леня, или, как его тогда часто называли, Лека, поступил на исторический факультет Харьковского университета. Видимо, тогда у него уже как-то вырисовывались контуры его будущих научных интересов, в связи с чем самой близкой ему оказалась кафедра истории Средних веков. Его пестунами и, можно сказать, старшими друзьями уже в студенческие годы

²⁷ Рылеев К. Ф. Стихотворения. М.: Сов. писатель, 1948. С. 20.

стали два доцента этой кафедры: мой отец Генрих Венецианович Фризман и его близкая приятельница Любовь Павловна Калущкая. Я учился на филфаке, Леня, живший поблизости, был частым гостем в нашем доме, с середины 50-х годов мы с ним принадлежали к одному «студенческому братству». Он был постоянным потребителем библиотеки отца, богатой и художественной литературой, и историческими раритетами. Мы оба занимались научной работой, точнее сказать, стучались в двери науки, причем Данте очень рано вошел в сферу его научных интересов, обогатив их известным филологическим «привесом». Даже шуточные стихи, которые мы все пишем в таком возрасте, он писал терцинами.

В отцовской библиотеке были богатейшие по тем временам коллекции поэтических сборников Гумилева, Ахматовой, Пастернака, Волошина, молодого Антокольского, немало литературы, в те времена именовавшейся антисоветской. За семью замками хранилась такая сверхзапрещенная книга, как «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида, вчистую опровергавшая официальную концепцию Октябрьской революции и роль в ней Сталина. Понятно, что многие книги определяли и темы разговоров.

Далеко ли от восхищения Гумилевым до размышлений об учиненной над ним расправы или от проникновения в творчество Ахматовой и Зощенко до соответствующей оценки постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград»? Так что именно в нашем доме закладывались основы оппозиционного идеологического мира Баткина, которые советская власть травила в нем до последнего своего издыхания.

Он был обо всем осведомлен: что сестра моего отца погибла в лагерях, а дед лишь чудом избежал той же участи, что многие наши близкие друзья: В. Г. Грамбичская, И. С. Гончарова, Л. Я. Лившиц стали жертвами репрессий; что и на отца, и на меня лежали в «органах» доносы, влекшие за собой и «следственные действия».

На наши с Ленею студенческие годы пришелся XX съезд КПСС с докладом Хрущева о культе личности и его последствиях. И ни для кого из нас прозвучавшие там разоблачения не были откровением. Знали мы прекрасно, что Зиновьев и Каменев, Бухарин и Рыков никакими шпионами не были и что все их признания получены под пытками, как и признания освобожденных и реабилитированных после смерти Сталина «врачей-вредителей». Поражались не тому, что узнали правду, а тому, что она была открыто **признана**.

Помню, я обратил тогда внимание Лени на поэму Бехера «Лютер» в переводе Пастернака. В ней есть такая строфа:

О торге отпущеньями, грехе
Неверия, налогом непосилье
Открыто было сказано в листке
То самое, что дома говорили²⁸.

И посмеивались: мы тоже услышали в докладе Хрущева «то самое, что дома говорили».

В оценках людей этический порог Баткина был высоким, а главное, неколебимым. Любые сделки с совестью он не только исключал для себя, но и не прощал другим. Приспособленцы вызывали у него брезгливость. Запомнилась такая реплика: «Эта позиция слишком удобна для того, чтобы быть порядочной». Однажды в разговоре с ним отец сказал, что тогдашний декан исторического факультета С. И. Сидельников — человек порядочный. Баткин отозвался вопросом: «А сколько евреев он взял на работу?»

Зная Леню, как немногие, берусь уверенно вскрыть подтекст этого вопроса. Дело не в заботе о трудоустройстве евреев, а в убеждении Баткина, что порядочность человека должна подтверждаться его действиями, его готовностью противостоять любым проявлениям несправедливости. Если такой готовности нет и на соответствующие действия он не способен, его порядочность копейки не стоит.

Сходно сложились судьбы наших с ним первых книг. Ленина книга «Данте и его время» вышла в 1965 году в «Научно-популярной серии» издательства «Наука», а я в 66-м выпустил в той же серии свою — «Творческий путь Баратынского».

После окончания университета Леня около десяти лет преподавал в Харьковской консерватории и создал там «Клуб любителей искусств консерватории» — сокращенно КЛИК. Я иногда бывал на его заседаниях, и особенно мне запомнилось то, на котором я впервые увидел Чичибабина. Борис Алексеевич читал свои стихи, которых я прежде совсем не знал. Среди них были «Крымские прогулки» с их обжигавшими сердце строками: «Где ж вы, — кричал, — татары?» / Нет никаких татар», — и «Клянусь на знамени веселом»,

²⁸ Немецкая демократическая поэзия / Пер. Б.Л. Пастернака. М.: Гослитиздат, 1955. С. 218.

известное под названием «Не умер Сталин». Несмотря на то что он вынужденно сделал некоторые купюры, исключив, в частности, строки: «Пока во лжи неукротимы / Сидят холеные, как ханы, / Антисемитские кретины / И государственные хамы», — впечатление было потрясающим.

Я позднее много раз слышал стихи Чичибабина в его исполнении, и мне кажется, что есть два стихотворения, которые он читал несравненно. Чтобы не навязывать свое мнение, приведу оценки других слушателей, впечатления которых полностью разделяю. В первом случае это жена поэта Лилия Семеновна Карась-Чичибабина, во втором — его видный французский исследователь Жорж Нива.

«Он прочел стихи “Клянусь на знамени веселом” (“Не умер Сталин”). Я замерла — в те дни подобные темы еще оставались опасными и рискованными. Надо было видеть, как он читал, как гневно звучал его голос на обличавшем рефрене, как “аввакумовски” ткнул себя в грудь на строках: “А в нас самих, труслив и хищен, не дух ли сталинский таится...”»²⁹.

«Вдруг появилась высокая фигура раненой птицы — это был Чичибабин. Он сразу начал читать поэму “Плач об утраченной родине”. Я был взволнован <...> Я не говорю, что Чичибабин абсолютно прав, я думаю совсем иначе, но я его понимаю. И этот долгий плач по России выворачивает душу»³⁰.



Б. А. Чичибабин

²⁹ Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. Харьков: Фолио, 1998. С. 134.

³⁰ Там же. С. 271.

После чтения, продолжавшегося около часа, Борис Алексеевич, видимо, почувствовав усталость, спросил: «Есть ли в зале Новожилов?» С места поднялся невысокий юноша, впоследствии ставший прославленным мастером художественного слова, сменил Чичибабина на трибуне и продолжал наизусть читать его стихи.

С этого дня Чичибабин навсегда вошел в мой мир. Мне не довелось с ним тогда познакомиться, но я, сначала через Баткина, а потом и некоторых других знакомых (З. Каца, Л. Болеславского, В. Добровольского), добывал его стихи и усердно их распространял. Я печатал их на папиросной бумаге: закладка давала до десяти копий! — и одаривал людей своего круга.

Лишь спустя много лет у меня сложились с Борисом Алексеевичем дружеские отношения, незадолго до его смерти я напечатал, а он прочел мою первую статью о нем; в 1999 году вышла моя книга «Борис Чичибабин. Жизнь и поэзия», а в 2013-м я имел честь вместе с вдовой поэта подготовить для серии «Литературные памятники» сборник «Борис Чичибабин в стихах и прозе».

Поскольку с 1968 года Леня жил в Москве, книгу о Чичибабине, а также и мою книгу о Галиче «С чем рифмуется слово ИСТИНА» я отправил ему по почте. Когда при очередном наезде в столицу я, по обыкновению, заехал к нему на улицу Миклухо-Маклая, он предался воспоминаниям о том, что оба эти поэта бывали у него в гостях, причем Чичибабин, по его рассказам, был сдержан и немногословен, а Галич, напротив, очень возбужденный и в приподнятом настроении, наливал себе водку «из вот этого графина».

Вернусь к харьковскому периоду Лениной биографии. Хотя он был любимцем студентов и пользовался авторитетом у коллег, над его головой сгущались тучи. Его терпеть не мог секретарь Харьковского обкома КПСС Н.А. Сероштан, причем, как рассказывал мне сам Леня, для этого были основания: он разговаривал с партийным сановником без всякого трепета, вступал в спор и даже перебивал его.

Результатом стали драматические события. В Институт искусств приехала комиссия, которую возглавлял В.С. Корниенко. Не могу сказать определенно, получила ли она установку обкома произвести в институте погром, или Корниенко действовал с намерением сместить со своего поста действующего ректора В.Н. Нахабина и захватить его кресло. Но когда выяснилось, что новым ректором назначен Корниенко, Баткин был возмущен. Он считал, что

если Корниенко руководил проверкой института и дал рекомендацию снять Нахабина, то он не имеет морального права сам занять это место.

Леня рассказал мне о бурном объяснении, которое произошло между ними, и о том, что он бросил Корниенко в лицо: «Я не считаю вас порядочным человеком!» Понятно, что на его дальнейшем пребывании в институте был тем самым поставлен крест. Леню сняли с работы за «грубые идеологические ошибки», в том числе за «пропаганду чистого искусства и формализма». Но еще прежде, чем он переселился из Харькова в Москву, случилось нечто, о чем нельзя не рассказать.

Леня раздобыл и прочел книгу Корниенко «О сущности эстетического познания», которая содержала основные идеи докторской диссертации автора, а также ее автореферат, и эти «труды» произвели на него такое впечатление, что он решил напечатать о них статью в «Вопросах литературы». Я был вхож в этот журнал и раньше, и больше, чем он, и содействовал ему, как мог. Хотя редакция относилась к Лене очень уважительно, острота предлагаемого материала все же вызвала у нее опаску, и ему поставили встречное условие: чтобы это была не рецензия, а обзор трех-четырёх книг. Делать нечего, Леня засел за новые труды по эстетике, которые могли бы составить компанию книге Корниенко.

Хорошо помню наш тогдашний разговор. Он сказал: «Я просто в растерянности. Все, что я читал, настолько слабо и даже смешно, что не знаешь, на чем остановить выбор...» Выбор он, разумеется, сделал, статью одобрили и утвердили к печати. Если мне не изменяет память, именно для этого материала был создан раздел «Трибуна литератора», который — и это уж точно впервые! — предваряла «шапка»: «В этом разделе все статьи печатаются в дискуссионном порядке». Я читал немало Лениных статей и высоко ценю его как мастера политической полемики, знаю бронебойную силу его мысли, разящей противника наповал, но эта статья написана совсем по-другому и, кажется, не имеет аналогов в публицистическом творчестве Баткина. В ней не улавливается гнев, она пронизана презрением к скудоумию разбираемых в ней трех авторов, и если я углубляюсь в нее, то лишь для того, чтобы показать: Леня умел писать и так!

Статья называлась «Кто изящней: верблюд или лошадь?». Критических оценок Корниенко и других авторов ней почти нет, во всяком случае, не они бросаются в глаза. Баткин просто цитирует их

с немногословным ироническим комментарием, и этого достаточно. Он их «раздевает» и выставляет на посмешище. Ограничусь двумя примерами.

«Теперь дадим В. Корниенко высказаться о поэзии. “...Мы должны правильно понять диалектику материального и идеального. В. Маяковский, например, использовал образ парохода, названного именем Т. Нетте, для выражения мыслей и чувств”. “В произведении В. Маяковского использован образ парохода, носящего имя Т. Нетте, но материальной формой, выражающей идейное содержание стихотворения, является язык”. О чем тревожится В. Корниенко? — спрашивает Баткин. — Да о том, чтобы читатель, плохо подкованный по философской линии, не решил вдруг, что Маяковский превратил реальный государственный пароход в стихотворение»³¹.

«Автомобиль всегда обращен одной стороной вниз, — уверенно констатирует исследователь, — движение вверх для него не свойственно, вперед он движется лучше, чем назад, свободно движется вправо и влево <...> Следовательно, симметрия автомобиля возникает как перенесение свойств одних материальных предметов на другие в производственной практике человека”. Как видим, В. Корниенко достаточно нескольких фраз, чтобы вывести из суждения типа “дважды два — четыре” целый каскад умозаключений, которым в оригинальности уж никак не откажешь. К примеру:

1. “Тело самого человека” — это “животное”.
2. Комары летают “прямолинейно”.
3. Раки, очевидно, “вперед движутся лучше, чем назад”, а рыбам, птицам и млекопитающим — белкам и обезьянам — не присуще “движение вверх” <...> И так далее, при желании читатель легко продолжит этот реестр»³².

Обиженный В. Корниенко попробовал пуститься в спор, послал в «Вопросы литературы» встречную статью и напел в ней такого, что получил еще одну оплеуху — от редакции журнала: был отмечен «характерный для общего уровня научных размышлений автора перевод камбалы в разряд млекопитающих, а также переселение львов и тигров в лесостепную полосу. И констатируем, что скорбный список животных, которым изрядно перепало в преж-

³¹ Баткин Л.М. Кто изящней: верблюд или лошадь? // Вопросы литературы, 1967. № 8. С. 169.

³² Там же. С. 171.

них работах В. Корниенко, теперь значительно пополнился. Даже та “изящная породистая лошадь”, которая в автореферате его докторской диссертации ставилась в пример “горбтому верблюду”, отныне, ввиду отсутствия “силы и крепости”, сама, так сказать, разжалована в верблюды»³³.

С 1968 года Леня работал старшим научным сотрудником Института всеобщей истории АН СССР, но отношение к нему оставляло желать лучшего. Причиной этого, несомненно, была его независимая политическая позиция, выразившаяся, в числе прочего, в участии в 1979 году в самиздатском альманахе «Метрополь». Хотя он был ученым с мировым именем, членом Американской академии по изучению Возрождения, автором книг, которые переводились и премировались в Италии, ему не без влияния КГБ и партийных инстанций препятствовали в защите докторской диссертации. Лишь после падения советской власти он получил степень доктора по совокупности печатных работ.

В эти нелегкие годы, да и позднее, важную положительную роль в его судьбе играл Юрий Николаевич Афанасьев. Сейчас имя этого выдающегося борца за демократическое переустройство общества стали как-то подзабывать, но в 80-х и 90-х годах оно гремело по всему Союзу. Он был ректором крошечного Историко-архивного института, но его политическая активность не раз навлекла на него недовольство и раздражение самого Горбачева. Афанасьев сделал Леню ведущим научным сотрудником своего института, а позднее, когда создал заслуживший всемирную известность Российский государственный гуманитарный университет, где был сначала ректором, а потом президентом, переманил к себе всех крупнейших ученых Москвы, работавших в области гуманитарных наук, а Леня там стал главным научным сотрудником. Его называли тогда правой рукой Афанасьева.

После переезда Лени из Харькова мы виделись только в Москве. Я наезжал туда довольно часто и стремился не упустить ни одной возможности встречи с человеком, общением с которым и мнением которого неизменно дорожил. Если не считать моей жены, Леня был единственным, кто присутствовал на обеих моих защитах. Когда я в 1967 году защищал кандидатскую, он еще жил в Харькове, а в 77-м, в год моей докторской защиты, — был уже вполне обосновавшимся москвичом.

³³ Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 129.

Из многих наших встреч, которые когда-то были более-менее регулярными, расскажу о такой. Я оказался у него в гостях 24 сентября 1970 года. В ходе разговора он спросил: «А сколько тебе лет?» Я ответил: «Мне сегодня исполнилось тридцать пять лет». Он ахнул. До меня только позднее дошло все то, что он сообразил мгновенно. Дело было не только в том, что Библия определяет продолжительность жизни человека в семьдесят лет, и тридцать пять — это полжизни. Важнее другое. «Божественная комедия» начинается словами: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Когда Данте написал эти слова, ему было тридцать пять лет.

Я, конечно, стремился прочесть как можно больше написанного Леней. Запомнилась страстная статья «Год без Сахарова». Когда Юрий Буртин выпустил сборник «Горечь и выбор», в котором приняли участие самые блистательные политики и публицисты, второй, сразу после статьи Афанасьева, была в нем напечатана статья Баткина «Россия на распутье». А когда не стало Буртина, Баткин откликнулся на его кончину в «Московских новостях» статьей «Мы уходим».

Российская политическая периодика практически не доходила до Харькова, но мне нетрудно было представить себе, как реагирует Баткин на чеченскую войну, на приход Путина к власти, на его расправу с НТВ, на оба процесса Ходорковского, на сворачивание того уровня демократии, который продолжал существовать при Ельцине, на террористические акты и политические убийства. Горько сознавать, что больше он уже ничего не напишет.

Память о Лихачеве

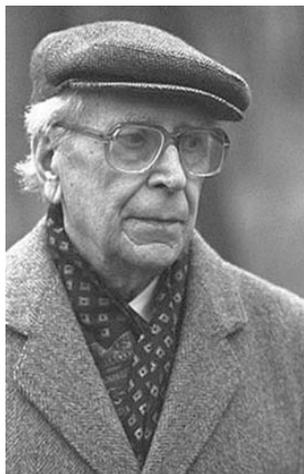
*О память сердца! ты сильнее Рассудка
памяти печальной...*

Батюшков

Я впервые увидел Лихачева 3 августа 1963 года. Предыстория этой встречи такова. Я был тогда учителем вечерней школы и писал, как умел, диссертацию о поэзии Баратынского. Родная советская власть по причине моей нежелательной национальности заботливо уберегла меня от возможности поступить в аспирантуру, научного руководителя у меня не было, и я обращался за помощью, к кому мог. Приезжал в Москву и Ленинград, звонил совершенно незнакомым людям, известным мне лишь по фамилиям, и говорил: «Я учитель из Харькова, пытаюсь заниматься исследовательской работой, не согласитесь ли уделить мне время для встречи». И мера интеллигентности в тогдашней научной среде была такой, что ни одного раза ни от кого я не получил отказа. А ведь все мои собеседники были люди с громкими именами и, конечно, очень занятые — я-то выбирал в собеседники лучших из лучших.

Вот так, можно сказать, с улицы я попал к Дмитрию Евгеньевичу Максимову. Надо уточнить, что к этому времени я проработал над Баратынским несколько лет, вник в его эпоху, изучал рукописи, бывал в Мурановском музее, наладил контакты с его директором К. В. Пигаревым, который очень сочувственно относился к моей деятельности. Я даже составил словарь поэтического языка Баратынского — не такой, какие теперь пекут, как пироги, с помощью компьютера, а вручную, имея в качестве образца «Словарь языка Пушкина».

Целью той моей поездки и темой беседы с Максимовым была задумка собрать в 1964 году конференцию, приуроченную к 120-летию со дня смерти Баратынского. Когда я посвятил Дмитрия Евгеньевича в эти планы и вообще в ход своих дел, он сказал: «Да у вас уже столько наработано! Вы должны написать о Баратынском книгу. Я вас сведу с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Он член редколлегии “Научно-популярной серии”, выпускаемой издательством “Наука”, там она вполне может быть издана». И, увидев мое смущение, добавил: «Поговорите с ним: он человек *помогающий*». Он созвонился с Лихачевым, который пригласил меня приехать



Д. С. Лихачев

к нему на дачу в Зеленогорск, где и состоялась наша встреча. С первого взгляда меня поразила его внешность: высокий, стройный, лицо без намека на морщины, тронутые проседью волосы, глаза, в которых светилось все богатство его внутреннего мира, такая расположенность к незнакомому человеку, как будто это был его близкий и долгожданный друг.

После нескольких секунд раздумий Лихачев поддержал обе идеи: и мою о конференции, и Максимова о книге в «Научно-популярной серии». Он научил меня, как оформить заявку, и пообещал содействовать ее прохождению. А конференцию посоветовал провести в Тамбове, на родине Баратынского, где заведующим кафедрой литературы Педагогического института был его знакомый — Борис Николаевич Двинянинов. Он отправил Двинянинову письмо, которое позднее было подарено мне. Вот его текст:

Дорогой Борис Николаевич!

В Харькове живет юноша — Л. Г. Фризман, изучающий творчество Баратынского и пишущий о нем диссертацию.

Юноша этот приезжал ко мне в Зеленогорск и произвел на меня впечатление человека интеллигентного и приятного.

Он просит меня написать ему — нельзя ли было бы в родном Баратынском Тамбове устроить юбилейную научную сессию весной 1964 года. Он сговорился с К. В. Пигаревым и другими — все согласны. **Посылаю Вам составленную им программу сессии.** Мне кажется, что такие сессии хороши и в педагогическом отношении. Напишите ему, пожалуйста. Было бы крайне важно, чтобы и Вы выступили на этой сессии с докладом или вступительным словом. У Л. Г. Фризмана есть несколько неизданных писем Баратынского. Хорошо было бы потом издать сборник о Баратынском на основании проведенной научной сессии. Шлю привет Вам и Вашим слушателям.

Искренне Ваш Д. Лихачев
29 октября 1963 г.

Научная сессия не состоялась из-за idiotских претензий начальства вроде, например, «А почему 120, а не 125?» Ничего не поделаешь, не зря писал Галич, что «начальник умным не может быть, потому что не может быть»³⁴. Зато моя заявка на книгу была принята, со мной заключили договор, а Дмитрий Сергеевич согласился стать ее ответственным редактором.

Хочу рассказать еще об одном эпизоде, произошедшем позднее и, как мне кажется, показательном для характеристики Лихачева. Я уезжал из Ленинграда в Москву, и он попросил меня заехать к нему на дачу и отвезти в редакцию журнала «Известия АН СССР. Серия литературы и языка» какой-то манускрипт, представлявший такую ценность, что он не решался доверять его почте. Поручение это я, конечно, выполнил, но, когда после этого зашел в «Науку», мне сказали, что моя книга не сдается в набор, потому что срочно нужна подпись Лихачева на какой-то бумаге. Я взял эту бумагу, в тот же вечер уехал обратно в Ленинград и утром был уже в Зеленогорске. Телефона на даче Лихачева не было, и я чувствовал себя ужасно неловко, сваливаясь ему на голову без разрешения.

Лихачева дома не оказалось, и я сел его ждать. Можно себе представить, как он, должно быть, удивился, когда, вернувшись, увидел меня, которого он только что проводил в Москву! Но такая была его сверхчеловеческая интеллигентность и продиктованное ею самообладание, что ни один мускул не дрогнул на его лице. Он мгновенно осознал, что я и без того смущен своим непрошеным визитом, и с улыбкой протянул мне руку так, как будто наша встреча была назначена. С тех пор прошло больше пятидесяти лет, но я не могу вспоминать ее без восхищения, потому что видел подобное только один раз в жизни.

И еще характерная деталь. Когда я уходил, он стал мне подавать пальто, а я, понятно, попытался уклониться от этой чести. Тогда он сказал: «В царской армии был такой обычай. Старший по званию мог подавать шинель младшему: это считалось знаком уважения, а младший старшему — нет: это был подхалимаж». Я это хорошо запомнил, но не очень-то воспринял к исполнению.

Дружеское отношение и заботу обо мне Лихачев проявлял много раз, но сейчас я расскажу о случае, в котором то и другое выявилося с особой силой. Когда моя книжка о Баратынском вышла

³⁴ Галич А. Королева материка // Стихотворения и поэмы. СПб., 2006. С. 200.

в свет, я разослал ее определенному кругу специалистов, среди которых был курский литературовед И. М. Тойбин. Ознакомившись с ней, он обвинил меня в том, что мое толкование поэмы «Бал» якобы заимствовано из защищенной им двадцатью годами ранее диссертации «Поэмы Баратынского». Следует признать, что известную идейную переключку между написанным у него и у меня усмотреть можно. Но каждому разумному человеку ясно, что произошло это без умысла с моей стороны: было бы безумием в канун защиты подобным образом поставить под удар свои планы на будущее и в какой-то степени всю дальнейшую жизнь. Здесь случилось то, что мне когда-то сказал Максимов: «Мысль нельзя не украсть».

Я всегда стремился строго соблюдать этические обязательства в отношении своих предшественников. Глава моей диссертации, освещавшая историю изучения Баратынского, была размером в 115 страниц, а об огромном количестве сносок, рассыпанных в тексте, и говорить нечего. Но при подготовке книги я проявил неосторожность. Мне показалось, что многочисленные ссылки утяжелят восприятие издания, выходящего в «Научно-популярной серии», и будет правильнее отдать должное своим предшественникам во введении. Среди них, разумеется, в самой уважительной форме фигурировал и Тойбин. К сожалению, будучи тогда человеком молодым и неопытным, я не знал, до чего может доходить мелочность и озлобление некоторых моих коллег.



К. В. Пигарев

Не нашлось ни одного литературоведа, у которого обвинения Тойбина получили бы хоть малейшую поддержку: и самый крупный специалист по Баратынскому в СССР К. В. Пигарев, и самый крупный специалист по Баратынскому на Западе профессор Гейр Хетсо отнеслись к ним с полным пренебрежением. Мало того, Пигареву так запомнилась эта история, что через три с лишним года (!) она побудила его отклонить участие Тойбина в подготовляемом им «Мурановском сборнике». Мне он сообщил об этом так: «Если бы я не знал стороной, какой это “трудный” автор, и не помнил прошлой истории с его необоснованными претензи-

ями к Вам, я бы предложил ему участие в нашем сборнике. Но не делаю этого, ибо опасаясь “обжечься” и предпочитаю иметь дело с людьми, которых имею основание считать друзьями Муранова».

Я так детально излагаю эту историю потому, что среди тех, кому Тойбин изливал свои претензии, был ответственный редактор моей книги Лихачев. И в этой ситуации Дмитрий Сергеевич проявил свое дружеское отношение ко мне так, как не бывало ни до, ни после этого. Я не знаю, что писал Тойбин Лихачеву и какой ответ он получил, но вот какое письмо Дмитрий Сергеевич прислал мне:

Дорогой мой!

Дело было так. Я получил от Тойбина письмо с описанием того, как ему представлялось дело. Он спрашивал меня, что делать, так как он не хочет причинять **мне** огорчение. Я ему ответил письмом, в котором сказал, что огорчить меня он не должен бояться. Он может дать ход делу, как он пожелает, и со мной не считаться. Но... я еще сказал, что бывают случаи, когда автор допускает неэтичность по неопытности, не намеренно. И привел несколько случаев. В частности, мне все советовали, требовали даже ослабить в газетах некоего Покровского, который в своей книге по истории обществ. мысли списал целые страницы из моей книги «Национальное самосознание др. Руси». Оказалось же, что он издал курс своих лекций, которые читал много лет, и в этом курсе «освоил» выписки из моей книжки, и счел текст целиком своим. Покровский не догадался отмечать в своих выписках источники и как-то забыл, что текст не его. За это объявлять его нечестным человеком?!

Я посоветовал Тойбину написать Вам, но ни в коем случае (если он не хочет брать грех на душу) не разводить «историю», так как все могло быть и не со злым умыслом, а по неопытности Вашей или по Вашей неряшливости.

Так оно, видимо, и есть. Я жалею, что сразу сам Вам не написал, но у меня было много неприятностей и, как говорится, «не до того...». Впредь будьте более точны во всех случаях. Человек пишущий — канатоходец, а я к тому же — склеротик (вдруг забыл Ваше имя и отчество).

Желаю Вам хорошей защиты.

Ваш Д. Лихачев 28 августа 1966 г.

P. S. Сообщите, как защитили и как будет с Тойбиным. Если надо, я ему напишу еще раз. Извините за почерк.

Когда при одной из последующих встреч я попытался предметно показать Лихачеву надуманность тойбинских претензий, он не стал меня слушать и только сказал со смесью досады и брезгливости: «Да забудьте вы об этом. Ну бывают такие подозрительные люди».

И еще два комментария к этому письму: первый шуточный, а второй вполне серьезный. Когда Лихачев обозвал себя склеротиком, он имел в виду, что у него, как у многих пожилых людей, как сейчас и у меня, вдруг выпадают из памяти хорошо знакомые имена. Через семнадцать лет после описанных событий — а мы на протяжении этого времени общались множество раз — произошла наша встреча на Съезде славистов. Буквально бросившись ко мне навстречу, пожимая руку и приобнимая второй, он, видимо, вновь забыл, как меня зовут, и обратился ко мне с восклицанием: «А! Баратынский из Харькова!» Когда вскоре после этого я увидел его на скамейке и подсел к нему, он без малейшего напряжения назвал меня по имени и отчеству. Из тогдашнего разговора в памяти остался только рассказанный им анекдот. Портной обещал заказчику сшить ему костюм за две недели. Заказчик заметил с упреком: «Господь Бог весь мир создал за одну неделю» — «Но что это за мир!» А если говорить всерьез, то формула в его письме: «Человек пишущий — канатоходец» — может быть, самое умное из всего, что я когда-либо от кого-либо слышал.

Моя защита, о результатах которой спрашивал меня Лихачев, прошла успешно. Детальнее я расскажу о ней в посвященном этой теме очерке, а сейчас сообщу только, что состоялась она исключительно благодаря помощи Лихачева. Дело в том, что попасть в Совет она могла только после одобрения кафедры, которой заведовал, мягко говоря, очень тяжелый человек по имени Макар Павлович Легавка. Мне подсказали единственно действенный выход из положения — сделать так, чтобы Легавку за меня попросил Лихачев. Дмитрий Сергеевич написал ему письмо, в котором просил посодействовать моей защите. Расчет оказался безошибочным. Легавка пришел в такой восторг от того, что к нему обратился «сам Лихачев», что носил это письмо на груди, всем его показывал и так проникся сознанием своего величия, что судьба жалкой букашки Фризмана утратила для него всякий интерес.

Еще один эпизод, когда я получил действительную помощь от Лихачева. Работая в Республиканском историческом архиве, я изучал в нем фонд Харьковского историко-филологического общества

и написал по обнаруженным там материалам статью «А. И. Белецкий в Харьковском историко-филологическом обществе (по неопубликованным материалам)». Прежде чем представить ее для публикации я решил показать ее Лихачеву, а он переправил ее главному редактору журнала «Известия АН СССР. Серия литературы и языка» Д. Д. Благому, сопроводив письмом, копию которого прислал мне. Вот это письмо:

Глубокоуважаемый Дмитрий Дмитриевич!

Посылаю Вам статью молодого литературоведа Л. Г. Фризмана об акад. А. И. Белецком. Я бы считал крайне важным поместить эту статью в нашем журнале. А. И. Белецкий принимал очень энергичное участие в работе «Известий АН», он был замечательным литературоведом, а статья Л. Г. Фризмана, хорошо написанная, раскрывает ряд новых фактов малоизвестного периода его деятельности.

Статья Л. Г. Фризмана написана отчасти по моей просьбе. Я буду только просить Л. Г. Фризмана несколько разъяснить тот пункт его статьи, где он пишет об отношении А. И. Белецкого к второстепенным писателям, о необходимости изучать их творчество для установления и уточнения историко-литературного процесса. Дело в том, что эта мысль А. И. Белецкого высказывалась и до него. В «Кратком курсе методологии истории литературы» В. Н. Перетца эта мысль уже есть, а В. Н. Перетц может считаться учителем А. И. Белецкого. Затем эта же мысль высказывалась А. Н. Веселовским. До А. Н. Веселовского ее высказывали русские революционные демократы. Идея А. Н. Веселовского имеет «хорошую генеалогию», и о ней следовало бы напомнить.

С приветом и уважением, Д. Лихачев

Слова Лихачева о том, что статья, о которой идет речь, написана отчасти по его просьбе, требуют некоторого пояснения. Просьбы в точном смысле этого слова не было. Но в одной из наших бесед Дмитрий Сергеевич сказал мне: «Вас никогда не будут считать серьезным ученым, если вы не будете находить и публиковать рукописи». Эти слова надолго стали для меня путеводной звездой, и я, как мог, старался им следовать. Так появились и первая статья в «Известиях АН», и первая статья в «Русской литературе» о Брюсове как исследователе Баратынского, также построенная на архивных материалах, и многие последующие публикации.

Не буду пересказывать содержание других писем, полученных мной от Лихачева. Это, как правило, отклики на мои книги, которые я ему посылал, поздравления с праздниками, пожелание здоровья, когда он узнал, что я болел. Он находил время для того, чтобы внимательно следить за моей деятельностью, а я особенно этим дорожил, помня его завет: «Ученый должен не писать отдельные статьи или книги, а строить свой творческий путь».

Не могу не признаться, что следовать завету у меня получалось плохо. Я беспорядочно метался по разным именам, проблемам и эпохам, и метания эти приобрели особую остроту, когда пришлось определять тему докторской диссертации. Я колебался между двумя вариантами: «Историей русской элегии», которой меня страстно соблазнял Ефим Григорьевич Эткинд («Вы созданы для этой темы... Да кто же, если не вы...» и т. д.), и «Литературным мастерством Маркса и Энгельса» — вариантом, несравненным с карьерной точки зрения. Мои публикации по этой второй теме получили живейшую поддержку двух Институтов марксизма: и у нас, и в ГДР. Мне сулили не только блестящую защиту, но и последующие золотые горы, ведь на эту тему никто не писал, можно сказать, что я был по ней единственным специалистом в мире. В мои колебания были посвящены несколько человек, но всерьез я советовался только с двумя: с Алексеем Владимировичем Чичериным, с которым мы особенно сблизились после того, как он выступил оппонентом на моей защите, и с Лихачевым. Чичерин мне говорил: «Вы напоминаете мне человека, который стоит между двумя пропастями и выбирает, в какую из них броситься». Я понимал, куда он гнет: он хотел, чтобы я не выбирал один из вариантов, а сделал обе эти темы. С Лихачевым было сложнее. Ему была милее «Элегия», но он хотел, чтобы решение я принимал сам. Специально для этого разговора я приехал к нему на Мушинский, мы сидели за кофе, он пощипывал печенье и в ответ на все мои pro и contra только повторял: «Думайте, думайте». Я ему: «Дмитрий Сергеевич, я вовсе не собираюсь бросать русистику. Я хочу повторить опыт нашего с вами общего друга Георгия Михайловича Фридлендера, который с блеском защитил докторскую на тему “К. Маркс, Ф. Энгельс и вопросы литературы”, после чего вернулся к прежней тематике и сейчас руководит изданием академического Достоевского. Вы ведь его поддерживали и даже выступили оппонентом на его защите. Почему же не хотите поддержать мой совершенно аналогичный ход?». А он: «Думайте, думайте...»

Однажды я встретился с ним на лестнице Пушкинского Дома. Он очень спешил, бросил на бегу: «Придумайте что-нибудь для “Научно-популярной серии”. Темку хорошую!» — и умчался вниз, не дожидаясь ответа. Я подумал, вспомнил, что у меня есть неплохой задел материала по Киреевскому, и написал ему об этом. Он ответил, что тема ему очень нравится как тема научной работы, но что провести ее по научно-популярной серии будет трудно. Я отказался от этих планов и, как показала жизнь, поступил правильно. Через несколько лет я выпустил книгу «Европеец. Журнал И. В. Киреевского» в серии «Литературные памятники», и она получилась намного более весомой и значимой, чем было бы научно-популярное издание.

Также в «Литературных памятниках» мной были изданы «Стихотворения и поэмы» Баратынского, в сущности, полное собрание его поэтических произведений. Меня пригласили на заседание редколлегии, на котором утверждалась к печати эта книга, и заседание оказалось настолько необычным, что о нем стоит рассказать. Меня-то даже не обсуждали, когда дошло до этого пункта повестки дня, Лихачев сказал непререкаемым тоном: «Нам нужен Баратынский. Нам нужен Леонид Генрихович», — никто и не подумал возражать. Необычный и даже, я бы сказал, скандальный характер этого заседания был вызван совсем другим. Дело в том, что для цензурно-партийного контроля в редколлегию был введен, а затем и назначен на должность заместителя председателя директор издательства «Наука» А. М. Самсонов, который самовольно, без согласования с Лихачевым, создал из числа входивших в редколлегию москвичей (а их было больше, чем ленинградцев) некое «бюро редколлегии», которое и возглавил. Получилось, что в редколлегии появился как бы второй председатель — председатель «бюро». Какое-то время Лихачев это терпел, но в конце концов его возмущение вырвалось наружу, и случилось это как раз на том заседании, в моем присутствии. Он не повысил голоса, но в его гневе крылась такая сила, что он казался страшен, и все присутствующие притихли. Когда заседание закончилось, сидевший рядом со мной Михаил Леонович Гаспаров сказал мне: «Вот вы и были высоких зрелищ зритель».

В тот день я видел Лихачева вживую последний раз, в дальнейшем — только на телеэкране: в зале Съезда народных депутатов, где он был назван «гордостью русской интеллигенции», в ленинградских передачах, в которых он выступал, чаще всего в защиту культуры. Незадолго до его смерти мне довелось услышать его

рассказ о пребывании на Соловках. Я смотрел на него и любовался: его внешность в 92 года вызывала такое же восхищение, как в 57: свободно льющаяся речь, молодой голос, в котором слышались все оттенки эмоций, выразительность мимики, мягкая неназойливая жестикуляция. Он вспоминал, как однажды лагерное начальство ни с того ни с сего расстреляло триста заключенных. «Вы только подумайте, — говорил он, как бы доверительно обращаясь к каждому из своих слушателей. — Триста человек! Без всякой вины, просто так, для остратки!»

Я пишу и в этом, и в других очерках, составивших эту книгу, только о том, что видел и чувствовал сам, не пересказывая чужих мнений и не ввязываясь в полемику с ними. Мне доводилось слышать, что Лихачев порой относился к младшим и сверстникам сдержанно и даже прохладно. Но я все годы нашего общения ощущал только душевность его отношения к себе и другого слова подобрать не могу.

Пигарев и Двинянинов

В предыдущем очерке упоминались имена Кириллы Васильевича Пигарева и Бориса Николаевича Двинянинова. Оба они заняли в моей жизни такое место, что о них нельзя не рассказать. Пигарев, правнук Тютчева, с 1949-го по 1980-й год был директором Музея-усадьбы «Мураново», сменив на этом посту своего дядю Николая Ивановича Тютчева. В 1943 году он выпустил книгу «Солдат-полководец. Очерк о Суворове». Ему позвонил Сталин, который похвалил книгу и разрешил обращаться к нему в случае надобности. Пигарев никогда к нему ни с чем не обратился, но последствия этого звонка дали о себе знать. Ему сразу была присвоена степень кандидата исторических наук, книгу дважды переиздали — в 1944 и 1946 годах, а с 1949-го ее автор стал научным сотрудником Института мировой литературы.

Мурановский музей, носящий имя Тютчева, был в равной степени центром изучения двух поэтов — Тютчева и Баратынского. Баратынский жил в Муранове многие годы, им было построено главное здание усадьбы — одного из редких примеров неразоренных дворянских гнезд. Ее сохранением мы обязаны самоотверженности потомков обоих поэтов. Старожилы мне рассказывали, что в трудные годы мать Кириллы Васильевича Екатерина Ивановна Тютчева, в прошлом императорская фрейлина, сама натирала полы, чтобы поддерживать прежний вид Мурановской усадьбы.

Когда в 1950 году исполнилось 150 лет со дня рождения Баратынского, отношение к нему было такое, что ни один журнал, ни одна газета и строчкой не откликнулись на эту дату. И только Пигарев осуществил издание солидного тома произведений поэта, который и сегодня, после того как Баратынского издавали бесчисленное количество раз, остался в известном смысле явлением уникальным — единственной книгой, включающей стихи, прозу и письма поэта.

Понятно, что в середине 50-х годов, когда я занялся Баратынским, Пигарев был в моих глазах первым специалистом по Баратынскому, и не было мне другого пути в мир этого поэта, как через Мураново. Что тогда означала поездка в Мураново, трудно рассказать. Туда не то что транспорта — дороги не было. Появление там автомобиля считалось таким событием, что гурьба босоногих мальчишек мчалась за ним с торжествующими криками: «Машина! Машина!».

С первой моей встречи с Пигаревым прошло шестьдесят лет, но доброта и расположенность, с которыми он меня встретил, живы в моей памяти. Дело было, конечно, не во мне, а в нем. Он всех так встречал. У норвежского русиста Гейра Хетсо, которому будет посвящен отдельный очерк, он вызвал такую же влюбленность, что и у меня. О своих отношениях с Пигаревым я расскажу еще немало. А сейчас о том, как он откликнулся на выход моей первой книги.

Дорогой Леонид Генрихович!

От души поздравляю Вас с выходом в свет Вашей книжки о Баратынском. Спасибо Вам за присылку мне экземпляра с авторской надписью. Еще до его получения я уже знал, что книжка поступила в продажу. Наша библиотека приобрела для музея несколько экземпляров. Каждый из наших сотрудников также купил себе по экземпляру. В августе я не собираюсь никуда уезжать: буду в основном находиться в Муранове с еженедельными наездами в Москву. А посему с удовольствием повидаюсь с Вами. Для нашего музея будет очень интересно и ценно получить рукопись Вашей диссертации и составленного Вами словаря.

Мураново, 10 августа 1966 г.

О роли, которую сыграл Пигарев в подготовке и организации моей кандидатской защиты, я рассказываю в другом очерке, а здесь лишь добавлю к там сказанному несколько деталей. Пигарев отдал в «Вопросы литературы» в высшей степени положительную рецензию на мою книгу, но, опасаясь, что журнал не поспеет к защите, отправил также в адрес Совета отзыв на автореферат. В этой связи он мне писал: «Сегодня отсылаю в адрес ученого секретаря Ученого совета Харьковского университета свой отзыв, копию которого препровождаю и Вам. Я полагал, что пятый номер «Вопросов литературы» с моей рецензией на Вашу книгу выйдет до защиты, и я успею послать не письменный отзыв, а печатный. По словам Чичерина, это было бы еще лучше. Но, боясь опоздать, направляю все же письменный, в котором я ссылаюсь на свою рецензию и повторяю ее основные положения. Написать что-либо более пространное в настоящее время, когда приходится заниматься трудным делом свертывания экспозиции в связи с ремонтом здания, просто не имею возможности, да вряд ли это и нужно.

С нетерпением буду ожидать известия о том, как пройдет защита. Не поленитесь послать мне телеграмму и на Москву, и на Муратово, т. к. я не знаю, где буду находиться в конце недели.

Номер журнала с материалом о Баратынском, который Вы для нас купили, представляет для музея тем больший интерес, что его у нас нет. Будем очень благодарны за присылку.

А Вас я еще не поблагодарил за автореферат и за оттиск статьи о Брюсове — исследователе Баратынского. Автореферат мне, правда, был известен в рукописи, а статью я прочитал с большим интересом. Спасибо!»

В нескольких письмах Пигарева встречались упоминания о планах издания Баратынского в «Литературных памятниках». Дело в том, что его представление о том, как должна быть построена эта книга, существенно отличалось от требований серии. В письме от 1 января 1974 года у него вырвалось такое признание: «Все это вынудило меня просить редколлегию “Литературных памятников” временно отложить обсуждение проспекта нового издания Баратынского. Должен сказать, что требование ориентироваться на какое-либо из прижизненных изданий меня крайне расхолаживает. Душа не лежит к изданию 1835 года, а выбрать другое нельзя. Между тем 175-летие Баратынского, исполняющееся в 1975 году, обязывает подумать о своевременном выпуске нового издания. И так нужно было бы именно академическое!»

Сложилось так, что после многолетних откладываний и переносов Пигарев, в конце концов, отказался от подготовки Баратынского для «Литературных памятников», и это издание, выпуск которого редколлегия считала совершенно необходимым, было передано мне. В этой деликатной ситуации Кирилл Васильевич повел себя необыкновенно тактично и благородно. Он не выказал и тени ревности, был готов всячески мне помогать, но своей помощи ни в малейшей мере не навязывал. Он не проявил даже малейшего недовольства, когда узнал, что я планирую строить издание на совершенно иных принципах, чем он. Как он сам говорил, ему хотелось издать Баратынского «по типу Тютчева», где в первый том по чисто вкусовым соображениям были отобраны лучшие стихи, а во втором оказались как бы отсеянные. И для меня, и для редколлегии серии это было неприемлемо; я считал, что необходимо воссоздать литпамятник и воспроизвести издание 1835 года,

от чего Пигарев настойчиво уклонялся. Тем не менее мы с будущим редактором «памятника» А. Л. Гришуниным пришли к общему мнению, что вообще отстранить Пигарева от участия в издании Баратынского недопустимо, и он был обозначен вместе с Гришуниным как второй ответственный редактор.

Мое расставание с ним оказалось совсем не таким, каким должно было быть... В 1982 году я приехал в Москву, и меня там разбил приступ тромбоза. Когда я лежал в гостиничном номере, позвонил Пигарев и сказал, что он в академической больнице и просит его навестить. Пришлось объяснить, что я сам потерял подвижность и не могу без посторонней помощи даже вернуться домой. После возвращения в Харьков я лег на операцию, после которой долго не выезжал, а когда приехал в Москву, Кирилла Васильевича уже не было в живых. Много позже меня вместе с другими участниками конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Баратынского, привезли в Мураново. Так я побывал на его могиле. Он покоится рядом со своим дядей Н. И. Тютчевым.

Второй герой моего очерка — Борис Николаевич Двинянинов, заведовавший кафедрой в Тамбове, на родине Баратынского, где я, а правильное сказать — мы с ним, пытались организовать конференцию, посвященную Баратынскому. С Двиняниновым меня свел Лихачев. Он относился к этому человеку с большим уважением и симпатией и как-то сказал о нем: «Настоящий джентльмен». Такую характеристику я слышал из его уст только один раз. Лихачев написал Двинянинову письмо, получив которое, тот сразу связался со мной, а через некоторое время подарил мне его. Задуманная нами конференция не состоялась. Зато неосуществленная идея положила начало моей многолетней крепкой дружбе с Двиняниновым, продолжавшейся до конца его дней.

Судьба сложилась так, что впоследствии не только он помогал мне, но и я ему. Делом всей жизни Двинянинова было изучение творчества П. Ф. Якубовича. Он подготовил издание его стихотворений для Большой серии «Библиотеки поэта» и двухтомник «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника». Человек он был необыкновенно эмоциональный (что отразили и его письма, к которым я не раз обращаюсь), страстно влюбленный в своего «героя». Он держал в памяти мельчайшие детали его жизни и личности, говорил о нем с жаром и восторгом.

Можно себе представить, какой взрыв эмоций он пережил, когда я сообщил ему, что нашел в отделе рукописей Центральной научной библиотеки Харьковского университета неизвестный труд Якубовича — написанную им в студенческие годы диссертацию о Лермонтове. Он примчался в Харьков, гостил у меня, изучал текст с благоговейным восторгом, подготовил его публикацию, а закончив работу, выпросил у работников библиотеки разрешение своими руками положить рукопись обратно в сейф.

Когда Двинянинов подготовил для «Научно-популярной серии» книжку о Якубовиче, вышедшую в 1969 году под названием «Меч и лира», я смог передать ему свой опыт: у меня тремя годами ранее была там же выпущена книжка «Творческий путь Баратынского». Благодаря моим советам, он заполучил для своей книги мою бывшую редакторшу — обаятельную Н. В. Шевелеву — и успешно обошел многие препятствия, которые мне в свое время испортили немало крови. Вскоре после его поездки в Харьков я получил такое письмо.

Дорогой Леонид Генрихович!

Как всегда, начинаю с покаянной ноты. Терзаюсь, что не удалось вовремя ответить Вам на любезное письмо. Шлю заботливой и внимательной Вашей супруге свое бесконечное восхищение и спасибо: мал золотник да дорог! В Харькове у народовольцев было много связей. П. Якубович после Киева должен был съездить в Харьков, но не удалось. Так что харьковский автограф — закономерен. В ЦГАЛИ — переписка П.Я. с В. Фигнер об издании сборника ее стихотворений.

Моя медлительность связана с поездкой в Москву, в МГПИ, на 9-ю межвузовскую конференцию, посвященную вопросам поэтической лексики. Выступил с докладом «Генезис романтической лексики М. Горького-поэта», где подчеркнул, что Чижихи, Соколы-Буревестники и прочая романтическая живность была до Алексея Максимовича. Приняли тепло, возможно, в связи с тем, что интерес к М. Горькому сейчас падает. Был в издательстве, на Подсосенском. Рукопись получила положительную рецензию и пойдет дальше — на утверждение (после того, как ее просмотрит проф. Бельчиков). Ваш Е. Баратынский, если не ошибаюсь, подписан к печати (так слышал). Летом опять мне надо работать, т. е. вносить поправки, кое-что сократить. Мелочи,

в общем, а потребуют внимания и дополнительных усилий...
Честно говоря, все надоело.

30 мая был в Переделкино (шестая годовщина со дня смерти).
Тропа народная к нему не зарастает:

Вы шли толпой, и врозь, и парами,
И кто-то вдруг сказал: «Сегодня
Шестое августа по-старому,
Преображение Господне». («Август»)

Читали стихи. И я подключился. Были и «лирики», и «физи-
ки». Последних, пожалуй, побольше. Ветерок срывал языки пламе-
ни красных листков. Они пылают на могиле поэта. Посылаю Вам
один «язычок» огненно-маковый. (В конверт был вложен листок,
обернутый в бумагу с надписью «Пламя с могилы Б. Пастернака.
30 мая 1966 г. Переделкино. Шестая годовщина. Б. Д.» Он хранит-
ся вместе с письмом. — Л.Ф.)

Б. Пастернак похоронен в самом конце кладбища, на высоком
косогоре, возле трех огромных сосен с варварски обрубленными
ветвями (война?). Был Духов день. В церквушке кладбищенской
XV в. (в память Преображения) поставил свечку — «вниманье не-
большое».

Да, Леонид Генрихович, годы летят... И «год сгорел на керосине
залетевшей в лампу мошкой» (Б. Пастернак).

Желаю Вам и Вашим близким всего радостного и творческого!
Ваш Б. Двинянинов

P.S. Сейчас страда — экзамены (и свои, и ГЭК), отчеты
и во всем — суета сует.

А вот его отклик на получение моей книги:

Дорогой Леонид Генрихович!

Ваш Баратынский застал меня на пороге: еду! В Москву! В Мос-
кву! В Москву и дальше (Тарту). Поздравляю с завидным на-
чалом — «будь новый день любимцу счастья в сладость!» Тронут
не только памятью сердца, но и памятью ума, который блещет
на каждой странице изящно изданной книги. Сопереживаю с Вами
счастливые минуты.

Спасибо душевное и многократное за подарок. Теперь путь открыт! Вперед и выше! Еду разведывать судьбу «Меча и лиры». Всего радостного Вам и дому!

Ваш Б. Двинянинов
28 июля 1966 г.,
перед отходом поезда

Наша переписка продолжалась несколько лет, и, хоть он часто жаловался на здоровье, его беспримерная душевная энергия была фонтаном. На мою «Жизнь лирического жанра» он откликнулся телеграммой, которую воспроизвожу: «Очарован вашим эгегическим подарком великолепной книгой дружеской надписью вчитываюсь волшебные страницы обнимаю благодарю Двинянинов». Из полученных от него писем, любое из которых позволяет ощутить богатство эмоционального мира этого удивительного человека, приведу без всяких дополнительных пояснений только одно:

Дорогой Леонид Генрихович!

От всего сердца и глубины душевной (еще не обмелевшей) поздравляю Вас и Ваших близких с заслуженной Высокой **Нравственной и Научной Победой** — присуждением Вам **Доктора Отечественной Филологии. Салют и Венок Лавровый Вам!** Я только что получил это радостное известие, которое давно ждал, но... когда счастье спит, а несчастье дремлет, их лучше не трогать, а терпеливо надеяться, что первое улыбнется и приглубит... И так, воистину:

Велик Господь! Он милосерд, но прав. Нет на земле ничтожно-го мгновенья. Прощает он бездушию забав,

Но никогда пирам злоумышленья.

А «Желчевики и Мстивцы» вынашивали и вынашивают эти злоумышленья! Правда, им не до пиров, но на пакости они способны всегда. Итак, Леонид Генрихович, теперь Вам жить будет несколько легче, и побеждать, и двигаться вперед! Главное и Самое Главное, что **Победа** Ваша Честная, бескомпромиссная, **Высокая и Красивая, зримая Победа, абсолютно бесспорная!** Но «при всем при том» этой честной победе строились козни, препоны... Вот образ нашей **развитой** жизни, увы мне! И второе — Победили Вы **вовремя**. Есть еще Силы, Планы у Вас и Мечты, Поиски

и Открытия — все то, что Л. Толстой называл великой «**Энергией заблуждения**», которая движет творчество свободно, без потуг.

Когда-то восторженно-трагический К. Фофанов вопрошал 100 лет назад:

Где сеять мне? Какое семя? Кого мне зернами питать? Пошли, Господь, **иное время, Чтобы Посеять и Пожать!**

В наш жестокий век немногим, и Вам в том числе, удалось и «посеять, и пожать». Где теперь Вы будете работать?

Вы идете на смену старым могиканам. Вот и Дм. С. Лихачев в письме ко мне 12 мая вдруг неожиданно пожаловался на **усталость**, на неизлечимую болезнь **старость** (похвалив мою статью в сб-ке «Творчество Чехова» («А. Чехов и П. Якубович»). И представьте, Леонид Генрихович, это чувство Д.С. я уловил в изумительном комментарии Д.С. к «Пляскам смерти» А. Блока (РЛ, 1978, № 1, стр. 182). Думаю, что это не случайно. А какие планы у Игоря? Сердечный привет супруге и родителям. Будьте здоровы и счастливы. **Салют!**

Ваш Б. Двинянинов
24 июня 1978 г.

Р.С. Леонид Генрихович, добавлю. У нас к честным докторам и лицам с творческой жилкой отношение хамское. Вот свежий пример. И.Я. Бийск завершил докторскую (он историк). Его и «сушили, мочили, мариновали», но утвердили. И что же? Кафедру истории получил не он, а косноязычный кандидат из «своих». Раздавались голоса, что с докторами на кафедре стало хуже: нагрузка им минимальная, «работай за них, лежебоков» и т. д. И что же? И.Я. Бийск подал об уходе. Кое-кто вздохнул облегченно. Есть и другие, более грустные истории (с проф. А.Л. Хайкиным), которая окончилась трагически... Это пишу «для опыта», не поддавайтесь, давайте отпор негодяям.

Б.Д.

Тогда, в начале своего творческого пути, я не сумел осознать, как много правды было в предостережениях этого благородного человека. Те, кто дочитает эту книгу до конца, поймут, что позднее я с лихвой наверстал упущенное.

Кандидат, превзошедший академиков

Сегодня, когда, по пушкинскому слову, «мы близимся к началу своему», не могу не признать, что не был обижен вниманием и расположением коллег и вообще людей, составлявших мое окружение. Но по-настоящему близких друзей, однодумцев, понимавших тебя с полуслова, потому что сердца бьются в такт, и одинаковые оценки людей и событий predeterminedены общностью взгляда на все, было немного, да их и не бывает, и не должно быть много. Таким другом был мне Вадим Эразмович Вацуру. Таких, как он, в моей жизни было не больше, чем пальцев на одной руке. Дружба наша продолжалась чуть менее сорока лет, с дня знакомства — 13 мая 1963 года — и до его так потрясшей своей неожиданностью кончины 31 января 2000 года.

Мы были с ним не только одноклассники, но в полном смысле сверстники: я появился в конце сентября 1935-го, он два месяца спустя. Когда мы впервые увидели друг друга и с первой встречи интенсивно друг к другу потянулись, ни его, ни меня в науке еще не было, мы только топтались у ее дверей в надежде туда проникнуть. Я был учителем школы рабочей молодежи, в аспирантуру меня не пустили по причине моего еврейства, но я пытался и учился что-то исследовать, и получал поддержку у московских и ленинградских специалистов.

Я написал тогда статью на крамольную тему «Пушкин и Польское восстание 1830–1831 гг.», где пересматривался господствующий в советское время взгляд на трактовку этих событий в стихах «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Опубликовать ее в тех условиях не решился никто (она увидела свет через тридцать лет после своего создания в пору так называемой гласности), но возглавлявший Пушкинскую группу Института русской литературы (ИРЛИ) Б. С. Мейлах договорился с директором института В. Г. Базановым, что мне, безвестному провинциальному учителю, предоставят возможность доложить свою работу на расширенном заседании Пушкинской группы и даже оплатят командировку в Ленинград.

А секретарем Пушкинской группы был Вацуру, которому и поручили организационную подготовку мероприятия. Придя в Пушкинский Дом, я позвонил ему от дежурного, и ко мне спустился ну прямо мальчик! Даже исполнившихся к тому времени



В. Э. Вацуро

27 лет ему нельзя было дать. О бороде, ставшей позднее неотъемлемой частью его имиджа, полагаю, не помышлял и он сам. Он отвел меня в пушкинский кабинет, который на предстоящие десятилетия стал для меня как бы главной комнатой этого дома, назвал участников предстоящего заседания. А были там имена одно громче другого, скандальная тема привлекла многих: возглавлявший отдел новой русской литературы Б. П. Городецкий, руководивший отделом рукописей Н. В. Измайлов, видный ленинградский методист К. П. Ляхостский, тогда еще не известный,

но позднее занявший заметное место в науке Ю. В. Стенник. Всех не упомяну.

Обсуждение было бурным. Не вдаваясь в детали, скажу только, что я вышел из него победителем, и даже Городецкий, бывший главным объектом моей критики, вынужден был признать, что узнал из моего доклада много нового и что некоторые положения его прежних работ ему придется пересмотреть. Вацуро выступил очень коротко, и его замечания не касались существа проблемы, а были, так сказать, техническими. Сегодня, когда я знаю о нем все, что знаю, не могу отделаться от ощущения, что в нем уже тогда складывалась черта его характера, о которой речь впереди: «не хочу ставить себя в один ряд со всякими там докторами, профессорами и обладателями разных громких титулов».

Запомнился такой эпизод. Поскольку в моем докладе больше говорилось о ситуации и событиях 1830 и 1831 годов, чем собственно о стихах Пушкина, Вацуро сказал как о чем-то само собой разумеющемся: «Леонид Генрихович как историк...» Мейлах перебил его обращенным ко мне вопросом: «Вы разве историк?» Я ответил: «По образованию и тематике моих работ я филолог, но по складу своего научного мышления — историк».

Этот доклад открыл мне путь к научному общению с кругом крупнейших ленинградских ученых. Я познакомился с Д. С. Лихачевым, Д. Е. Максимовым и другими, сыгравшими важную роль в моей судьбе. Я работал в то время над кандидатской дис-

сертацией и над книгой «Творческий путь Баратынского», которая вышла в издательстве «Наука» в 1966 году, проводил много времени в библиотеках и архивах Москвы и Ленинграда и, конечно, в Пушкинском Доме. Именно тогда, в процессе интенсивного общения с Вацуру, у меня сложились с ним те отношения, которые с годами становились все ближе и доверительнее. То, что мы остались на «вы» и в письмах, а также в официальной обстановке и в присутствии посторонних величали друг друга по имени и отчеству, характера наших отношений никак не отражает. Вадимом и Леней мы были наедине, в часы не слишком частых застолий, разгоряченные напитками, которыми оба — будем откровенны — никогда не пренебрегали.

Когда вышла моя книга о Баратынском, один из первых экземпляров уже в августе был отправлен Вацуру. И вот какое письмо я от него получил:

Дорогой Леонид Генрихович!

Странно посылать благодарность за подарок через полгода — странно и невежливо. Но Вы не сочтете позднюю отсылку этого письма за небрежение. Дело в том, что я получил Вашу книжку по возвращении из отпуска, и, мысленно благодаря Вас, рассчитывал встретиться с Вами в Ваш очередной приезд, который, как я знал, состоится осенью, чтобы выразить Вам лично свою признательность и поговорить с Вами о своих впечатлениях по поводу прочитанного. Теперь мне стало известно, что Вы взяли диссертацию для каких-то доделок, и приезд Ваш тем самым отложился. Очень огорчен, что нам не удалось тем самым побеседовать в этом году.

Не будучи специалистом по Баратынскому, я не могу судить о Вашей книге достаточно профессионально, и мои впечатления — лишь впечатления читателя, скажем так, средней квалификации. Должен сказать, что я прочел Вашу книжку с удовольствием — она, по-моему, очень хорошо написана, в ней есть многое, что мне близко и интересно (интересно, собственно, почти все); очень хорош, в частности, анализ эволюции взглядов Белинского на творчество Баратынского. В популярной книжке Вы сумели — что редко кому удается — вовсе избежать почти неизбежного упрощения многих сложных вопросов. У меня нет никакого сомнения, что книжке предстоит сыграть свою — очень положительную — роль в «воскрешении» Баратынского среди широкой читательской публики.

Еще раз — я очень жалею, что нет возможности поговорить подробно. Письмо имеет свои границы, свои жанровые и всякие другие пределы; в нем всего не скажешь, и для обсуждения оно мало подходит. Кое-что мне показалось спорным или недостаточно развернутым (Вы видите, что я начинаю предъявлять к популярной книге требования почти такие, как к большой монографии, — но пеняйте на себя: Вы так и писали). Мне показалось, что Вы взяли две, условно говоря, точки отсчета: декабристы и Пушкин. И заставляете Баратынского двигаться в этих пределах, что иногда производит впечатление некоторой искусственности, быть может, уступки традиционным точкам зрения. Я понимаю, что специальная аргументация тех или иных выводов (в частности, в важном вопросе о взаимоотношениях Баратынского и Пушкина) по необходимости вынесены Вами за пределы книги, но, может быть, следовало сказать об этом подробнее. Это ведет нас к нашему старому спору — о типах художественного мышления и его, так сказать, историко-литературной функции; я все же продолжаю считать, что разность этих типов никогда не является причиной литературных расхождений. Можно было бы наметить и другие точки возможных дискуссий, — но все это частности. Позвольте еще раз поблагодарить Вас и поздравить Вас с выходом в свет хорошей книжки.

Ваш В. Вацуро
20 ноября 1966 г.

Р. С. Борис Соломонович (Мейлах. — *Л.Ф.*) показал мне Вашу очень интересную статью. У него тоже положительное впечатление. Что Вы собираетесь с ней делать?

В.В.

Это письмо требует некоторых пояснений. Прежде всего, должен признаться, что я не сразу осознал, чего стоит та высокая оценка, которой его автор удостоил мою книгу. Я получил множество хвалебных слов от виднейших советских и иностранных ученых. В их числе были М. П. Алексеев, Н. М. Дружинин, П. Н. Берков, Л. Я. Гинзбург, Е. Г. Эткинд, А. А. Аникст, Ю. В. Манн, Ю. Г. Оксман, Г. М. Фридлиндер и другие, и я тогда не осознал, что похвала Вацуро особая, и кого попало он ею не одарит. Была в его письме одна деталь, показавшая, что Вацуро увидел в моей книге то, чего не заметил никто другой. В ней впервые было привлечено специ-

альное внимание к анализу эволюции отношения Белинского к Баратынскому. Я придавал ему такое значение, что вынес этот анализ *в заключение* книги. Никто, кроме Вацура, не обратил на это внимания, он один услышал биение моего сердца. Понятно, как это повышало в моих глазах значимость его критических замечаний.

Вообще в этом человеке удивительно сочетались открытость, доброжелательность, готовность прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается, с четким пониманием того, кто есть кто... Не сомневаюсь, что тем, кто общался с ним более или менее регулярно, запомнилась такая особенность его внешности — характерный пронзительный прищур. Веки сдвигались, в глазах загорался недобрый огонек, и следовала — не реплика! — а отравленная стрела. Как-то в застольной беседе я передал ему слова Г. М. Фридендера, что сотрудники Пушкинского Дома делятся на две категории: старые зубры и молодые карьеристы. Реакция Вадима была мгновенной: «Он забыл третью категорию — старые карьеристы». В другом разговоре я поделился с ним своим мнением о непорядочном, на мой взгляд, поведении В. С. Непомнящего. Тот же беспощадный взгляд — и выстрел: «Это он непомнящий. А мы кое-что помним».

Еще одна фраза из приведенного письма, важная для его характеристики. Я планировал защиту своей диссертации в Пушкинском Доме, но этому яро воспротивилась Е. Н. Купреянова, считавшаяся тогда главным специалистом по Баратынскому. Ее пытались переубедить и Лихачев, который был ответственным редактором моей книги, и Мейлах, вызвавшийся выступить первым оппонентом на моей защите, они убеждали, что моя работа превосходит уровень обычных кандидатских диссертаций, и я более, чем кто-либо, заслуживаю присуждения искомой степени. Все было напрасно, пришлось мне забирать свою работу и защищать ее в другом месте. Не сомневаюсь, что обо всем этом Вацура был осведомлен, но не захотел меня травмировать и сделал вид, что, по его сведениям, я «взял диссертацию для каких-то доделок».

Теперь о постскриптуме. Упомянутая там «очень интересная статья» содержала результаты моих архивных разысканий по истории журнала И. В. Киреевского «Европеец». Я предназначал ее в сборник, к участию в котором меня пригласил Мейлах, но собирался этот сборник медленно, а она вызвала такую заинтересованность, что ее немедленно напечатали в журнале «Русская литература». Внутреннюю рецензию на нее написал Вацура. Впоследствии

эта статья стала зерном, из которого выросла подготовленная мной книга «Европеец. Журнал И. В. Киреевского», вышедшая в серии «Литературные памятники».

Когда я поблагодарил Вацуру за содействие публикации моей статьи, он прислал такое письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!

Очень рад, что моя рецензия в какой-то мере оказалась Вам полезной. Она вовсе не заслуживает того, что Вы о ней пишете. Я, действительно, прочел Вашу статью с большим интересом, но дело вовсе не только во мне; в самой статье в первую очередь. Она произвела хорошее впечатление и на Б. С. Мейлаха, и в редакции, и на В. Г. Базанова, так что я оказался неожиданно гласом общего мнения. Очень хорошо, что подтвердились Ваши наблюдения и в части текстологической. Одним словом, статья уже редактируется для номера; они торопятся сдать его скорее в печать. Скоро будем праздновать выход ее в свет.

Поздравляю Вас с действительно превосходной работой и напрашиваюсь на оттиск.

Ваш В. Вацура

А вот ответ на отправленный ему оттиск:

Дорогой Леонид Генрихович!

Простите великодушно за задержку письма; как Вы увидите из дальнейшего, мне нужно было навести некоторые справки. Я написал Вам сразу же по получении оттиска, но тогда письма не отправил, имея в виду как раз дополнить его интересующим Вас материалом, а теперь не могу найти этого недописанного листка среди необъятного вороха хаотически разбросанных бумаг домашнего «архива».

Во-первых, спасибо большое за оттиск; он **очень** нужен. Если у Вас есть лишний, пришлите, пожалуйста, М. И. Гиллельсону; он в долгу не останется. О статье Вашей он очень высокого мнения. Нужно сказать, что Вы преувеличиваете мои заслуги в появлении Вашей статьи; я был не повивальной бабкой, а ассистентом акушера или чем-то в этом роде. Материал разыскан и интерпретирован так, что статью взял бы любой журнал вне зависимости от рецензии. Все же мне очень приятно, что именно мне довелось способствовать выходу в свет этой отличной работы... <...>

В. Вацура

С начала 70-х годов началось мое продолжающееся по сей день сотрудничество в серии «Литературные памятники». Сейчас на стадии редактирования уже седьмой мой «памятник», а первым были «Думы» Рылеева, выпуск которых приурочили к 150-летию восстания декабристов. Приехал я в Пушкинский Дом, где в отделе рукописей были сосредоточены все необходимые мне материалы, и наткнулся на запрет: в связи с предстоящим юбилеем, подготовкой к которому руководит В. Э. Вацура, все декабристские материалы выдаются только с его письменного разрешения.

Вацура жил в отдаленном районе Ленинграда, телефона у него тогда не было, пришлось ехать к нему без разрешения и договоренности. Он встретил меня, ошеломленный неожиданным визитом, обнял прямо в дверях и, разумеется, снял все вопросы. Уезжал я с запиской: «Леониду Генриховичу можно выдавать все, он для нас что-нибудь и сделает». Мне не терпелось приняться за работу, и от предложения Вадима выпить чая с ромом я уклонился. «С ромом! С ромом!» — продолжал он меня уговаривать, но к отказу отнесся с пониманием.

Когда «Думы» вышли, я получил, как обычно, очень содержательный отзыв от Вацуры:

Дорогой Леонид Генрихович!

Спасибо Вам большое за книжку. Это очень серьезная работа, которую я изучаю с большим интересом и удовольствием. С. А. Рейсер, который получил ее тоже, такого же мнения. Я договорился с «Русской литературой», которая берет у меня рецензию. Мне хотелось бы написать ее по существу; ведь у нас рецензии обычно — либо реклама, либо фельетон. Настоящая научная работа требует обсуждения, — и обсуждение вскрывает новации лучше, чем анонс. Я вижу основные достоинства Вашей книжки в текстологических Ваших предложениях и в статье — очень хорошей и очень по существу написанной. Для меня очень привлекательна мысль о связи думы с элегией, — и Вы, занимаясь элегией, почувствовали это как нельзя лучше. Пожалуй, Вы немного «состорожничали» и поддались гипнозу Ваших предшественников в оценке статьи Козлова, которая, как мне представляется, вовсе не была столь уж направленной против Рылеева. Видите ли, в чем дело: пока статью считали принадлежащей Воейкову, ее могли рассматривать как попытку дискредитировать «Полярную звезду» (хотя к самому

Рылееву Воейков относился скорее положительно); но ведь Козлов — не Воейков, и недаром он от Воейкова вскоре ушел. Этот критик имел свою ограниченность: он говорил как выученик архаических сентименталистов, с которыми был тесно связан; ему мешало (или помогало!) великолепное знание западных литератур (он владел тремя языками) и склонность к несколько нормативным филологическим штудиям. Бестужев его не понял; он был человек поверхностный и не очень образованный, и человек партии. В своих литературных суждениях он постоянно попадал впросак; его очень идеализировали как теоретика. Но это вопрос особый. Второе, о чем стоило бы поговорить, — это превосходный текстологический этюд о «Видении императрицы Анны». Дело в том, что есть еще один беловой автограф — ЦГАОРа; его не учли ни Вы, ни издатели БП. Если бы Вы сказали мне в свое время, что издаете «Думы», я бы Вам подарил его, — но я, к сожалению, подробно узнал о Вашей работе очень поздно, а при последнем нашем разговоре у меня создалось впечатление, что Вы его знаете. Мне ужасно досадно! Автограф близок к редакции ЦГАДА — с другой стороны, к поздней редакции ПД. Он еще требует обследования, — и я не знаю пока, нужно ли считать его дефинитивным или еще одной из последних редакций. Там есть первая строфа. У меня в руках только микрофильм.

Еще одно дополнение, — дума «Владимир Святый». Я не знаю, почему редакторы БП отвергли мои соображения, высказанные во внутренней рецензии, — а Вы пошли за ними. Никто не заметил, что эта дума не закончена. Легенда о Владимире гласит, что завоевания князя еще не были завоеванием веры, которую вообще **завоевать** нельзя, и только последующий подвиг смирения был истинной победой христианского начала во Владимире, после чего его и крестили. Из текста думы совершенно ясно, что этот последний эпизод предполагался, но не был дописан. Ее нужно перенести в «Незаконченные» думы.

Все это, как Вы понимаете, лишь первоначальные соображения и дополнения, отнюдь не колеблющие Вашей ценнейшей работы. Очень жаль, что комментарий сокращен; нужна была бы преамбула об истории сборника. Этот упрек я намерен высказать не Вам, а чудовищно нелепым издательским тенденциям, уже распространившимся и в Акад. наук. Вас же упрекну в одной ошибке — весьма досадной, которую Вы взяли из БП, а я, будучи внутренним рецензентом, не досмотрел: на стр. 239 перепутаны два Муханова: вме-

сто Петра, который действительно участвовал в издании «Дум», поставлен Павел (и даты Павла!), который декабристом не был и к «Думам» не имел никакого отношения. Это особенно досадно потому, что на стр. 235 Вы ссылаетесь на дату 14.IX.1824 г., взяв ее из письма Рылеева в Ценз. комитет, в к-ром сказано, что издание «Дум» он доверяет Петру Александровичу Муханову (полное имя и отчество!). Стало быть, здесь простой недосмотр, — но уже начавший гулять по солидным изданиям.

Вот пока мои предварительные замечания. Мне очень хотелось, чтобы моя рецензия была дельной и отражающей достоинства Вашей работы, — и что соображения, которые имеют, как Вы понимаете, не «квалификационный» характер, а более широкий, были поняты правильно. Само собой разумеется, что и «Посадница», и «Меншиков» мною будут изучены со всей тщательностью, равно как и «Вадим».

Всегда Ваш В. В.

Упоминание имени С. А. Рейсера совсем не случайно. Вацуро, как и я, считал себя его учеником. Мы оба в меру сил стремились перенять у него, а также у И. Г. Ямпольского заботу о точности деталей и цитат, присущую литературоведам старой школы куда более, чем их нынешним последователям.

Думаю, это как-то повлияло на то, что и он, и я на протяжении доброго десятка лет сотрудничали в отделе «Язык художественной литературы» журнала «Русская речь», который вел умный и умелый редактор и на редкость хороший, открытый, расположенный к своим авторам человек — Ю. И. Семикоз. В регулярно появлявшихся там публикациях Вацуро особенно выразительно проявлялось его свойство, о котором он говорил внешне вроде бы скромно, но с горделивым достоинством: «Я ведь фактограф...» Это значило: «У вас там разные туманные теоретические построения, а у меня достоверные, установленные сведения, **факты...**»

Статьи, напечатанные в «Русской речи», он, по инициативе Семикоза, издал в сборнике «Записки комментатора». Это удивительная книга — зеркало его исследовательской манеры; мне кажется, что такую мог выпустить только он один.

Во второй половине 70-х годов издательство «Художественная литература» затеяло выпуск серии «Русская литературная критика». Мне довелось «открыть» эту серию сборником «Литературно-критические работы декабристов». Одновременно я подготовил

для той же серии вышедший двумя годами позднее сборник «Литературная критика 1800–1820 годов». В него были включены статьи Карамзина, Жуковского, Мерзлякова, Веневитинова, а также других, в том числе незаслуженно полузабытых авторов. Тогдашний заведующий редакцией литературоведения и критики издательства С. Гиждеу шуточно называл эти книги: «декабристы» и «остальные». «Остальных» я рассылал слабо, и откликов на них, естественно, пришло немного. Но один из них был мне особенно дорог, потому что его автор — Вацуро.

Дорогой Леонид Генрихович!

Я виноват перед Вами безнадежно и не рассчитываю на амнистию. Примите все же мою запоздалую благодарность. Последний сборник очень хорош, — правда, и материал благодатный, почти не перепечатывавшийся. Но Вы и выбрали его прекрасно. И речь А. Тургенева, и статья Дашкова, и Строев, и статья Мерзлякова о «Россияде», о которой все говорят и которую никто не читал... Я с удовольствием отметил Вашу уверенную атрибуцию статей А. А. Писарева; мне по одному частному поводу пришлось самому заниматься этой работой, — и вывод был тот же; Вы избавляете меня от подробной аргументации, дав возможность просто сослаться на Вашу, как на несомненную. Фигура Писарева, конечно, очень укрупнилась — хотя бы по числу сочинений.

Еще раз — спасибо, и желаю Вам всяческих благ. Выходит ли Катенин?

Ваш В. Вацуро

Два слова о Катенине. Откликаясь на «Литературно-критические работы декабристов», мой друг и многолетний спутник всех моих трудов А. Л. Гришунин обоснованно выражал удивление тому, что в него не вошли «Размышления и разборы» Катенина, которым там было самое место. Он не знал того, что знал Вацуро, — что я в это время уже готовил другое, более объемное издание Катенина для издательства «Искусство». В него вошел не только знаменитый катенинский трактат, но и его статьи, и письма, содержащие литературно-эстетическую проблематику. Вопрос Вацуро выдавал живой интерес, с которым он ждал выхода этой книги. Она появилась в том же «урожайном» для меня 1980 году, когда и упомянутый гослитовский сборник, и первая книга, подготовленная

для «Детской литературы», «Высокое стремление. Лирика декабристов», и следующий литературный памятник «Северные цветы на 1832 год». Снова получилось, что Фризман и Вацуру идут параллельными курсами: он незадолго до этого выпустил книгу «“Северные цветы”. История альманаха Дельвига — Пушкина».

Не осталось эпистолярных следов оценки, которую заслужило у Вацуру выпущенное мной в той же серии издание «Европеец. Журнал И. В. Киреевского». Напомню, что эта книга, вышедшая в 1988 году, произросла из «зерна» — статьи двадцатилетней давности, рецензированной Вадимом. Сам я считаю ее лучшей из семи «памятников», которые мне довелось подготовить.

Встреча с Вацуру, о которой я теперь веду речь, происходила в грустной обстановке: мы хоронили уже упоминавшегося замечательного человека — Соломона Абрамовича Рейсера, который, к слову сказать, был издательским рецензентом «Европейца» и оценил его на пять с плюсом. Сходной была и оценка Вацуру. Мы стояли втроем: он, я и Мариэтта Омаровна Чудакова. Вацуру, обращаясь к ней, сказал: «Леонид Генрихович выпустил “Европейца”...» — и развел руками с таким выражением лица, которое было красноречивее любых слов.

Я не буду распространяться о масштабах и значении сделанного Вадимом в науке, такая задача мне не по силам, намечу лишь несколько штрихов портрета этой необыкновенной личности. Сказать, что он не гонялся за учеными и академическими степенями и званиями, — значит ничего не сказать. Он их избегал намеренно и неуклонно. Конечно, тщеславие присуще разным людям в разной мере. Есть люди, у которых стремление стать членкором пожирает все их существование, которые умирают после неудачного для них исхода академических выборов. Я мог бы назвать имена, но не стану тревожить прах этих несчастных.

Вадим не просто не хотел, а жестко противился тому, чтобы перед его фамилией значились слова «доктор наук», «профессор», «член-корреспондент», «академик». Он говорил и мне, и еще многим: «Я хочу быть просто Вадимом Эразмовичем Вацуру». О таком, кажется, бытует выражение «уничтожение паче гордости». Сегодня уже, кажется, все осознали, что его имя в самом деле дороже и выше любых титулов.

Он стремился избежать даже защиты кандидатской диссертации и поддался, только когда его взяли за горло. Но он брезгливо

не вложил в нее ни капли души, и это, кажется, самая бледная работа из всего им написанного. А о докторской и слышать не хотел, поступавшие предложения отвергал с порога. Возня с защитой, оформление степени для него были лишь отвлечением от настоящего дела.

Но не только это определяло его особенность в научном мире. Как правило, у крупных литературоведов, тех, кого мы считаем классиками науки, в центре внимания бывает великий писатель, главный предмет научных пристрастий. У Б. В. Томашевского это Пушкин, у Г. А. Гуковского тоже Пушкин, к которому перед самой смертью добавился Гоголь, у Б. М. Эйхенбаума через всю творческую биографию проходят Лермонтов и Лев Толстой, И. Л. Волгин посвятил свою жизнь Достоевскому... Перечень можно продолжить. Вацуро писал и о Пушкине, и о Лермонтове (да еще как!), но его всегда тянуло к писателям безвестным, к фигурам второго и третьего ряда.

Мне кажется, за этим стояла, может быть, более инстинктивная, чем осознанная, потребность заниматься тем, чем не занимается никто, нацеленность на открытия, стремление писать о том, о чем никто не пишет и чего никто не знает. А сколько он знал! И все помнил... Однажды я в разговоре с ним упомянул о мало кому ведомом (правда, «пригретом» Пушкиным) поэте начала XIX века В. Г. Теплякове. У Вадима глаза разгорелись. Он воскликнул: «Тепляков — это мой любимый сюжет!» — и тут же по памяти перечислил все дошедшие до нас архивные источники его текстов.

Да что там Тепляков! Вы мне покажите человека, который был бы способен так долго, настойчиво и страстно воскрешать образ Софьи Дмитриевны Пономаревой. Какое там место в истории литературы занимает эта дама? А Вацуро накопал о ней материала на фундаментальную монографию объемом более 400 страниц — «С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской поры». Он не дожил до выхода пятого тома словаря «Русские писатели», но статья, помещенная в нем о Пономаревой, подписана: «По материалам В. Э. Вацуро».

Не могу и не хочу даже отдаленно сравнивать себя с ним, но не погрешу против истины, если признаюсь, что тяга к изучению писателей второго ряда, восстановлению в правах незаслуженно забытых имен, оболганных и отвергнутых репутаций, всегда была присуща и мне. Это влияло на предметы моих собственных

исследований и определяло темы диссертаций, которые я предлагал своим аспирантам. Не сомневаюсь, что и у меня, и у Вадима это коренилось в неприятии нравов советского литературоведения, делавшего писателей на наших, прогрессивных, и не наших, реакционных, которых ни издавать, ни изучать не следовало.

Позднее, избрав темой своей докторской эволюцию русской элегии, я, как, впрочем, любой историк жанра, обрек себя на изучение прежде всего второстепенных писателей. Как учил нас всех В. М. Жирмунский, один писатель, даже великий, не может создать жанр, от него исходят лишь творческие импульсы, но только его последователи, второстепенные писатели, создают традицию, «превращают **индивидуальные** признаки великого литературного произведения в признаки **жанровые...**»³⁵. И за время работы над диссертацией и сопровождавшей ее монографией, и когда я готовил для «Библиотеки поэта» том «Русская элегия XVIII — начала XX веков», я не раз обращался за помощью к Вадиму. Второго собеседника, общение с которым могло дать такие результаты, найти было невозможно.

В 1983 году проходила представительная конференция, посвященная 150-летию поездки Пушкина по пугачевским местам. Перед ее началом собрали организационное совещание, в котором участвовали и Вадим, и я. Торговались о регламенте, докладчиков было много, каждый требовал себе побольше времени, страсти кипели не на шутку. Я над такими требованиями посмеиваюсь, потому что убежден: чем ярче и крупнее идея, тем короче она может быть выражена. Если докладчик говорит: «Я в двадцать минут не уложусь, мне дайте сорок», — будьте уверены, в его докладе будут красоты композиции, умело подобранные иллюстрации, но яркой идеи там нет. Мои увещевания успеха не имели. А Вацуро сказал: «Вот я сейчас рассержусь и все расскажу за две минуты». И рассказал бы, потому что в его докладе было настоящее открытие: он разыскал неведомого уральского знакомого Пушкина, который не попал даже в известный справочник Л. А. Черейского «Пушкин и его современники».

Бывало, что и я оказывался ему полезен. В 1978 году я опубликовал в польском журнале «Zagadnienia rodzajów literackich» статью «Устойчивые элементы стиля русской романтической элегии и их идейно-эстетическая функция», напечатанную у нас позднее.

³⁵ *Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. Л.: Наука, 1978. С. 227.

Получив ее оттиск, он позвонил мне по телефону и наговорил кучу лестных слов, из которых мне запомнилась фраза: «Я самый заинтересованный ваш читатель!». Как выяснилось позднее, он совместно с Верой Аркадьевной Мильчиной готовил сборник «Французская элегия XVIII–XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры». В ходе этой работы Вадим не раз обращался ко мне и черпал из моего архива сведения о никому не ведомых текстах напрочь забытых русских электиков. Та благодарственная ссылка, которая сделана в примечаниях, далеко не отражает объема нашего тогдашнего сотрудничества. И еще забавная деталь. Издательство выпустило книгу с роскошной суперобложкой, которой, однако, хватило лишь на часть тиража. Пока очередь дошла до медвежьего угла, в котором жил богом забытый харьковчанин, дефицитные экземпляры с суперами расхватили, и Вадим сделал на подаренной мне книге виноватую надпись: «Дорогому Леониду Генриховичу. Твоя от твоих. Супермену без суперобложки».

Политические темы не занимали в наших беседах заметного места. Но один эпизод, имевший место в начале 90-х, вскоре после падения коммунистического режима, врезался в мою память. Он сказал: «Я всю жизнь ненавидел коммунистов, но эти ДЕ-МОКРА-ТЫ!» — и только головой покачал.

С 1991-го по 1999-й каждые два года проходили Международные пушкинские конференции — некие всемирные съезды пушкинистов. Проводились они в местах, связанных с биографией Пушкина: в Михайловском, в Твери, в Одессе, в Нижнем Новгороде и, наконец, в Москве. Ваш покорный слуга был их непременным участником. Инициатором и главой оргкомитетов этих конференций был возглавлявший тогда отдел пушкиноведения ИРЛИ наш общий близкий друг Сергей Александрович Фомичев, а их душой — Вадим Вацуру. Бессменный тамада всех завершающих конференции банкетов, он садился рядом с Фомичевым, открывал пиршества неизменной фразой: «Друзья мои, прекрасен наш союз!» — и услаждал нас своим обаянием и остроумием.

Менее чем через год после последней Пушкинской конференции предстояло 200-летие крупнейшего из литературных спутников Пушкина — Баратынского, и мы сговаривались о скорой встрече. Если Вацуру на пушкинском юбилее был царь и бог, то на юбилее Баратынского эта «должность» должна была перейти ко мне. Я был автором первой монографии о творческом пути Бара-

тынского, в 1982 году подготовил полное собрание его поэтических произведений для серии «Литературные памятники», а в 2000-м в честь юбилея выпустил аналогичное издание и в Большой серии «Библиотеки поэта». Увы, до юбилея Баратынского Вадим не дожидился буквально считанные дни.

Хотя считается, что мы ценить умеем только мертвых, скажу, положив руку на сердце, что для меня масштаб личности и деятельности Вацуро после его смерти не вырос ни на йоту. Издания и переиздания его работ воспринимаю лишь как торжество справедливости. Рад, что не только некоторые понимавшие это и раньше люди, а вся литературоведческая общественность, все наше общество осознало, как он был прав в убеждении, что имя ВАДИМА ЭРАЗМОВИЧА ВАЦУРО не может быть возвышено никакими степенями и званиями, что он, гордо оставшись кандидатом наук, превзошел академиков.

В кругу пушкинистов

В начале 1965 года Б. С. Мейлах, не забывший о моем докладе, состоявшемся двумя годами ранее, пригласил меня на Пушкинскую конференцию в Псков, и в июне я на нее приехал. Это был, можно сказать, мой выезд «в свет». Во всей моей последующей жизни не было конференции, на которой я бы завязал столько знакомств и дружеских связей, длившихся в последующие десятилетия.

Среди них был Юрий Михайлович Лотман, отметивший нашу первую встречу бесценным подарком — «Пушкинским сборником», где была напечатана его статья «Идейная структура “Капитанской дочки”», которую я считаю и его шедевром, и одной из жемчужин пушкиноведения; была его жена, очаровательная Зара Григорьевна Минц. Только благодаря этой встрече я смог позднее обратиться к ним с просьбой о сдаче в Тарту кандидатского экзамена по специальности, без чего была бы невозможной моя защита. Вторично приезжал туда для работы над фондом Бенкендорфов, находившимся в Государственном историческом архиве Эстонской ССР. В оба приезда проводил вечера в их гостеприимном доме за разговорами о жизни и литературе. Запомнилась такая деталь. Когда я рассказал ему, что в составленный мной «Словарь Баратынского» не включены служебные слова, Лотман заметил, что они иногда бывают важнее смысловых, и привел в подтверждение цитату из «Скупого рыцаря»: «Твой старичок торгует ядом. — **И** ядом»³⁶.

На псковской конференции произошло знакомство с Лидией Яковлевной Гинзбург, общением с которой я очень дорожил. Каждый раз, когда я приезжал в Ленинград, я звонил ей, договаривался о встрече, и она вела со мной очень доверительные беседы о литературе и не только. Помню, однажды я позвонил, ожидая, что она, как это бывало обычно, назначит мне удобное для нее время. Но она ответила: «Я сейчас пишу новую книгу и ни с кем не встречаюсь. Но если вам нужно, приезжайте». Думаю, такой отказ характеризует ее лучше, чем любая беседа за чашечкой кофе.

Среди тех, с кем я там сблизился, был Владимир Владимирович Пугачев, смелый, принципиальный человек, наделенный немалым гражданским мужеством. Мы с ним дружили долгие годы. А с Павлом Наумовичем Берковым я провел времени немного, но он про-

³⁶ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. В 16 т. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1937–1949. Т. 7. М.-Л., 1948. С. 107.

явил интерес к моим занятиям и дал несколько напутственных советов, а позднее присылал отписки своих статей и очень заинтересованно откликнулся на мою книгу о Баратынском.

Псков положил начало моим не очень продолжительным, но необыкновенно сердечным отношениям с Георгием Феодосьевичем Богачем. Он жил в Кишиневе, энергично и плодотворно изучая русско-молдавские связи, мы регулярно переписывались, он навещал меня в Харькове. Потом он неожиданно переселился в Сибирь, и контакты наши постепенно ослабели. По поводу книги о Баратынском он прислал такое письмо.

Дорогой Леонид Генрихович,

в два приема только теперь, наконец, прочел Вашу книгу о Баратынском. Что Вам сказать! Получил огромную радость за ясность изложения нового для меня материала и за Ваш **дар** писать красиво! Еще раз поздравляю Вас и желаю больших успехов. То же самое могу сказать и по поводу статьи в 10-м номере «Вопр. л-ры». Крепко жму Вашу руку.

Г. Богач

Он был одним из тех, кто, будучи посвящен в проблемы моего трудоустройства, пытался помочь. Предыстория этого в самом кратком изложении такова. В 1957 году я окончил филологический факультет Харьковского педагогического института со свободным дипломом. Назначений тогда было меньше, чем выпускников, и их получали только те, кому требовалось начать работать немедленно, иначе им было бы нечего есть. Не без усилий, но все же относительно скоро я нашел себе место и стал учителем русского языка и литературы в школе рабочей молодежи, где проработал без малого тринадцать лет.

Я считался хорошим учителем, меня награждали грамотами, выдвигали на всякие слеты маяков передового опыта, а уж любовью своих учеников и особенно учениц я точно не был обделен. Одновременно окончил заочно факультет иностранных языков и получил по совместительству «почасовку» по немецкому языку. Пока моя диссертация не была написана, я считал свое положение нормальным, но после получения ученой степени решил, что поучительствовал достаточно и могу претендовать на место

преподавателя вуза. К тому же в июне 1970 года мою школу расформировали, и до марта 71-го я вообще числился безработным.

Со времени моей защиты до того момента, как я получил ассистентскую ставку по немецкому языку, прошло около четырех лет. Разумеется, за это время объявлялось множество конкурсов, я регулярно подавал на них документы, как правило, будучи единственным претендентом, обладавшим ученой степенью, и столь же регулярно получал отказы. «Суффиксы мешали», — говорил по этому поводу Лев Адольфович Озеров. Он-то знал толк в «суффиксах»: его настоящая фамилия была Гольдберг.

Пытался я обратиться к министру высшего и среднего специального образования УССР. Подробно описав свои хождения по мукам, понятно объяснил, что прошу помочь мне получить работу по любой из двух моих специальностей, причем один из предметов, который я способен преподавать, изучается во всех вузах Украины. И получил ответ, что Министерство не располагает сведениями о наличии вакантных мест по моей специальности и не может оказать мне содействия в трудоустройстве на работу.

Богач был, конечно, не единственным посвященным в состояние моих дел, но он не захотел оставаться их сторонним наблюдателем. Вернувшись из командировки в Харьков, он написал заведующему кафедрой русской литературы М. П. Легавке письмо, выдержку из которого он сообщил мне: «В Харькове нашел очень много интересного. Но уехал оттуда с некоторой досадой: там я узнал, что человек, которого не я один считаю просто незаурядным, талантливый Л. Г. Фризман вовсе не по назначению работает... Буду рад и благодарен тому, кто для пользы нашего общего дела привлечет его к настоящей работе». Впрочем, никаких последствий это обращение не имело.

Вернусь к воспоминаниям о псковской конференции. Из доклада Мейлаха я узнал о предстоящем выходе книги «Пушкин. Итоги и проблемы изучения», ставшей вехой в истории пушкиноведения, из доклада Чичерина — об очертаниях его будущей прославленной монографии «Возникновение романа-эпопеи». Пленила меня — и, думаю, не меня одного — тогда совсем юная, обаятельная и кокетливая Лариса Ильинична Вольперт. В своем докладе она выявила связи пушкинской «Гавриилиады» с антирелигиозными поэмами Парни «Война богов», «Потерянный рай» и «Галантность

Библии». Игривая, несколько озорная тональность этого доклада дополнялась ее собственным обликом. Мое выступление строилось на материалах книги о Баратынском, но факт, что она уже написана и сдана в издательство, я предпочел не разглашать.

Тогда мне впервые открылась одна особенность представительных научных конференций советского времени. Если конференция проходила не в Москве или Ленинграде, а в провинциальном городе, да еще если ее открывал секретарь обкома КПСС, то на эти несколько дней она становилась центральным событием в жизни города: все о ней осведомлены, все обязаны оказывать всевозможное содействие.

Особенно запомнилась с этой точки зрения Пушкинская конференция 1983 года, проходившая в Оренбурге и Уральске и приуроченная к 130-летию поездки Пушкина по местам Пугачевского восстания. Когда кортеж переезжал из Оренбурга в Уральск, выяснилось, что пришло из Алма-Аты указание возглавлявшего тогда Казахстан Д. А. Кунаева: «Принимать! Ухаживать!! Угощать!!!», — и на каждой остановке нас ждали накрытые столы, ломившиеся от обилия напитков и яств.

В Пскове было поскромнее, но царил тот же дух. В первый день заседание кончилось поздно: докладчики, как водится, не укладывались в отведенный им регламент, и, когда мы вернулись в гостиницу, ресторан уже закрывался. Мы настроились лечь спать голодными, да куда там! Пронесся клич: «Товарищи пушкинисты вернулись! Товарищи пушкинисты переработались! Товарищи пушкинисты проголодались!» Официантки, забыв о конце рабочего дня, вернулись к своим обязанностям. Столы были сдвинуты в один, что само по себе придавало рядовому ужину банкетную внешность. Наш вождь Мейлах, как бы чувствуя свою вину, попытался поскорее освободить бедных женщин: давайте, дескать, все возьмем по бифштексу и бокалу вина. Но должным образом проинструктированные и вымуштрованные официантки начали наперебой нас уговаривать, что готовы не уходить хоть до утра.

Другой эпизод подобного рода произошел уже лично со мной. Я планировал возвращаться из Пскова в Ленинград автобусом и заранее взял себе билет. Но в числе людей, с которыми я особенно сдружился в дни конференции, был Николай Леонидович Степанов, и он стал меня уговаривать, чтобы я ехал вместе с ним электричкой. Я охотно согласился, но, когда поехал

на автостанцию сдавать билет, у меня принять его под каким-то предлогом отказались. Я уже готов был уйти ни с чем, но стоило произнести волшебные слова «Пушкинская конференция», как отношение ко мне мгновенно изменилось. Мне с полной готовностью вернули деньги за билет и чуть ли не извинялись, что отняли лишнее время.

За четыре часа, которые, возвращаясь с псковской конференции, мы со Степановым провели в электричке, я приобрел верного, преданного друга, светлая память о котором живет в моем сердце. Он расспрашивал меня о целях моей поездки и, когда узнал, что главная из них — выверить все цитаты по библиографическим и архивным источникам (напомню, что объем диссертаций тогда не ограничивался, и моя кандидатская насчитывала более 400 страниц), сказал: «Ну и дотошный же вы человек!».

После возвращения в Москву Степанов получил книгу харьковского литературоведа и моего давнего знакомого Моисея Горациевича Зельдовича и ответил на нее благодарственной открыткой. Поскольку в этой открытке упоминался я, и это упоминание отразило первое впечатление, которое сложилось обо мне у Степанова, Зельдович много лет спустя подарил мне эту открытку. Вот ее текст:

Дорогой коллега!

Большое спасибо за книгу. Я был глубоко потрясен смертью Льва Яковлевича. (Речь идет о харьковском литературоведе и критике Л. Я. Лившице, который работал на одной кафедре с Зельдовичем. — *Л. Ф.*) Узнал о ней еще летом от Фризмана, с которым познакомился на Пушкинской конференции. Очень способный человек. Как грустно, что хорошие и нужные люди так скоро уходят из жизни. Сейчас пишу Вам под влиянием смерти Н. К. Гудзия.

Желаю Вам хорошей работы и счастливой жизни.

Дружески Ваш, Н. Степанов

Когда год спустя вышла моя книжка о Баратынском, один из первых экземпляров был отправлен Степанову, и я получил такой ответ:

Дорогой Леонид Генрихович!

Очень благодарен Вам за присылку Вашей книжки. Поздравляю Вас с ее выходом. При первом общем знакомстве с ней уже видно, что книга хорошая и интересная.

Буду внимательно читать ее.

Если Вам понадобится оппонент при защите, можете всегда на меня рассчитывать.

Дружески Ваш, Н. Степанов
1.8.6. (1 августа 1966 г.)



Н. Л. Степанов

Я очень привязался к Степанову, в каждую свою поездку в Москву приезжал к нему на дачу, в Переделкино. Его отношение ко мне иначе как отеческим не назовешь. Его единственный сын страдал неизлечимой психической болезнью, и мне всегда казалось, что он перенес на меня какую-то частицу своих недотраченных чувств. О роли, которую он сыграл в организации моей кандидатской защиты, я расскажу отдельно.

Его работы не равноценны. Люди, лучше осведомленные, чем я, объясняли это так. Любовью его жизни и темой, которой он занимался вдохновенно, был Велемир Хлебников. Но отношение к этому поэту тогда существовало такое, что заработать на исследованиях его творчества было нереально. А содержание и лечение больного сына требовало значительных затрат. И Николай Леонидович, можно сказать, приносил себя в жертву и писал о том, к чему у него вовсе не лежала душа, и это вынужденное творчество заслуживает сочувствия, а не осуждения.

Погиб он трагически: во время купания в пруду ему внезапно стало плохо. Люди на берегу, не понимавшие, что происходит, говорили: «Смотрите-ка, пожилой человек как кувыркается!». Когда спохватились, было поздно. После его смерти вышла в свет, вероятно, самая любимая книга его жизни «Велемир Хлебников. Жизнь и творчество», и его вдова прислала ее мне. Эта книга лежит передо мной. На ней надпись: «Дорогой Леонид Генрихович, на память о Николае Леонидовиче посылаю Вам эту книгу. Дружески Ваша, Л. Степанова».

Теперь о двух людях, которые выступали на псковской конференции как бы в роли гостеприимных хозяев, — о возглавлявшем Пушкинскую группу ИРЛИ Борисе Соломоновиче Мейлахе и заведующем кафедрой Псковского пединститута Евгении Александровиче Маймине. Контакты с Мейлахом после конференции не прерывались. Я навещал его на даче в Комарово, которую остряки называли «Мейлаховым курганом», сочувственно следил за его деятельностью как сопредседателя Комиссии комплексного изучения художественного творчества, напечатал рецензию на один из подготовленных этой комиссией сборников. Она называлась «На рубеже двух сфер» и появилась в журнале «Литературная Грузия». Обменивались выходящими у нас книгами, я получил от него «Талисман» и «Уход и смерть Толстого». Приведу две цитаты из полученных от него писем.

Узнав о моей докторской защите, он написал: «Все, что я читал из написанного Вами, и Ваш автореферат убеждают, что Ваша диссертация неизмеримо превышает самые повышенные обычные требования. У Вас бесспорно самые широкие перспективы в науке, и от души желаю, чтобы ничто не мешало бы реализации этих (в смысле одаренности) перспектив. На реферате, который Вы мне прислали, не было даты защиты, иначе я бы охотно написал свой отзыв.

Еще раз поздравляю с **торжеством справедливости**».

А вот отрывок из письма, прибывшего после ее утверждения ВАКом: «Поздравляю Вас от всей души с окончательным завершением Ваших диссертационных дел. Очень рад за Вас! Без преувеличений — работаете Вы на уровне высококвалифицированного доктора наук. На фоне той девальвации ученых степеней (которая проявилась и в том, что в Пушкинском Доме, имевшем такую высокую репутацию, большая группа кандидатов и докторов вообще не является учеными) Вашу работу просто можно назвать образцовой. При этом Вы достигли такого уровня, и, что самое интересное, по-моему, достигли этого, шутка сказать, *самосовершенствованием*, без непосредственной учебы у тех поистине крупных ученых, под руководством и в среде которых я учился, будучи студентом в МГУ и аспирантуре Академии наук. Поэтому редко приходится поздравлять со степенью таких молодых (и в наше время появившихся) ученых, как Вы. Желаю Вам многих успехов с той же ответственностью к выпускаемым Вами трудам, как до сих пор».

Контакты с Е. А. Майминым были не менее активными и регулярными. Но самым важным оказалось то, что именно ему ВАК направил на заключение мою диссертацию. Позднее он подарил мне копию своего отзыва. Позволю себе привести отрывок из него.

«Своими книгами и статьями Л. Г. Фризман заявил о себе как ученый серьезный, основательный, оригинальный, активно и плодотворно действующий в науке. Знакомство с диссертацией, предложенной мне для рецензии, подтвердило и укрепило это мое мнение. Диссертация представляет собой основательное исследование, осуществленное на высоком методологическом и теоретическом уровне — на уровне живой, глубокой и зрелой научной мысли.

Прямая тема диссертации — русская элегия в эпоху романтизма. Сам выбор темы заслуживает одобрение и вызывает живой научный интерес. История литературных жанров относится к той области науки, которая до сих пор оказывается наименее изученной. Если же говорить конкретно о русской элегии, то она как целостное явление до работ Л. Г. Фризмана еще не служила предметом исследования. Диссертант, таким образом, ставит перед собой трудные задачи и решает проблемы, которые остро нуждаются в решении. Это делает диссертацию актуально-современной в самом точном значении этого слова...

Для диссертанта история русской элегии является лишь исходной, но не единственной темой. Глубинная тема диссертации — русский романтизм. Через историю жанра диссертант раскрывает читателю историю и теорию того литературного направления, для которого этот жанр являлся ведущим — именно романтического направления.

Путь исследования, который демонстрирует Л. Г. Фризман, от конкретного и частного к общему — к изучению романтизма как художественной системы. Элегия интересует диссертанта и сама по себе, и еще больше — как одно из проявлений романтического мышления и романтической поэтики. Это путь нетривиальный, в достаточной мере новый — и перспективный. Он позволяет рассматривать одно из самых интересных и самых загадочных (до сих пор самых загадочных) литературных направлений не в общем плане, не отвлеченно, а ощутимо-конкретно, опираясь на литературный материал и не отвлекаясь от материала. Перспективность избранного диссертантом пути больше всего обусловлена близостью к материалу. Близость эта делает все рассуждения и выводы

максимально доказательными, и она оберегает от произвольных построений и концепций.

С другой стороны, конечная установка на общее, проникновение через частное в глубь кардинальнейших и совсем не частных проблем науки делает исследование Фризмана крупно-проблемным и подлинно масштабным. Говорить только об элегии — это важно и нужно, но это дело все-таки частное. Говоря об элегии, отыскивать законы романтического искусства, как это делает диссертант, — это значит ставить самые главные и первостепенные историко-литературные и теоретические проблемы.

Диссертационная работа Л. Г. Фризмана производит впечатление хорошо продуманной и по своей методологии, и по отбору материала, и по построению. Композиция работы отличается строгой логикой и целеустремленностью. Логика и целеустремленность композиции — это не только формальные достоинства, но и показатель ясности мысли.



Б. С. Мейлах

В диссертации Л. Г. Фризмана удачно сочетается исторический и типологический метод исследования материала. Оба эти метода существуют не параллельно, а в тесной связи, хорошо дополняя друг друга. Жанр элегии рассматривается и в его поэтике, и в его идеологической значимости. Это и помогает диссертанту через исследование жанра проследить самое главное — историю идей».

Этот мой очерк, тема которого заявлена в его названии, не раскрывал бы ее с достаточной полнотой, если бы я обошел молчанием свои контакты с ученым, который был не только и даже не в первую очередь пушкинистом, но по своей роли в науке превосходит любого из тех, о ком шла речь. Я имею в виду академика Михаила Павловича Алексева. Я встречался с ним считанное количество раз, и встречи наши были непродолжительны, но я считаю, что его письма дают достойное представление об облике этой выдающейся личности.

Как эта личность отличалась от других, так и его письма отличаются от других писем. Первое из них, присланное в ответ на кни-

гу о Баратынском, довольно объемно, но оценочная часть уложилась в два начальных предложения: «Мне кажется, что эта книга отвечает своему назначению, и что в ней сжато, но содержательно раскрывается история развития замечательного русского поэта. С моей точки зрения, Вы хорошо подвели итог предшествующего изучения Баратынского», — а все его остальное содержание вызвано стремлением помочь автору: указания на погрешности с точным указанием литературы, которая позволит их устранить, информация о статье австрийского лингвиста, опубликованной в югославском сборнике, чтобы она, не дай бог, не ускользнула от моего внимания. Так же и в других письмах: издание «Дум» «очень хорошее; в нем есть все, что требуется, и, сверх того, кое-что новое», и здесь же рекомендация указать на ранние английские опыты переводов отрывков из «Дум».



Е. А. Маймин

Однажды и мне представилась возможность оказаться ему полезным. Случилось так, что летом 1975 года он обратился ко мне за помощью. Ему до зарезу понадобилась книга, которая, конечно, была в ленинградских библиотеках, но которую ему не могли найти из-за неточности в инициалах автора. Поскольку книга вышла в Харькове, он решил, что именно я сумею ему помочь. Я не только отыскал книгу и обследовал ее *de visu*, но и объяснил ему причины и характер произошедшего недоразумения. Конечно, я стремился никак не выпячивать своей роли и использовал самые скромные выражения вроде «вы стали жертвой опечатки» и т. п. В ответ пришло следующее благодарственное письмо:

Глубокоуважаемый Леонид Генрихович,
искренне признателен Вам за столь быстрое исполнение моей просьбы... Удивительно все же, насколько беспомощны даже квалифицированные современные библиографы: в библ. Ак. наук мне ответили, что на Карповых с различными инициалами у них имеется целый библиотечный ящик, и надо было для розысков точно указанной Вам харьковской книги «просматривать целый ящик» из-за



М. П. Алексеев

ошибки, допущенной изд. «Academia» при переиздании, на что они не отказались. А какой ущерб библиографии (по крайней мере гуманитарной) наносит новое нелепейшее правило ставить инициалы после фамилии авторов! Недавно со мной был такой случай: в ГПБ за 15 лет мне раз пять отказывали на мои систематически подаваемые заказы на книгу Alexandre Roger, — отвечая коротким «нет» (в б-ке), хотя я знал, что этой книгой в этой именно библиотеке пользовался. Наконец мне ее выдали, после того как я написал «Roger Alexandre». Оказалось, что Alexandre — фамилия, а Roger — имя!

Больше, пожалуйста, не делайте никаких раскопок. Я надеюсь, что обнаруженная Вами ошибка позволит мне получить все нужные сведения.

Еще раз искренне Вас благодарю. Желаю Вам всего наилучшего. Искренне Вас уважаю!

М. Алексеев
10 июня 1975 г.

Через некоторое время я послал в редакцию «Временника Пушкинской комиссии» небольшую статью «К заметке Пушкина “Об Андре Шенье”». Хотя мой материал был невелик по объему и не слишком значим по содержанию, Алексеев, будучи редактором «Временника», занялся им сам, и я получил от него такое письмо:

Глубокоуважаемый Леонид Генрихович, получил Вашу статью «К заметке Пушкина об А. Шенье». Кажется, мы сможем включить ее в очередной «Временник», который будем сдавать в изд-во в марте месяце. С Вашего разрешения мы несколько уточним стихи, проверим цитаты и приведем ее в тот вид — в смысле единообразия с соседними статьями по традиционному техническому оформлению. Помещена она будет в отделе «Мелкие заметки». Правда, все печатается у нас очень медленно, так что запаситесь терпением...

Я понемногу оправляюсь после длительной болезни и пребывания в больнице, поэтому отвечаю с опозданием и прошу извинить за мой почерк.

Всего наилучшего! Примите поздравления на 1978 год, и авось он будет для всех нас удачнее прошлогоднего.

Ваш М. Алексеев.
10 февраля 1978 г.

Ждать пришлось недолго, а материал был подан как нельзя лучше. Я и в дальнейшем печатался в «Временнике», но уже без прямых контактов с Михаилом Павловичем. Много раз слышал отзывы о нем людей, которые знали его намного лучше, чем я. Не умолчу о том, что в этих отзывах было и хорошее, и плохое.

Мой ближайший друг Андрей Леопольдович Гришунин рассказывал, что Алексеев, с которым они столько лет сотрудничали как члены редколлегии «Литературных памятников», некрасиво повел себя во время его докторской защиты: не то строил какие-то препятствия, не то голосовал против. И почему, спрашивается? Потому что Гришунин был в его глазах «лихачевцем». Каковы бы ни были претензии Михаила Павловича к Дмитрию Сергеевичу, даже если они были обоснованными, даже если Дмитрий Сергеевич в чем-то виноват, вымещать это на третьем, ни в чем не повинном человеке считаю недостойным.

Прав я или нет, говорю, как чувствую. И Лихачев, и Алексеев, какие бы ни были отношения между ними, в моих глазах — вершины, возвышающиеся над всеми, с кем меня сводила судьба. Сейчас таких нет.

Ученый, редактор, личность

Дмитрий Дмитриевич Благой вошел в мой мир и занял в нем прочное место еще в студенческие годы. С тех пор стоят на моих книжных полках «Социология творчества Пушкина» и «Три века». Историю русской литературы XVIII века сдавал по его учебнику, а дверь в мир Пушкина приоткрывал по монографиям Благого и Томашевского. Когда, будучи еще студентом, решил, что кандидатскую диссертацию буду писать о Баратынском, мог ли я обойти вниманием автора статьи об этом поэте в КЛЭ?

В процессе дальнейшей работы, уже побывав в Мурановском музее и проделав определенные библиографические и архивные разыскания, я загорелся идеей провести конференцию или научные чтения, приуроченные к 120-летию со дня смерти Баратынского. Обсудив ее с Пигаревым — первым московским специалистом, оказавшим покровительство моим занятиям, — разослал несколько зондирующих писем людям, которые виделась мне как возможные участники этого дела. Среди них был, естественно, и Благой. Вот ответ, который я от него получил:

По-моему, Вы проявили очень хорошую инициативу, уважаемый товарищ Фризман (Вы не сообщили мне Вашего имени и отчества), организовав конференцию по Баратынскому. Хотя я действительно **очень** занят, но поэзия Баратынского издавна мною любима, и я готов принять личное участие в конференции в той форме, какую мне предложат ее организаторы.

С пожеланием полного успеха,

Ваш Д. Благой
26 января 1964 г.

Конференцию по Баратынскому провести не удалось, но спустя два года вышла в свет моя книжка о Баратынском; я, разумеется, отправил ее Благому, а чуть позднее послал автореферат своей диссертации об этом поэте. Его письма приобретали все более дружественный характер; между нами устанавливались отношения, которым суждено было продлиться почти два десятилетия.

Уважаемый Леонид Генрихович,

до сих пор за крайним недосугом не поблагодарил Вас за книжку о Баратынском, которую Вы мне прислали, и не поздравил с несомненной исследовательской и литературной удачей.

Думаю, что Вам следует развить ее, выпустив монографию об этом одном из замечательнейших наших поэтов, до сих пор у нас отсутствующую. Жду ее от Вас и желаю полного успеха, в котором, судя по этой Вашей первой очень сжатой и вместе с тем очень содержательной книжке, не сомневаюсь.

Кстати, не поможете ли Вы мне вот в чем. Некоторое время тому назад я сделал выписку из письма Баратынского к Вяземскому от 18 марта — 1 апреля 1829 года: «Вы мне очень лестно советуете приняться за прозу...» (далее следует обширная цитата из письма. — *Л. Ф.*). По рассеянности я не помню, откуда взял ее. Не вспомните ли Вы этого — ни в письмах, публиковавшихся при издании его сочинений, ни в письмах Вяземскому в «Старине и новизне» за 1902 год (кн. 5) этого нет. Был бы очень признателен за Ваше указание.

Ваш Д. Благой

Ответить на этот вопрос для меня не представляло ни малейшего труда. Работая над Баратынским, я составил для себя указатель его писем, как опубликованных, так и находящихся в архивах. Я легко установил, что интересовавшее Благого письмо было опубликовано в «Литературном наследстве», но тома этого в моей библиотеке тогда не было, и я не мог с уверенностью сказать, находится ли в нем выписанная цитата. Я указал ему место публикации, и вот что он мне ответил:

Дорогой Леонид Генрихович, спасибо за то, что Вы так оперативно откликнулись на мою просьбу и навели меня на след.

Забавнее всего, что «черт оказался у меня за плечами» (помните, как сказал у Гоголя Пацюк кузнецу Вакуле). Ведь письма (точнее, отрывки из писем) современников о Пушкине в 58 томе «Лит. наследства» я предварял ввводной статьей, и письма мне прекрасно известны. Конечно, отсюда я и взял цитату, которую Вам выписал. Но черт оказался за плечами не только у меня! Вы пишете, что не знаете, есть ли эта цитата в опубликованной части письма, а она есть! Получилось двойное дно.

Но навели меня на след именно Вы, а так я бы и терял время в бесплодных поисках, и т. п. Моя книга (по выходе непременно пошлю ее Вам) уже подписывается не к набору, а **к печати**, а я так бы и не смог указать источника.

И потому спасибо, спасибо, спасибо!

Искренне Ваш, Д. Благой
25.04

Р. С. Д. С. Лихачев переслал мне Вашу статью об А. И. Белецком. Обязательно напечатаем, и в одном из ближайших номеров. Получил я и Ваш реферат. Спасибо! А когда защита? Если это может быть полезно, охотно напишу о нем несколько хороших слов. На чье имя адресовать?

Искренне Ваш, Д. Благой

Обещание свое он выполнил, и его отзыв, конечно, значительно укрепил мои позиции. Все, кто узнавали об участии в моих делах «самого Благого», расценивали это очень высоко.

Статья, рекомендованная в «Известия АН» Лихачевым, положила начало моему более-менее регулярному сотрудничеству в этом журнале. Год спустя я постучался туда уже сам. После защиты нужно было определять новое направление работы. Среди возможных вариантов я рассматривал и такой — К. Маркс и Ф. Энгельс как писатели, изучение их литературного мастерства. Мысли на эту тему бродили во мне давно, еще когда я учился заочно на романо-германском отделении факультета иностранных языков Харьковского университета (там я получил второе высшее образование сразу после первого). На лингвистическом материале старой курсовой работы я написал статью «Образ в языке “Манифеста коммунистической партии”», в которой пытался обосновать мысль, что образность произведений подобного рода является не придатком к их содержанию, не украшением, используемым в посторонних целях, а следствием своеобразного синтеза научного и художественного типов мышления.

В мае 1968 года исполнялось 150 лет со дня рождения Маркса; я не сомневался, что юбилейным статьям будет открыта зеленая улица, и решил воспользоваться благоприятной ситуацией, и направил свою статью в уже знакомую мне редакцию журнала «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», где она попа-

ла к его главному редактору — Благому. Она была им безоговорочно одобрена, а большая часть письма, которое он мне прислал, содержала предложения таких мелких поправок, которые нечего было и обсуждать. Если они чем-то и существенны, то лишь как подтверждение необыкновенного внимания к поступившему от меня тексту и тщательности его редактирования.

Самым важным мне показалось не то, что он писал, а то, что сказал при ближайшей встрече. «Неожиданность вашей темы, — говорил он, — прыжок от Баратынского к Марксу и Энгельсу и проявленная при этом углубленность в совершенно инородный материал, произвели ошеломляющее впечатление на многих. Николай Леонидович (Степанов. — Л.Ф.) просто руками разводил, не находя слов. А я, — продолжал он, с довольным видом поглаживая грудь, — нисколько не удивился. Я по вашей книге о Баратынском сразу понял, что от вас многого можно ждать».

Поскольку моя интенсивная работа над художественным мастерством Маркса и Энгельса совпала по времени с сотрудничеством в «Известиях АН СССР», в этом журнале была вскоре напечатана и другая моя статья — «О стиле книги Ф. Энгельса “Положение рабочего класса в Англии”».

Несколько раз Дмитрий Дмитриевич насмешливо обыгрывал сходство моей фамилии с фамилией Николая Владимировича Фридмана. Некоторые нас даже путали, ведь у нас были близкие темы: один специализировался на Баратынском, другой — на Батюшкове. Но Благой не только не путал, а противопоставлял: «Буква-то одна, а разница-то большая!». Была ли между нами разница и какая, пусть судят другие, наши же дружеские отношения ничем омрачены не были. Я написал одобрительную рецензию на книгу Фридмана и напечатал ее не где-нибудь, а в журнале Благого, а Николай Владимирович выступил оппонентом на моей защите.

Благой постоянно предлагал мне свою помощь, очень жалел, что я живу не в Москве и не собираюсь в нее переезжать, говорил, что наиболее подходящим для моих данных местом работы был бы



Д. Д. Благой

Институт мировой литературы. Много раз он настойчиво уговаривал меня написать учебник по русской литературе для средней школы, соблазнял существенными доходами, которые принесла бы мне такая книга: ее, дескать, будут переиздавать ежегодно и каждый раз платить гонорар, уверял, что его положение в Академии педагогических наук таково, что он мне гарантирует ее беспрепятственное прохождение. К сожалению, я не чувствовал никакой склонности к подобной работе.

Самой большой услугой, которую он мне оказал, считаю его согласие стать ответственным редактором моей книги «Жизнь лирического жанра». По каким-то не известным мне причинам издательство не захотело обращаться к Лихачеву, который был редактором моей предыдущей книги «Творческий путь Баратынского». Если бы Благой не дал согласия, это место скорее всего занял бы Н. Ф. Бельчиков, с которым я был едва знаком и поэтому его побаивался. С Дмитрием Дмитриевичем у нас было полное взаимопонимание, и мне — как автору с редактором — работать с ним было одно удовольствие. Дело осложнялось лишь одним неблагоприятным обстоятельством: основное наше сотрудничество выпало на лето, я был в Крыму, все вопросы приходилось решать по междугородному телефону, связь была скверная, и мы оба «хлебнули горя».

Год спустя вышел составленный мной сборник декабристской критики, по поводу которого Благой мне писал: «...Хочу, не откладывая, Вас поблагодарить и поздравить: <книга> издана очень изящно, составлена интересно, статья очень дельная, а цитаты, которыми она начинается, очень удачно Вами найдены — и за все это Вам сердечное спасибо и дружеские от меня и Б.Я. приветы. Надеюсь, в ближайший Ваш приезд в Москву Вы нас не минете».

Б.Я. — это его вторая жена, Берта Яковлевна Брайнина. У них не было оснований сомневаться, что я их «не мину»: я очень любил их навещать и не упускал этой возможности. Чаще всего мы ездили в Переделкино. Я говорю «мы», потому что моим неизменным спутником бывал наш общий друг Андрей Леопольдович Гришунин. Он был там таким же желанным гостем, как я, а поездка туда была хоть небольшим, но путешествием — вдвоем веселее.

В 1972–1973 годах вышел в свет двухтомник Благого «От Кантемира до наших дней». И сам ее автор, и другие рассматривали эту книгу как некий итог его жизни в науке. Поэтому рецензии на нее,

которая должна была появиться в главном литературоведческом журнале страны, придавалось особое значение. По просьбе Благого редакция «Вопросов литературы» заказала ее мне. Рецензия моя была, конечно, положительной, но и не лишенной упреков: я критиковал состав книги, считая, что он недостаточно полно и разносторонне отражает творческий облик автора и его вклад в науку. В одной из наших бесед Дмитрий Дмитриевич высказал такую мысль: «Чем старше человек, тем ближе ему прошлое. Две мои жизни — вот вам и век Екатерины». Эта способность вжиться в прошлое, говорить о нем так, как будто он сам тогда жил, ощущается во многих его работах. Как говорил Гёте, «насушное уходит вдаль, а давность / Приблизившись, приобретает явность»³⁷. Именно умение приблизить давность и сделать ее явной я улавливал и исследовал в работах Благого, что и побудило меня назвать свою рецензию «Современность русской классики».

Во многих статьях, в частности в статье «Диалектика литературной преемственности», Благой остро и убедительно выступал против одной из самых распространенных болезней нашего литературоведения — тенденции видеть литературное влияние лишь там, где прослеживаются элементы сходства литературной учебы, более или менее явные реминисценции. Он не просто утверждал, а показывал на многообразном материале, что преемственность — это не только усвоение, но и отталкивание, не только продолжение и развитие, но и критический пересмотр, переоценка «детьми» наследия своих литературных «отцов».

В 1979 году этот двухтомник, который смело можно отнести к классике советского литературоведения, был выпущен вторым изданием. Дмитрий Дмитриевич мне его подарил, сделав такую надпись: «Дорогому Леониду Генриховичу Фризмону к предстоящему пятидесятилетию нашей дружбы, несколько за это время не постаревший Д. Благой. 4.IX.1979. Переделкино». Могу уверенно подтвердить, что эта самооценка стопроцентно отвечает действительности. За годы моего общения с Благой он совершенно не изменился: каким я его увидел впервые, таким он был и в последнюю встречу. Прямой, без тени старческой сгорбленности, те же лицо, голос, манера речи и жестикуляции, походка... А был ему 91 год! Вручая мне книги, он с улыбкой сказал: «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!»

³⁷ Гёте И. Фауст. М.: Гослитиздат, 1953. С. 36.

Как человек, с которым Дмитрий Дмитриевич делился сокровенным, я знал, что жила в нем острая, неизбежная, пожизненная боль — что он не стал академиком. Как мне рассказывали, его избрание было предрешено, уже банкет был заказан. Но В.В. Виноградов, который был академиком-секретарем Отделения литературы и языка, а Благого терпеть не мог, сумел все переиграть и избран был А.И. Белецкий. Благой так и не смог с этим примириться, думал об этом неотступно. Когда пришло известие о том, что в Ленинграде умер Жирмунский, он мне сказал: «Ну что ж, он все же успел...» Это значило: успел побыть академиком.

Не могу обойти молчанием один не просто странный, но, по мне, прямо-таки необъяснимый эпизод биографии Благого. На его даче на самом видном месте красовался большой плакат, вывешенный, я думаю, Бертой Яковлевной: «НИГДЕ КРОМЕ, КАК В ТРЕТЬЕМ ТОМЕ». Это было строгое указание ее мужу не заниматься ничем, кроме завершения «Творческого пути Пушкина». Считалось общеизвестным, что Благой только и занят тем, что пишет этот третий том дено и ночью. Подтверждения этого содержатся в его письмах. Так, в письме от 28 мая 1975 года он писал: «Ваше отношение к моей “элегической” статье и тронуло меня, и порадовало, тем более что это кусочек моего третьего тома (из раздела “На подступах к «Евгению Онегину»”), и в таком виде я не придавал ей особого значения и даже, получив недавно оттиски, не очень спешил посылать ее в Вашу русскую “Элегиаку”. Сейчас (тоже со страшным запозданием) получил оттиски еще трех моих статей (две первые — начатки моего цикла “Пушкин в развитии мировой литературы” — всего их будет, видимо, шесть — это, конечно, не третий том, но написаны именно для него, и сюда же идущую статью “Читал ли Пушкин «Фауста» Гёте”»).

И вот Благого не стало. Его смерть была неожиданной для окружающих. 14 февраля 1984 года он лег спать и не проснулся. А вскоре распространился странный слух — что рукопись третьего тома *исчезла*. Остались, дескать, отдельные рабочие варианты, которые находятся в Архиве РАН. Хоть вы меня убейте, я не могу понять и поверить, что рукопись такой огромной книги так просто исчезла. С кем я ни заговаривал на эту тему, все мои собеседники терялись в догадках.

На протяжении двадцати двух лет, с 1954 по 1976 год, Дмитрий Дмитриевич был главным редактором журнала «Известия

АН СССР. Серия литературы и языка». Не знаю, находился ли кто-нибудь у кормила этого издания более длительный срок. Как человек, сотрудничавший с ним на протяжении семи или восьми лет, я много взаимодействовал и с главным редактором, и с заведующей редакцией Татьяной Сергеевной Глебовой, с которой он меня свел и к которой я продолжаю питать самые сердечные и благодарные чувства.

Сейчас, когда, по пушкинскому слову, «мы близимся к началу своему», не могу не отдавать себе отчет в том, как я обязан людям, которые меня окружали, поддерживали, вдохновляли, помогали словом и делом. Таким, как Дмитрий Дмитриевич Благой.

Две встречи с Грибоедовым

Хотел бы поделиться воспоминаниями о двух постановках «Горя от ума», которые мне посчастливилось видеть, и о том, как каждая из них своей трактовкой грибоедовской комедии отразила требования времени.

Первую из них осуществил Г. Товстоногов в ленинградском БДТ (в те времена — имени А. М. Горького). На дворе было начало 60-х годов, и трактовка пьесы вдохновлялась стремлением выразить протестный дух поколения, представители которого, к ним я причисляю и себя, получили прозвище «шестидесятники». Скандалы начались с премьеры. Дело в том, что перед началом спектакля над сценой высвечивался эпитафия — слова Пушкина: «Чорт догадал меня родиться в России с умом и талантом!». Разумеется, на режиссера посыпались патриотические упреки, какой-то передовой рабочий опубликовал по этому поводу возмущенное письмо в газете «Советская культура». А респектабельный рецензент журнала «Театральная жизнь» читал постановщику такие поучительные нотации: «Странно избран эпитафия к спектаклю <...> Эти горькие и несправедливые слова, вырвавшиеся у Пушкина в минуту гнева и отчаяния, конечно, говорят о трагедии лучших умов России той эпохи. Но выхваченные из исторического контекста и помещенные над порталом сцены как некий современный лозунг, они приобретают политически ложное звучание»³⁸.

Я же, считавший этот эпитафия находкой, убежденный в том, что он был и современным, и политически истинным, написал тогда ответное письмо в «Советскую культуру», в котором в самом благонадежном тоне, со ссылками на Чернышевского и Ленина, пытался взять под защиту и Пушкина, и Товстоногова. Мой ответ, разумеется, не напечатали, а редакция мне сообщила, что, дескать, обсуждать нечего, т. к. Товстоногов «прислушался к критике» и снял эпитафия. Когда я видел спектакль, эпитафия уже не было. Но как только появились проблески так называемой гласности, режиссер открыто рассказал то, что, собственно говоря, было понятно и раньше: снять эпитафия его заставили. Эпитафия сняли, но бунтарский дух спектакля остался.

³⁸ Асеев Б. По Грибоедову и не по Грибоедову // Театральная жизнь. 1963. № 6. С. 8.

Актерский ансамбль был великолепен, в нем принимали участие лучшие силы этого замечательного театра. Софью играла совсем тогда молодая и блиставшая неотразимой красотой Т. Доронина, Фамусова — В. Полицеймако, Молчалина — К. Лавров, Репетилова — Е. Лебедев, Скалозуба — В. Стржельчик. Но звездой спектакли был, несомненно, С. Юрский, игравший Чацкого. Мне хотелось бы обойтись без громких слов, но я считаю, что и игра Юрского, и вся его трактовка этого образа были гениальны и знаменовали собой не просто новое слово, а в каком-то смысле поворотный пункт в многолетней сценической истории «Горя от ума».

Судите сами. Среди предшественников Юрского были такие актеры, как В. Каратыгин, П. Мочалов, А. Остужев, А. Сумбатов-Южин, Ю. Завадский, А. Ленский, В. Качалов, М. Прудкин. Все — красавцы, героин-любовники, излучающие обаяние. Как-то само собой разумелось: кто играет Ромео, тот играет и Чацкого. И великие режиссеры, ставившие эти спектакли, и великие актеры, игравшие в них главную роль, странным образом не задавались простым вопросом: как Софья, видя у своих ног такого несравненного мужчину, сочетающего в себе острый ум с обаятельной внешностью, может предпочесть ему кого-то другого. И вот Юрский, возможно, не без участия Товстоногова, сломал вековую и, казалось, нерушимую традицию и вывел на сцену некрасивого Чацкого: сутулого, сторбленного, нескладного, с вытянутым лицом и противоестественно длинными руками. Эффект был потрясающим. В одной из рецензий, появившихся по свежим следам премьеры, говорилось: «Полноте, тот ли это Чацкий? Одна экзальтированная зрительница <...> не удержалась и в возмущенной простоте душевной воскликнула: “Господи! Это же совсем не тот! Того я помню очень хорошо!” И трудно было возразить ей»³⁹.

Да что там простодушные зрительницы! Я тогда регулярно бывал в Пушкинском Доме, в тот самый 1963 год, когда состоялась премьера «Горя от ума», выступал с докладом на заседании Пушкинской группы, общался с людьми, принадлежащими к элите тогдашнего литературоведения. В большей или меньшей мере Чацкий-Юрский ошеломил всех. Бросились перечитывать «Горе от ума» — нигде не сказано, что Чацкий должен быть красивым. Умным — само собой, но внешность главного героя комедии,

³⁹ Цимбал С. Истина ума и горестные заблуждения любви // Театр. 1963. № 2. С. 11.

сыгранного Юрским, грибоедовскому тексту никак не противоречила и ярко контрастировала с тем, как выглядели милостивый Молчалин и особенно красавчик Скалозуб. Одним словом, все стало на свои места.

И еще в одном Юрский резко сломал традицию. В тогдашней литературе, особенно массовой, учебной, популярной, Чацкого старательно героизировали. Я был тогда учителем школы рабочей молодежи, ежегодно проводил сочинения на аттестат зрелости и знал по опыту, как часто среди тем, направленных нам из облоно, бывала такая: «Чацкий — победитель или побежденный?». Вымуштрованные мной сообразительные ученики отвечали на это, как требовалось: конечно, победитель! А вот Юрский сыграл побежденного Чацкого. Как декабристы потерпели поражение на Сенатской площади, так он был повергнут событиями в фамусовском доме. Негромким, надломленным голосом устало и даже как-то просительно произнес: «Карету мне, карету!», — он обессилено плашмя валится в кресло и лежит, как в обмороке. Голова запрокинута за изголовье, рука беспомощно свисает с подлокотника.

Тогдашнюю театральную критику Чацкий-Юрский не устроил. В нем увидели «расхождение театра с Грибоедовым. Образ Чацкого не раскрывается во всей его многогранности, во всей масштабности ума и страстей. Театр как будто боится показать Чацкого таким, каким он создан Грибоедовым и каким он восхищал современников...»⁴⁰. Трудно сказать, чего было больше в таких оценках: ограниченности или лицемерия. Но, уловив в товстоноговском прочтении враждебную себе трактовку «Горя от ума», не додумались ни до чего другого, кроме обвинений, что она «не по Грибоедову».

Второй спектакль, о котором я хочу рассказать, состоялся тридцатью годами позднее, в начале 90-х годов: речь пойдет о постановке «Горя от ума» Олегом Ефремовым на сцене МХАТа. Здесь тоже имел место слом традиции, и не менее решительный, чем в БДТ. Если Товстоногов ответил на запросы и потребности своего времени, то Ефремов — своего.

В основе его замысла — снижение, дегероизация и, так сказать, детрагедизация изображаемых событий. Только что рухнула ненавистная советская власть, и с той же решительностью, с какой был низвергнут памятник Дзержинского, общество жаждало

⁴⁰ Асеев Б. По Грибоедову и не по Грибоедову // Театральная жизнь. 1963. № 6. С. 8.



Чацкий – С. Юрский, Фамусов – В. Полицеймако (БДТ, 1963)

поскорее и полностью порвать со всем, что связывало его с тоталитарным прошлым: с его моралью, с его представлениями о добре и зле и не в последнюю очередь с его героями и самим его пониманием героизма.

Советская школа воспитывала молодое поколение на примерах героев: Павла Власова, Павла Корчагина, молодогвардейцев. Утверждался культ Алексея Стаханова, Марии Демченко, Валентины Гагановой, бесчисленных комбайнеров, доярок и ткачих, которых увенчивали Звездами Героев (именно героев!) Социалистического Труда. Слагались песни типа «Когда страна прикажет стать героем, / У нас героем становится любой!». Соответственно, из классической литературы подбирались такие персонажи, которых можно было подать как предшественников борцов за советскую власть. Предписывалось восхищаться Рахметовым, доблестно поспавшим на гвоздях, декабристами, разбудившими Герцена, который развернул революционную агитацию. А Чацкий, он ведь выразитель идей декабристов, тоже сойдет за героя.

Постановка Олега Ефремова полемически направлена против подобных представлений. Социально-общественная проблематика, борьба двух лагерей, о которой с таким пафосом писала в своей монографии «Грибоедов и декабристы» М.В. Нечкина, решительно отодвинуты на второй план. Как верно отметил А. Немзер,



*Фамусов – В. Невинный
(МХТ, 1992)*



*Скалозуб – С. Колесников,
Репетилов – А. Мягков*

мхатовская трактовка деполитизирует «Горе от ума», «ставит пьесу о домашней неразберихе, о превратностях любви, бестолковости балованных детей и незавидной участи обаятельного, малость циничного и совсем не злого папеньки-Фамусова. Фамусов и есть главный герой спектакля. Герой положительный»⁴¹. А Чацкий? Как уже отмечалось, «Олегу Ефремову оказались не нужны ни пламенные идеи, ни возвышенные мысли — он представил монологи главного героя как горячечный бред больного, к которому все относятся с искренним сожалением и которого никто не слушает <...> Этот Чацкий (М. Ефремов) — менее всего Чацкий, каким мы его себе представляем. Он появляется на сцене инфантильным недорослем, чересчур расшалившимся в присутствии взрослых. Он не слушает никого и болтает, не умолкая, в быстрой скороговорке перескакивая с одного предмета на другой. Он не сосредоточивается ни на чем, передразнивает всех и вся <...> Олег Ефремов снял с Чацкого котурны, поднимавшие его высоко над толпой, и герой моментально стал обычного роста, приняв общие законы жизни. Чацкий оказывается полноправным членом этой большой семьи, где все — свои люди, где все — сочтутся»⁴².

⁴¹ Немзер А. Горе не беда // Независимая газета. 20 октября 1992. С. 7.

⁴² Богомолова О. Счастье Чацкого // Театр. 1993. № 3. С. 40–41.

Другое ефремовское развитие грибоедовской комедии — буфетчик Петруша, мельком упомянутый Лизой. Драматург отвел этому безмолвному персонажу значимое место в пьесе, он замыкает любовную цепь: Чацкий любит Софью, Софья — Молчалина, Молчалин — Лизу, Лиза — Петрушу. Он и здесь не произносит ни слова — Ефремов не досочиняет грибоедовский текст. Но он постоянно присутствует за своей буфетной стойкой и обретает над происходящим некую мистическую власть. «Уж не догадывается ли всемогущий буфетчик, что в исторически близком будущем явится сюда “уплотнять” наследников Фамусова? Не иначе как тень булгаковского Шарикова маячит за спиной грибоедовского Петруши»⁴³.

Но вернемся к Фамусову. Соответствует ли трактовка его образа замыслу Грибоедова и тексту «Горя от ума»? Об этом стоит порассуждать. Хрестоматийно известна характеристика конфликта пьесы, данная драматургом в письме к Катенину: «...В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека»⁴⁴. Но посмотримся к тому, каким предстает Фамусов в «Горе от ума». Неужели глупцом? Вот он говорит Петрушке, которого, к слову сказать, не следует путать с мистическим буфетчиком:

Пиши: в четверг, одно уж к одному,
А может, в пятницу, а может, и в субботу,
Я должен у вдовы у докторши крестить,
Она не родила, но по расчету
По моему: должна родить⁴⁵.

Способен ли глупец на такой пронизательный и конкретный анализ? Фамусов реалистически советует Чацкому, что ему следует делать, чтобы заполучить руку Софьи. Он со знанием дела объясняет своему молодому собеседнику действующие механизмы карьерного восхождения и имеет все основания завершить монолог ироническим призывом, в котором слились и уверенность в своей правоте и сознание своего превосходства: «Вы, нынешние, — ну-тка!». А реплика: «Что за комиссия, Создатель, / Быть взрослой дочери отцом!» — вообще, может быть, самое умное, что было сказано на русском языке.

Он искренне рад приезду Чацкого, посмеивается над его неспособностью увидеть в реальном свете окружающую действительность.

⁴³ Жегин Н. «Ну бал! Ну Фамусов!» // Театр. 1993. № 3. С. 50.

⁴⁴ Грибоедов А. С. Сочинения. М.: Худ. лит., 1988. С. 508.

⁴⁵ Там же. С. 54.

Его настойчивые просьбы попридержать язык в присутствии Скалозуба продиктованы именно заботой о том, чтобы сын его покойного друга не наболтал лишнего и не нажил себе неприятностей. В его словах о сумасшествии Чацкого: «Чего сомнительно? Я первый, я открыл!» — никакого разоблачительного пафоса, а лишь копеечное бахвальство, сродни уверению Добчинского: «Нет, Петр Иванович, это я сказал “Э”». А упрек, брошенный Софье: «Сама его безумцем называла!» — жалоба на незаслуженное недоверие неблагодарной дочери к потакающему ей отцу. Выкрик: «В Сенат подам, министрам, государю» — не угроза реакционера-крепостника, а бесильная самозащита обиженного отца.

Скандал в фамусовском семействе не социальный конфликт, а ссора между своими, которая скоро и безболезненно уладится. В этом Ефремов следует за трактовкой «Горя от ума» в щедринских очерках «В среде умеренности и аккуратности», где Молчалин так повествует о развитии событий, следовавших за финалом комедии: «Сам Александр Андреевич впоследствии сознался, что погорячился немного. Ведь он-таки женился на Софье-то Павловне да еще как доволен-то был!»⁴⁶ К этому ведет дело и Ефремов. В его спектакле Чацкий, потребовав карету, не убегает за кулисы, что неизменно делали его предшественники, и не падает в кресло, как Чацкий-Юрский, а бросается на колени рядом с Софьей, которая на коленях уже стоит, в руках у них длинные венчальные свечи, и чего им еще остается, как не получить родительское благословение?

Фамусов на это готов, и ощущение этой готовности передается нам, и во время последнего гневного монолога Чацкого — еще раз сошлюсь на А. Немзера — не его слушаешь, а сочувственно смотришь на готового разрыдаться толстяка в халате, который с такой грустью, с таким пониманием дочкиных причуд, с такой безнадежностью и такой готовностью все простить и со всеми помириться говорит: «Безумный! что он тут за чепуху молот! (Он что, мог серьез подумать, что я могу свою дочь да и его обидеть?) Низкопоклонник! тесть! (Он считает, что это ничтожество Молчалин может заполучить мою Софьюшку и втереться в мою семью!) и про Москву так грозно! (Тут девушка страдает, а он все про свою дурацкую политику!) А ты меня решила уморить!» Именно это, а не упоминание о никому не ведомой Марье Алексевне, завершает пьесу.

⁴⁶ *Щедрин Н.* (Салтыков М. Е.). Полн. собр. соч. В 20 т. М.: ГИХЛ, 1933–1941. Т. 12. М.: 1938. С. 310.

Щедринское влияние ощущается и в той первостепенной роли, на которую Ефремовым выдвинут Репетилов в исполнении А. Мягкова. Именно Репетилов возглавляет у Щедрина учреждение с бесмертным названием «Департамент государственных умопомрачений». Говорят, что Горбачев, побывав на спектакле в МХАТе, сказал в одном из интервью, что увидел там свою драму. Не могу говорить об этом с уверенностью, ибо взял информацию из вторых рук, и в содержащей ее рецензии на спектакль Г. Бродской «Софья и Александр. Портрет на фоне Репетилова»⁴⁷ Репетилов назван «самой щемящей ногой спектакля». Мягков, считает она, сыграл в Репетилове Чацкого с обратным знаком, Чацкого-антигероя. Он отобрал у Чацкого и «милion терзаний», и «отрезвился я сполна», и его знаменитое «Карету мне, карету!». Он дважды прокричал эти финальные слова Чацкого в стремительном побеге с бала, между тем как настоящий Чацкий, устало и подавленно произнес свой заключительный монолог, никуда не уедет, а останется здесь навсегда.

В ефремовском спектакле много трудноуловимых нюансов, которые могут быть поняты и истолкованы по-разному. Но главное, что мы выносим из него, — это возвышение общечеловеческих ценностей, ценностей частной, семейной жизни каждого человека, которые решительно подняты над ценностями политическими, общественными и любыми прочими. Он всем своим глубинным смыслом, всеми господствующими в нем представлениями о добре и зле, иллюзиях и истине говорит: «Люди, мы все хорошие, давайте слышать, понимать и любить друг друга. К черту идеи декабристов! Дети, цените своих родителей, которые только и пекутся, что о вашем благополучии, создавайте и берегите счастливые семьи! Влюбленные юноши и девушки, соединяйтесь!»

Когда-то Гончаров в своей поистине великой статье о «Горе от ума» пророчески сказал, что эта комедия «все живет своей нетленной жизнью, переживет еще много эпох и все не утратит своей жизненности»⁴⁸. Собственно, это мне и хотелось подтвердить своими размышлениями о двух ее постановках. Ведь то новое и непривычное, что нашел в них зритель, не было привнесено Товстоноговым и Ефремовым, но вычитано из текста комедии, чем еще раз подтвердились ее неисчерпаемая глубина и неувядающая жизненность.

⁴⁷ Бродская Г. Софья и Александр. Портрет на фоне Репетилова // Театр. 1993. № 3. С. 41–45.

⁴⁸ А. С. Грибоедов в русской критике. М.: Гослитиздат, 1958. С. 244.

«Аз и Я» и я

«Аз и Я» — книга Олжаса Сулейменова, вышедшая в 1975 году и посвященная «Слову о полку Игореве». Она состояла из двух разнородных и слабо связанных между собой частей. Вторая часть, посвященная истории шумерского языка и попыткам установить близость его к тюркскому, не привлекла к себе заметного внимания. Зато первая, в которой автор излагал свои размышления о происхождении, содержании и смысле образов и построений «Слова», вызвала озлобленную идеологическую травлю автора, выдержанную в лучших традициях статьи «Сумбур вместо музыки» и доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград».

В очередной раз выявился тоталитарный характер советской власти, норовившей навязывать свои догмы и шаблоны во всех сферах духовной жизни, включая и историю литературы. Отношение к Рылееву и Булгарину, к Чернышевскому и Дружинину, Бабелю и Платонову было однозначно предопределено свыше. Обозначался круг вещей, касаться которых было не принято: религиозность Гоголя, компромисс Пушкина с самодержавием, неприязнь Достоевского к социалистам и т. п.

Разумеется, такое национальное достояние, как «Слово о полку Игореве», находилось под неослабным надзором компетентных органов. Сулейменов не мог не понимать, что любое отступление от догматов, которыми обставлены представления о поэме, будет воспринято как крамола. Название «Аз и Я» он сопроводил ироническим подзаголовком «Книга благонамеренного читателя». Конечно, он не рассчитывал убедить кого-то в своей благонамеренности. Он предвидел обвинения, которые на него обрушатся, и наперед посмеивался над обвинителями, для которых «благонамеренность» — положительное и даже необходимое качество.

С первых строк автор вводит читателя в мир, совершенно не похожий на тот, который царил в трудах о «Слове». И дело не только в образности и раскованности слога, но и в подходе, в пафосе автора. Спор скептиков и защитников подлинности «Слова о полку Игореве», пишет Сулейменов, напоминает известный диспут Остапа Бендера и ксендзов:

- Бога нет, — сказал Остап.
- Бог есть, — сказали ксендзы.

Он подчеркивает положительную роль, сыгранную в слововедении «скептической школой», которая, несмотря на отдельные ошибки, содействовала созданию нравственной атмосферы в науке; в то время утвердился единый всеобщий взгляд на биографию «Слова»: все говорят «да», а любое отклонение от канона вызывает немедленную анафему.

Главным источником раздражения, вызванного книгой «Аз и Я», стало то, что ее автор попытался развеять героическую мифологизацию облика Игоря и затеянного им похода и восстановить в правах действительность XII века. «Прямодущный и честный Игорь», путившийся в свой «безумно смелый поход» «во имя служения Русской земле», — такой образ героя поэмы, получивший распространение в популярной и учебной литературе, как нельзя более соответствовал требованиям военно-патриотического воспитания. Понятна вся неуместность напоминаний Сулейменова о том, что Игорю приписываются чувства и мысли ему не свойственные. Его вели не патриотические чувства, а непомерное честолюбие. «Корыстолюбивый, вероломный, в воинском деле “несведомый”, нечестный по отношению и к Руси, и к Полю — вот каким характеризуют Игоря его деяния, отраженные в летописях»⁴⁹.

Конечно, темпераментно написанная книга Сулейменова оказалась не свободна от неточностей и передержек. Но, если бы дело было только в этом, все ограничилось бы появлением двух-трех рецензий, пусть включавших какие-то возражения, но написанных с должной мерой почтения к репутации известного поэта, лауреата казахских и всесоюзных премий. Но случилось иначе. Вопрос решался не в научных или литературных, а в партийных сферах, и там книга Сулейменова была воспринята как инакомыслие. Это и определило ее судьбу.

Что это за поддержка скептиков? Зачем советскому народу культивирование скептицизма, подрыв доверия к основополагающим принципам, сложившимся в нашем обществе? Не кроется ли за этим скрытое одобрение деятельности диссидентов и прочего антисоветского отребья? Еще подозрительнее, что О. Сулейменов откровенно бросает тень на патриотические побуждения. С давних, но памятных времен, когда статьей об одной группе «антипатриотических критиков» «Правда» открыла кампанию против «безродных

⁴⁹ Сулейменов О. Аз и Я: Книга благонамеренного читателя. Алма-Ата: Жазуши, 1975. С. 95.

космополитов», патриотизм воспринимался как признак благонамеренности советского человека, составная часть морального кодекса строителя коммунизма. Так что внимание, которое привлекла к себе книга Сулейменова, было совсем не бесосновательным, расправа с ней стала органической частью тотальной борьбы с любыми проявлениями инакомыслия.

Первый удар по крамольному сочинению нанес журнал «Молодая гвардия» статьей доктора исторических наук А. Кузьмина «Точка в круге, из которой вырастает репей». Не касаясь основного содержания книги, автор сосредоточился на обвинениях ее в политической неблагонадежности, в пренебрежении ленинской методологией и вызывающем возмущение антипатриотизме. «Немец А. Шлецер, германofil русский грек М. Каченовский, француз



Олжас Сулейменов

Л. Леже и в самое последнее время проживавший во Франции А. Мазон, а также его последователь А. А. Зимин, уже в наше время бросивший вызов патриотическому “болоту”, — это почти все, что О. Сулейменов находит положительного в изучении древнерусской письменности». Но главное обвинение, предъявляемое книге, состояло в том, что ее автор, дескать, приукрашивает иудаизм, «содержание которого как раз шовинизм и потенциальный расизм: противопоставление “высшего”, “избранного народа” всем прочим “гоям”»⁵⁰.

Вслед за «Молодой гвардией» к расправе над Сулейменовым подключился журнал «Москва» статьей Ю. Селезнева «Мифы и истины». В ней те же обвинения в антипатриотизме: «Нужно сказать, что “грех патриотизма” в книге О. Сулейменова вообще представлен как самый смертный грех»⁵¹. Как и А. Кузьмин, Ю. Селезнев уличал Сулейменова в симпатиях к «сеμίтам-иудеям», но избрал при этом еще более категоричные выражения: «Соотнесенность, порою скрываема́я в полунамеках, порою совершенно явная, концепции О. Сулейменова именно с мифом

⁵⁰ Кузьмин А. Точка в круге, из которой вырастает репей // Молодая гвардия. 1975. № 12. С. 273.

⁵¹ Селезнев Ю. Мифы и истины // Москва. 1976. № 3. С. 203.

о “главном народе” и составляет “тайный” нервный узел его книги в целом»⁵².

Конечно, не все отклики на книгу Сулейменова были пронизаны столь откровенным юдофобством и так тяготели к жанру политического доноса, как отзывы А. Кузьмина и Ю. Селезнева. Рецензии Л. Дмитриева и О. Творогова «“Слово о полку Игореве” в интерпретации О. Сулейменова»⁵³ и Д. С. Лихачева «Гипотезы или фантазии в истолковании темных мест “Слова о полку Игореве”» хотя и содержат многочисленные возражения против отдельных прочтений и толкований Сулейменова, но выдержаны в академическом тоне. Правда, и здесь ощущается некоторая предвзятость. Когда рецензенты чувствовали себя не в силах опровергнуть те или иные утверждения, содержащиеся в книге, они обходили их молчанием. Ограничусь одним примером. Сулейменов берет под сомнение традиционный перевод последней фразы поэмы: «Мусин-Пушкин расчленил последнюю фразу “Слова о полку Игореве” так: “Князем слава и дружине! Конец”. Эта разбивка и перевод приняты всеми следующими переводчиками»⁵⁴. На многочисленных примерах Сулейменов показывает, что союзы «и» и «а» в «Слове» четко разделяются. Союз «и» встречается в «памятнике» 88 раз, «а» — 55, и они нигде не заменяют друг друга. «Нет никаких грамматических и исторических оснований подозревать, что писатель вдруг применяет союз “а” в качестве сочинительного, противореча грамматики всего текста... Почему не признают знаменитое “а” противительным союзом? Потому что получается фраза шокирующая: “Князьям — слава, а дружине — аминь”»⁵⁵.

Что думают по этому поводу маститые специалисты по «Слову», неизвестно. «Мы прерываем перечень примеров, ибо и приведенных достаточно, чтобы познакомиться с методом работы О. Сулейменова...» — пишут Л. Дмитриев и О. Творогов. «Я лишен возможности даже в сотой доле перечислить все исторические фантазии О. Сулейменова...» — говорит Д. С. Лихачев. К сожалению, остается впечатление, что разбор этого и некоторых других

⁵² Там же. С. 207.

⁵³ *Дмитриев Л., Творогов О.* «Слово о полку Игореве» в интерпретации О. Сулейменова // Русская литература. 1976. № 1. С. 251–258.

⁵⁴ *Сулейменов О.* Аз и Я: Книга благонамеренного читателя. Алма-Ата: Жазуши, 1975. С. 135.

⁵⁵ Там же. С. 136.

положений книги остались без ответа не из-за недостатка места. Похоже, что контрдоводов не нашлось, а признавать правоту автора не хотелось.

Как стало известно впоследствии, погромные рецензии в центральных журналах должны были стать лишь началом расправы с автором. Готовилось обсуждение книги в ЦК КПСС силами трех отделов: науки, культуры, пропаганды и агитации, — сулившее самые неприятные последствия. Но влиятельному Д. А. Кунаеву удалось добиться, чтобы всесоюзную травлю прекратили; дело ограничилось постановлением Бюро ЦК КП Казахстана, публикация которого в «Казахстанской правде», по личному требованию М. А. Суслова, сопровождалась покаянным письмом автора.

Господи, сколько ассоциаций вызывает это письмо! Отмежевание от своих произведений на протяжении десятилетий советской власти стало такой неотъемлемой частью творческой жизни в нашей стране, что дало Ильфу и Петрову тему блестящего фельетона «Идеологическая пеня», содержащего инструкции по отмежеванию во всех видах культурной деятельности. Тем, кто «нашкодил в стихах», предлагался образец поэтического отмежевания:

Спешу признать с улыбкой
хмурой
Мой
сборничек
«Котлы и трубы»
Приспособленческой халтурой,
Отлакированной
и грубой⁵⁶.

И Сулейменов перечислял свои грехи: необоснованные выводы, ошибочные утверждения, недостаточная аргументация, несдержанность в отношении научных авторитетов... В 1990 году книга была переиздана. Из послесловия следовало, что покаянное письмо не только писалось под давлением, но по существу Сулейменову не принадлежало: «В газете вышел практически другой текст. Непрошенные редакторы поработали за меня. И все мои попытки выступить с опровержением закончились ничем»⁵⁷.

⁵⁶ *Ильф И., Петров Е.* Собр. соч. в 5 т. М.: Гослитиздат, 1961. Т. 3. С. 148.

⁵⁷ *Сулейменов О.* Эссе, публицистика. Стихи, Поэмы. Аз и я. Алма-Ата: Жалын, 1990. С. 586.

Подозреваю, что мой читатель уже задается вопросом: творческая история книги «Аз и Я» — это, допустим, интересно. Но при чем здесь Фризман, и почему рассказ обо всем этом отнесен к мемуарным очеркам? Попробую объяснить.

Меня познакомил с Олжасом Омаровичем, с которым мы, насколько я помню, ни в одной беседе не назвали друг друга по отчеству, близкий нам обоим замечательный человек — поэт, литературовед, педагог, переводчик Александр Лазаревич Жовтис. Как переводчик корейской классической поэзии он не знал себе равных. С Жовтисом я сблизился благодаря Ефиму Григорьевичу Эткинду. Жовтис был диссидентом значительно более «настоящим», чем я. У него и обыски бывали, и изъятия запретной литературы. Когда Эткинд был в эмиграции, я не сумел наладить с ним переписку, а Жовтис сумел. У меня сложились с Жовтисом не просто близкие, но разносторонне близкие отношения. Мы оба занимались изучением авторской песни и встречались на конференциях в Доме Высоцкого на Таганке, с его подачи я печатался в алма-атинском журнале «Простор» и читал спецкурс в алма-атинском университете. Не знаю, довелось ли Сулейменову учиться у Жовтиса, но он смотрел на него как на учителя и, несомненно, какую-то часть этого пиетета перенес и на меня.

Тогда я и получил в подарок книгу «Аз и Я» с такой надписью:

*Фризмону Леониду Генриховичу
от (вовсе не раскаявшегося)
автора.*

Олж. Сулейменов.

75–88

Цифры эти обозначали год издания крамольной книги и год, когда она была мне подарена. Те, кто помнят то время, подтвердят, что оно было в каком-то смысле переходным. Гласность уже вступала в свои права: появлялись в печати запретные прежде имена, начали тонкой струйкой возвращаться домой казавшиеся «невозвратными» эмигранты. Но вряд ли кто предвидел события недалекого будущего: первые в истории СССР действительно свободные выборы, появление так называемой Межрегиональной депутатской группы — первого открытого оппозиционного объединения в советской истории, заседания Съезда народных депутатов, за которыми с замирающими сердцами следила, примкнув к экранам телевизоров, вся страна.

Когда в 1987–1988 годах я начал выступать с лекциями о Галиче, это привлекло к себе внимание так называемого первого отдела

в моем институте, но расправиться со мной не успели: события развивались быстро, уже в 1990 году была написана моя книга об этом поэте, и я искал (и нашел!) издателя для нее. Именно тогда, получив в подарок «Аз и Я», я написал статью «Книга О. Сулейменова “Аз и Я” под огнем идеологической критики», которую напечатал в «Ученых записках» нашего университета, где я был главным редактором и полным хозяином.

Экземпляр журнала с этой статьей, которая стала первым появившимся в печати материалом подобного рода, я, разумеется, послал Сулейменову и получил от него такое письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!

Очень порадовали Ваши письмо и статья. «Аз и Я» за 25 лет после опубликования (юбилей!), как Вы знаете, удостоилась и погромных статей, и годов умолчания. И, читая первый за многие годы серьезный отзыв, я, конечно, как любой **понятый** автор испытываю кроме радости и чувство благодарности, которое и пытаюсь выразить.

Вы пишете, что не считаете себя специалистом «в истории древнерусского и тем более тюркских языков», но я, проштудировав сотни работ по «Слову» (и славистов, и тюркологов), давно уже стал понимать, что «компетентность» и «специалист» — понятия, не всегда совместимые. И писал книгу для просвещенного читателя, который в ладах с логикой и может отличить здоровое от явной глупости, с чем академики в своих трудах часто не справлялись (13 февраля 1976 года на закрытом заседании Отделения общественных наук АН СССР обсуждали 46 академиков, членкоров и несколько «рядовых докторов». Открыл заседание академик Б. А. Рыбаков словами: «В Казахстане вышла яростно антирусская книга!». Этот камертон определил тональность обсуждения, которое длилось весь рабочий день без перерыва. В таком азарте они находились).

Я надеюсь в этом году найти время поработать над «юбилейным» переизданием книги, вернее, ее первой части, посвященной «Слову», пополнив новыми статьями. В послесловие хочу включить ряд отзывов — не только отрицательных, но и поддерживающих. В том числе — письма К. Симонова, Э. Межелайтиса и выдержки из Вашей статьи, если разрешите.

Еще раз спасибо.

Крепко жму руку.

Ваш О. Сулейменов

Издание, которое планировал Сулейменов, не состоялось, но я, вдохновленный успехом, изготовил значительно расширенный и усовершенствованный вариант своей статьи, который напечатал в самом авторитетном, на мой взгляд, литературоведческом журнале России — в «Новом литературном обозрении». Назвал я ее «Возмутитель спокойствия» (это заглавие с детства мной любимого романа Леонида Соловьева о Ходже Насреддине), а прежнее название превратил в подзаголовок.

Александр Лазаревич умер в 1999 году, а Олжас Сулейменов после обретения Казахстаном независимости был назначен послом этого государства в Италии. Я до тех пор в Италии никогда не был и решил поехать туда туристом, но так, чтобы с ним увидеться. Это оказалось непросто. Как показали мои многочисленные телефонные звонки в казахское посольство, он появлялся в Риме нечасто и проводил там мало времени. Но я добился своего: сговорился о взаимоприемлемом сроке, подогнал к этому свою поездку, и наше общение состоялось. Было оно непродолжительным, мы, в сущности, лишь наметили некоторые планы дальнейшего сотрудничества. Я обещал приехать через год и уже не разъезжать по Венециям-Флоренциям, а все время провести в Риме и сделать задуманную нами работу. Но... Как говорит пословица, человек предполагает, а Бог располагает. Буквально через несколько месяцев Сулейменов был переведен в Париж, где стал представителем Казахстана в ЮНЕСКО. Я же во время моих поездок в Париж не пытался с ним увидеться. В отличие от пребывания в Италии у меня было там больше дел, чем времени, и приходилось отдавать себя только самому необходимому. Но Олжас, с его острым умом, бунтарским норовом, пылким темпераментом истинного южанина и несомненным обаянием, живет и будет жить в моей памяти.

Норвежский исследователь русской литературы



Гейр Хетсо

Для меня Гейр Хетсо — не только профессор университета в Осло и один из наиболее значительных и плодотворных норвежских славистов второй половины XX века. Волею судьбы он оказался вписан в мою собственную научную биографию. Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что главный вклад, внесенный им в науку, определяется многолетним, целеустремленным и весьма результативным изучением биографии и творчества Баратынского. Не подлежит сомнению, что ни один литературовед, живший и работавший на Западе, не может сравниться с ним в этом отно-

шении. Его объемная монография, вышедшая в Осло в 1973 году, вызвала появление десятков рецензий во всем мире. Прославленный ею, а также большим количеством статей, появившихся в разных странах, и докладов на научных форумах, он объездил весь мир и снискал себе значительный авторитет.

Жизнь сложилась так, что Хетсо и ваш покорный слуга занимались Баратынским в одно и то же время: я готовился к своей защите в Союзе тогда же, когда он — в Норвегии. К тому же мы были почти сверстниками: я старше его всего на два года. А узнали мы о существовании друг друга и, так сказать, заочно познакомились благодаря Кириллу Васильевичу Пигареву, в котором оба длительное время видели своего учителя. Никто, занимаясь Баратынским, не мог обойтись без обращений в Мурановский музей, директором которого был Пигарев, от него я узнал о Хетсо, а Хетсо — обо мне. По просьбе Пигарева я послал Хетсо мою книгу о Баратынском, и его ответ положил начало интенсивной переписке, длившейся почти десять лет.

Поскольку я уже понаторел в теме и готовился к кандидатской защите, когда он только делал первые шаги и входил в материал, он поначалу смотрел на меня чуточку снизу вверх. Но это быстро прошло, и наше сотрудничество и эпистолярное общение происходило вполне на равных. Положа руку на сердце, могу сказать, что

если мне многие помогали, то в отношениях с Хетсо помогающим был я. Вся его докторская диссертация прошла через мою квартиру: он слал мне ее частями, я ее правил и возвращал ему. Он это очень ценил и, благодаря в предисловии к своей монографии русских коллег, выделил меня из всех. Я откликнулся на эту монографию рецензией в «Вопросах литературы». Позднее наши контакты ослабели, но в 1995 году он прислал статью в сборник, выпущенный в честь моего 60-летия, а еще через пять лет мы встретились в Москве на конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Баратынского.

Я не стремлюсь углубляться в детали нашей переписки, но хотел бы на нескольких примерах передать ее тональность и тем самым дать представление о незаурядной личности моего корреспондента. Читая мою книгу, он вникал в детали и откровенно, не сдерживая эмоций, говорил и о том, с чем согласен, и о том, что вызывает у него возражения. Многие его письма пестрят выражениями: «Ваша книга вызвала у меня много мыслей», «Повторяю, что я нашел Вашу книгу очень интересной. С нетерпением буду ждать новых работ из-под Вашего пера», «Очень хотелось бы побольше узнать о Вашей работе!», «Очень рад, что мы пришли к одному мнению относительно слова “толпа”. Я этого не ожидал. Вот видите, какие у нас предрассудки о советских литературоведах...».

Вот начало письма от 7 октября 1966 года: «Здравствуйте, дорогой Леонид Генрихович! Большое, сердечное Вам спасибо за любезное письмо! Не могу выразить тех чувств, которые я испытал при получении Вашего письма. Скажу только, что я Вам очень благодарен. Пока не получил Вашей библиографии, но уверен, что она принесет мне большую пользу. Просто удивительно, что Вам удалось зарегистрировать свыше 330 писем. Я знаю только около 230! Вот видите разницу между мной и Вами! Конечно, было бы очень хорошо получить перечень известных Вам неопубликованных писем. Попробую заказать микрофильм, боюсь только, что это не так-то легко из Норвегии. Вы знаете выражение Маяковского: “Я волком бы выгрыз бюрократизм...” Попробую!» Сообщая мне о своем намерении прислать отзыв на автореферат моей диссертации, он тоже использовал выражение Маяковского: «Буду делать хорошо и не буду плохо».

В отличие от меня, Хетсо исходил те места в Финляндии, куда был сослан Баратынский, и установил отличия его описаний

финской природы от изображаемых реалий. «Примечательны его гиперболы в “Эдде”, — писал он мне. — В той части Финляндии, где жил Баратынский, нет горы выше ста метров». Он обоснованно предполагал, что «скалы» появились в его поэме под влиянием Оссиана. Установив, что Эдда — не финское имя, он стремился разгадать его происхождение с такой заинтересованностью, какой не проявлял до него ни один исследователь поэта.

С горячностью, которая ему вообще была свойственна (по крайней мере, в годы нашей переписки), он пытался втянуть меня в публичную дискуссию о том, как надо правильно писать: Баратынский или Боратынский. Меня всю жизнь донимали этими вопросами, и спорить на эту тему мне было скучно. Да, правильно — «Бор». Но с таким же успехом можно утверждать, что правильно писать «Бельнский», ибо именно такова была фамилия Григория Никифоровича, отца критика, происходившая от названия деревни Бельнь. Важно то, что написание «Бар» прижилось, стало преобладающим, а разноречие порождает только неудобства. Мои друзья — В. Э. Вацура, А. Л. Гришунин, Г. П. Макогоненко, С. А. Рейсер, Г. М. Фридлендер, А. В. Чичерин — смеялись над теми, кто возводил эту ерунду на уровень принципиальной проблемы.

Надо сказать, что хотя разногласия у нас возникали нередко, моими письмами Хетсо очень дорожил. Постоянно повторяются слова: «Вообще жду не дождусь Вашего письма!», «Жду не дождусь Вашего ответа, Леонид Генрихович!», «Мне очень приятно получать Ваши интересные письма», «Ваши письма для меня необходимость», «Надеюсь на интересную переписку в 1967 году», «Надеюсь, что наша переписка будет еще интереснее в 1968-м», «Очень рад, что наша переписка продолжается» и т. п.

В своей переписке мы не касались политических вопросов, но, когда случилось их затронуть, взаимопонимание было полным. Незадолго до советского вторжения в Чехословакию в Праге проходил съезд славистов, а 13 сентября, через три недели после этих трагических событий, в его письме мелькнула фраза: «Вы правы, я действительно вернулся из Праги с массой впечатлений, но теперь немножко грустно вспоминать об этом». Так можно было написать, только ощущая в адресате полного единомышленника. Он выхлопотал мне приглашение в свой университет и прислал ксерокопию страницы журнала со списком, в котором фигурировало и мое имя. Для меня изначально не подлежало сомнению, что

мне, беспартийному еврею, такой командировки не видать, как своих ушей. Но и он понял причины этого без всяких дополнительных разъяснений.

В 60-х годах Баратынский был преимущественным предметом научных занятий Хетсо, но в дальнейшем область его исследовательских интересов существенно расширилась. На протяжении многих лет, в том числе и в годы нашего активного общения, он занимался переводом на норвежский язык произведений русских классиков. Живо помню, как меня порадовало его сообщение о том, что в число его переводов попал очерк Горького о Толстом. В моих глазах этот очерк принадлежит не только к лучшему, что написал Горький, но и к лучшему, что было написано о Толстом.

В 1988 году, когда духовные произведения Гоголя еще не были в чести у советской власти, Хетсо напечатал в журнале «Scando Slavica» (т. 34) статью «Гоголь как учитель жизни. Новые материалы». В ряду этих новых материалов было впервые опубликовано произведение Гоголя «Правило жития в мире», которое, по мнению публикатора, еще раз подтверждает мысль о том, что Гоголь, возможно, единственный из русских писателей, который достиг в себе кристально чистой глубины Божественного слова, состоялся именно как великий духовный писатель.

Еще до этого, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Чехова, Хетсо опубликовал обширную работу «Драматургия Чехова. Ее развитие и своеобразие», которая не только стимулировала постановки чеховских пьес в норвежских театрах, но и нашла последователей в лице многих норвежских славистов 60–70-х годах. Сам же ее автор не утрачивал интереса к Чехову на протяжении всей своей более чем сорокалетней научной деятельности.

Уже в 60–70-х годах Хетсо увлекся применением в литературоведении математических методов, и постепенно оно стало едва ли не главной областью его научных интересов. Он советовался со мной о том, для решения каких литературоведческих задач такие методы могли бы быть использованы. Поскольку мне это направление всегда было чуждо и малоинтересно, ничего путного из нашего общения не вышло, но я, конечно, был в курсе того, что он делает.

Одним из первых опытов в этом направлении была его статья «Лексика стихотворений Лермонтова. Опыт количественного анализа», оттиск которой он мне прислал. Я был постоянным участником Лермонтовских конференций, и он считал меня значимой

фигурой в лермонтоведении. Но дать авторитетную оценку этому его труду я, к сожалению, не мог.

Хетсо многократно пытался на основе частотных словарей лексики и измерения длин предложений атрибутировать Достоевскому ряд статей, авторство которых не было установлено. Занимался он этим настойчиво и страстно, итоги занятий воплотились в книгу «Принадлежность Достоевскому: К вопросу об атрибуции Ф. М. Достоевскому анонимных статей в журналах “Время” и “Эпоха”», вышедшую в Осло в 1986 году. Но у нас она была воспринята скептически. Г. М. Фридлендер, исполнявший обязанности главного редактора академического Достоевского, все полученные Хетсо результаты категорически отверг.

Вообще отношения между этими двумя людьми не сложились, и, поскольку я был близок с обоими, меня это огорчало, и я всеми силами, но без заметного успеха, пытался их наладить. По моей просьбе Хетсо посылал Фридлендеру свои работы, постоянно подчеркивая, что делает это лишь из уважения ко мне, а сам Фридлендер ему несимпатичен по причине своего высокомерия, которого я, со своей стороны, никогда в этом человеке не замечал. Но после того как Фридлендер отверг и даже высмеял его статистические методы атрибуции статей Достоевскому, ни о каком сотрудничестве между ними, понятно, не могло быть и речи.

Намного более благоприятный прием встретили попытки Хетсо с использованием той же методики доказать, что Шолохов действительно был автором первой книги «Тихого Дона». Он ездил в Вешенское, общался с Шолоховым, который его, естественно, всячески обласкал. Но вот деталь, показательная для нравов советского времени. Журнал «Известия АН СССР. Серия литературы и языка» отказался печатать его статью, хотя ее содержание и выводы, к которым приходил автор, вполне соответствовали официальной позиции. Считалось, что крамольна сама постановка вопроса: раз приводятся доводы в пользу авторства Шолохова, значит, оно может быть подвергнуто сомнению, а уже это недопустимо. И только на Дону, где Шолохов был царь и бог, какой-то местный журнальчик напечатал эту работу, да еще украшенную иллюстрацией, на которой Хетсо и Шолохов красовались чуть ли не в обнимку.

Но вернемся к Чехову. В 2004 году, к 100-летию со дня смерти писателя, в Осло вышла книга Хетсо «Антон Чехов. Жизнь и творчество», довольно объемная (408 стр. Страницы этой книги

в дальнейшем указаны в тексте) и, в отличие от предыдущей, посвященной только драматургии, содержащая общую характеристику жизненного и творческого пути писателя. Как это нередко бывало у Хетсо, написанию книги предшествовали переводы на русский язык таких чеховских рассказов, как «Дама с собачкой», «Анюта», «Дуэль», «Три года». Отношение автора книги к ее герою, стремление сделать его как можно более близким норвежскому читателю проявилось уже в богатстве и любовном отборе иллюстративного материала: свыше ста фотографий, копий картин, портретов, рисунков, сценических изображений, связанных с жизнью и творчеством Чехова. Здесь и портреты Чехова разных лет, и семейные фотографии, и места, в которых жил Чехов (Таганрог, Москва, Петербург, Мелихово, Ялта, Ницца, Баденвейлер), титульный лист первого издания «Остров Сахалин», фотографии заключенных на Сахалине, сцена из постановки пьесы «Иванов» в Париже в 1923 году, афиша премьеры «Иванова» в 1887 году, иллюстрации к «Хамелеону» и «Ионычу» Н. Вышеславцева, рисунки Кукрыниксов к «Даме с собачкой», картина «Москва. Кремль» А. М. Васнецова, иллюстрация И. Репина к рассказу «Мужики», сцены постановок чеховских пьес во МХАТе, в Национальном театре в Осло («Дядя Ваня», 1977) и в Норвежском театре («Вишневый сад», 1979). Поставив перед собой задачу «изобразить жизнь писателя и показать развитие в его творчестве» (с. 8), автор реализует ее решение в десяти главах: «Детство и юность», «Москвич и дебютант», «Остров заключенных Сахалин», «Мелихово», «Рассказы 90-х годов», «“Чайка” и “Дядя Ваня”», «Ялта», «“Три сестры” и “Вишневый сад”», «Вера, надежда и любовь», «Последний путь», среди которых предпоследней главе отведена особая роль: ключевое слово в ее названии — «вера». Здесь автор стремится разобраться в проблеме религиозности Чехова, подкрепляя все «за» и «против» анализом собственно чеховских высказываний и таких произведений, как «Архиерей», «Невеста», «Дама с собачкой», а также суждений Солженицына и Булгакова.

Как и в других книгах Хетсо, обращает на себя внимание обилие собранного материала, в том числе архивного, стремление и умение анализировать факты жизненного пути в органичной слитности с фактами творчества. «Остров Сахалин» рассмотрен в ряду «русских репортажей о тюрьмах», начиная с «Записок из мертвого дома» Достоевского и заканчивая книгами Солженицына «Один

день Ивана Денисовича» и «Архипелаг Гулаг». «По праву социологические описания Сахалина Чехова стали рассматривать как предшественника лагерных текстов Солженицына» (с. 114), — утверждает автор.

Как это обычно бывает у Хетсо, монография снабжена тщательно подготовленным научным аппаратом. Помимо обычных: указателя имен и произведений Чехова, — мы находим и указатель переводов Чехова на норвежский язык, а библиография на русском и иностранных языках доведена до 2002 года. Мы узнаем, что первые рассказы Чехова были переведены в Норвегии уже в 1894 году, и с тех пор они постоянно переводятся; много публикаций появилось в 60-е и 70-е годы. В 2000 году вышла антология «Короткие тексты», куда включены также чеховские рассказы. Есть разные переводы «Вишневого сада»: А. Шауман (1971) и К. Хельгхейм (1985), «Трех сестер»: Карл Ф. Энгельстад (1967) и К. Хельгейм (1980).

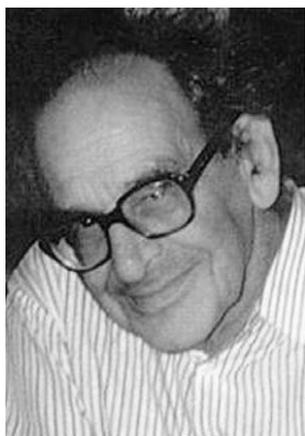
Монографии о Чехове суждено было стать последней значительной вехой в творческой биографии ученого. В последующие годы Хетсо тяжело болел, и свойственная ему научная продуктивность заметно иссякла. Он перестал отвечать на мои письма, чего раньше никогда не бывало. Гейр Хетсо умер 2 июня 2008 года, в день, когда ему исполнился 71 год. Я никогда не был на его могиле, но память о нем во мне жива.

Влюбленность

Как я уже говорил, очерки, вошедшие в эту книгу, написаны о хороших людях. Негодяи, встречавшиеся на моем пути в более чем достаточном количестве, в нее не допущены. Они появляются в ней минимально и, как правило, без указания имен. Они для меня порою животных, индивидуальные свойства отдельных особей мне не интересны, и я не собираюсь в них копаться. Я пишу о людях близких и очень близких, о дорогих и очень дорогих, о тех, кто мне помогал и очень помогал. Эти очерки вдохновлены добрыми и благодарными чувствами ко всем, о ком в них говорится.

Но лишь один из них пробуждает во мне стремление признать, что он вызывал во мне чувство, которое я в состоянии выразить лишь словом «влюбленность». Это Ефим Григорьевич Эткинд. Меня познакомила с ним известная переводчица с французского Александра Львовна Андрес, женщина редкого ума и чутья, дружба с которой перешла ко мне, можно сказать, по наследству. Мой дед и ее отец были самыми популярными врачами, практиковавшими в Харькове до революции, и мне не раз доводилось видеть рядом в газете «Южный край» объявления доктора Андреса и доктора Фризмана. Думаю, что, если бы не она, мы бы с Эткиндром все равно пересеклись: слишком много моих дорог вело к нему. Но благодаря ей наши с ним отношения стали доверительными с первых встреч. Сыграли, вероятно, свою роль и такие качества Ефима Григорьевича, как острый ум, проницательность и мгновенная ориентация в людях.

Началось с того, что я отдал в сборник «Мастерство перевода» свою статью «Прозаические автопереводы Баратынского». Это была первая попытка анализа материала, которого до меня и, насколько я знаю, после меня не касалась рука человека. Дело в том, что Баратынский во время предсмертной поездки в Париж по просьбе общавшихся с ним французских литераторов перевел прозой два десятка своих стихотворений. Как известно, во французской литературе прозаический перевод стихов — это правило, а стихотворный рассматривается как исключение. Поскольку при автопереводе граница между переводом и переделкой стирается, эти произведения представляли собой интереснейший материал, до анализа которого почему-то ни у кого не доходили руки.



Е. Г. Эткинд

Как раз тогда Александра Львовна передала Эткинду мою книгу о Баратынском, которую я подарил ему, и в первом письме, полученном от него, были две темы: книга и статья.

Глубокоуважаемый Леонид Генрихович,

прежде всего — большое и самое сердечное Вам спасибо за Вашу прекрасную книгу о Баратынском, которая, по-моему, первое серьезное и глубокое слово об этом великом поэте. Мне бы очень хотелось познакомиться с Вами и подробнее поговорить — многие из Ваших идей мне близки и очень привлекают своей современностью. Не говоря уже о том, что Ваша книга написана точно, ярко — и с какой-то особенной щеголеватой скромностью.

Ваша статья об автопереводах Баратынского обсуждалась на заседании редколлегии «Мастерства перевода», и было решено ее печатать. Только вот о чем мы хотели Вас просить.

В таком виде она — для другого издания. При переводе **из** стихов **в** прозу Б. меняет форму своих вещей, и при этом сказывается понимание им различий между законами этих двух разных словесных искусств. Вот на этой идее и надо бы построить статью. Дело для нас не именно в Баратынском, а в интереснейшей теоретической проблеме, которая Вами не развернута, — Вы же имели в виду другой тип издания. Интересует ли Вас такой поворот темы? Если да, то размер статьи может быть доведен до 0,75–1 листа, и чем скорее Вы ее завершите, тем лучше. Нам бы нужно ее иметь примерно к 1 декабря.

Пожалуйста, напишите, принимаете ли Вы мое предложение. Сердечно приветствую Вас.

Ваш Е. Эткинд

Разумеется, я выполнил все его рекомендации, и вскоре статья была напечатана. С этого времени я стал постоянным гостем в уютной квартирке Эткинды на улице Александра Невского. Я жадно пользовался каждой возможностью его увидеть и каждой мину-

той, проведенной в его обществе. Однажды, когда мы беседовали в кабинете, его жена Екатерина Федоровна пригласила нас обедать. Я, как на грех, перед приходом к нему поел и был совершенно сыт. Но мне так не хотелось прерывать наше общение, что я перешел в кухню и сел за стол. Конечно, я насилу поклеивал предложенные мне блюда. Под конец Екатерина Федоровна сказала мне: «Ну и плохой же вы едок!» Ефим Григорьевич отозвался: «Зато хороший человек. Так часто бывает наоборот...»

Эткинд был безумно занятым человеком. О нем говорили: его беда в том, что он берет на себя в десять раз больше, чем он может, а может он только в пять раз больше. Поэтому трудно оценить по достоинству его постоянную готовность читать мои статьи и делиться своими замечаниями, которые всегда были прицельно точны, конкретны и конструктивны. Читал он и мою «Иронию истории», и это нас еще более сблизило, потому что почти в том же 1968 году он сам вызвал скандал не менее, а скорее еще более громкий, чем я.

Он подготовил для «Библиотеки поэта» двухтомник «Мастера русского стихотворного перевода», куда впервые после многих лет умалчивания были включены Гумилев и Ходасевич. А в его вступительной статье была такая фраза о причинах расцвета советского перевода в 30–50-х годах: «Лишенные возможности до конца высказать себя в оригинальном творчестве, русские поэты стали плодотворно трудиться в переводческой области». Когда весь 25-тысячный тираж был уже напечатан, в партийные инстанции поступил донос, и произошло в точности то же, что с «Новым миром» из-за моей «Иронии истории»: весь тираж пустили под нож.

Были опасения, что «Библиотека поэта» вообще прекратит свое существование; их разделял и сам Эткинд, сказавший мне тогда, с грустью пожимая плечами: «Я торпедировал “Библиотеку поэта”». Но серию не уничтожили, а, как и в «Новом мире», снимали головы руководству. Немедленно был отстранен от должности заместитель главного редактора Б. Ф. Егоров и заменен И. Г. Ямпольским, а через несколько месяцев потерял свое место и бессменный многолетний главный редактор В. Н. Орлов. Двухтомник перепечатали, криминальную фразу исправили, нежелательных поэтов исключили.

Во время очередного визита на улицу Александра Невского этот «исправленный» двухтомник был мне подарен. Держу его в руках и перечитываю надпись, сделанную на первом томе:

Дорогому Леониду Генриховичу Фризману с надеждой на лучшее будущее, несмотря на иронию истории.

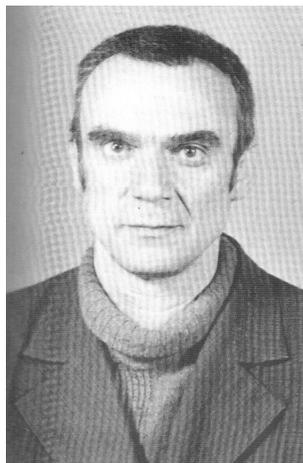
Е. Эткинд
8 января 69, Ленинград

Я тогда еще не все знал. Я помнил, конечно, о том, как в ходе суда над Бродским, осужденным «за тунеядство», Эткинд и привлеченный им Владимир Григорьевич Адмони выступали в качестве экспертов и стремились отвести эти обвинения и спасти молодого поэта. Через моих «новомирских» друзей до меня доходили слухи о связях Эткинда с Солженицыным и о помощи, которую он оказывал писателю в хранении будущей книги «Архипелаг ГУЛАГ». Кроме того, Александра Львовна рассказала, что во время обыска у какого-то неизвестного ей человека кагэбэшники изъяли самиздатский пятитомник сочинений Бродского с предисловием, которое читал и на котором оставил свои пометы Эткинд. Пометы были следующего рода. Автор писал: «...при нашем полуфашистском строе»; Эткинд спрашивал на полях: «Почему ПОЛУ?».

Последняя история эта, к слову, получила неожиданное продолжение спустя годы. Автор злополучного предисловия, молодой историк Михаил Хейфец, был в 1974 году приговорен к шести годам лагерей и ссылок. Отбывая срок в лагере строгого режима, он сочинил и передал на волю (а далее в Париж) две свои книги, получившие высокую оценку Солженицына, который писал Хейфецу: «Я всегда внимательно читаю Вас и желаю Вам литературных успехов <...> Я рад, что Вы так ярко описываете современный ГУЛАГ, — да не угаснет эта память вовеки!»⁵⁸ После отсидки в лагерях Хейфец эмигрировал в Израиль, стал там уважаемым профессором и в качестве такового приехал в Харьков, да не просто в Харьков, а в Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, где работал ваш покорный слуга. Наш ректор И. Ф. Прокопенко распорядился устроить ему встречу со студентами и проводить эту встречу поручил... МНЕ! Резоны этого выбора мне никто не объяснял, но, видимо, он счел, что раз гость из Израиля, то ему будет сподручнее общаться с евреем, а других евреев в поле зрения не нашлось. Представьте себе, какие чувства испытали мы оба, когда выяснилось, что мы, так сказать,

⁵⁸ Цит. по: *Хейфец М.* Путешествие из Дубровлага в Ермак. Харьков: Фолгио, 2000. С. 2.

«братья по Эткинду»: Эткинд рассказывал мне о Хейфеце, а Хейфецу — обо мне. Естественно, Миша (мы моментально вывели из употребления наши отчества) побывал у меня дома и подарил три томика своих мемуаров: «Место и время», «Путешествие из Добровлага в Ермак» и «Украинские силуэты». Поскольку так получилось, что темы разговоров определял я, говорили мы преимущественно об Эткинде. Миша рассказывал о визите нашего общего друга в Израиль, о прочитанной им блестящей лекции о «Реквиеме» Ахматовой, о том, как пришла весть о смерти его жены Екатерины Зворыкиной, о его втором, более продолжительном пребывании в Израиле, когда он прочел там курс лекций по русской поэзии Серебряного века. Запомнилась Мишина фраза: «Я аккуратно посещал курс и оценил блеск его преподавательской мощи...»



Михаил Хейфец

Вернусь к событиям, предшествовавшим расправе властей с Эткиндом, срок которой неумолимо близился. При всей своей занятости, при обилии обязательств, которые он на себя брал, да и неприятностей, которые на него валом валялись, он постоянно помнил о моих проблемах и предлагал свое участие в их решении. Я не мог устроиться в Харькове на работу по специальности — он выспрашивал своих знакомых в разных городах, куда меня могли бы пригласить. Я изыскивал возможность публикации переводов сонетов Шекспира, сделанных Финкелем, — он добавлял к своему письму такой постскрипtum: «Не пришлете ли Вы мне копию **всех** сонетов Шекспира Финкеля. Я им тоже могу дать ход — напр., в устном альманахе “Впервые на русском языке”». Не одобряя моих намерений сделать предметом своей научной работы литературное мастерство Маркса и Энгельса, он тем не менее интересовался моими отношениями с Институтом марксизма.

Приведу еще одно письмо Эткинда, полученное позднее. Я тогда готовил для издания в серии «Литературные памятники» книгу Рылеева «Думы», мне удалось найти несколько новых текстов, в частности окончательную редакцию думы «Видение Анны Иоановны».

Дорогой Леонид Генрихович,

я Вам не писал, чтобы уже это письмо с Вами не разошлось, а теперь Вы наверняка в Харькове. Поздравляю Вас с интереснейшими находками в связи с Рылеевым — какой Вы удивительный молодец! Спасибо Вам и за оттиск, и за известие о рецензии Ю. В. Манна (который заочно мне очень симпатичен — я совсем с ним не знаком). Что именно Вы загнули «Юности»?

Тут жара — невыносимая. Амур же ледяной, и купаться можно, только желая ставить рекорды. Что я и делаю, хоть и страдаю: пока доберемся до него по зною...

Простите, что в Москве я так худо реагировал на Ваш звонок. Потом у меня были угрызения совести. Но поверьте в уважительность моих причин.

Неизменно Вам преданный,
Е. Эткинд

Небольшой комментарий к вопросу Эткинда о том, что именно я «загнал» «Юности». Работая над «Думами», я наткнулся на дело харьковского студента Владимира Розальона-Сошальского, который после разгрома восстания декабристов продолжал писать и распространять произведения «зловредного содержания», за что был арестован и покаран. Этот сюжет уже освещался в литературе, но мне удалось разыскать в фондах Третьего отделения подлинное дело, отражавшее участие в нем Бенкендорфа и присутствие на допросах Николая I, что позволило дополнить прежде известное кое-какими юридическими и психологическими деталями. Я написал о нем очерк, который так и назвал «Обычное дело», и отправил его в «Юность». Там материал попал к В. Ф. Огневу, который его поначалу горячо одобрил, но потом прислал такое письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!

К сожалению, письмо мое огорчит Вас. Долго-долго готовил я Ваш очерк к «беспроигрышному», 12-му номеру «Юности», заявил заранее, сдал, получил все визы, но Б. Н. Полевой, сказав, что «прочитал с удовольствием», снял статью. Мотивы даже в письме высказать не могу. Как-нибудь при встрече.

Я говорил с ЛГ, «Неделей» и «Новым миром». Все готовы познакомиться. Но слово за Вами. Если Вы дадите добро, покажу

очерк тому, кому Вы разрешите. Все-таки я тут у редакций под боком, а яичко дорого к святому дню.

Жду Вашего решения. Весьма огорчен, что не «Юность» публикует этот отличный — во всех отношениях — очерк.

Ваш Вл. Огнев
1 октября 1975 г.

Мотивы, которые Огнев не решился высказывать в письме, у такого стреляного волка, как я, никаких сомнений не вызывали: боязнь аналогий между действиями Третьего отделения в 1820-х годах и гонениями на самиздат в 1970-х. Не то удивительно, что мой очерк бесконечно мурыжили и отвергали, а то, что, пролежав под спудом **восемь лет (!)**, он в конце концов все-таки появился в 1983 году в альманахе «Прометей».

Рассказ о роли, которую сыграл Эткинд в моей жизни, был бы не полон, если бы я не напомнил о том, что, когда я определялся с темой докторской диссертации, именно его слово, его воздействие оказали на меня решающее влияние. Подробнее речь об этом идет в другом очерке, а здесь скажу, что он неколебимо стоял на том, чтобы я писал об элегии. Он повторял вновь и вновь, словно вбивая мне это в душу: «Кому же, как не вам...» Правда, его формулировку темы я изменил существенно. Он предлагал — «История русской элегии», мой окончательный вариант стал «Русская элегия в эпоху романтизма». Меня интересовали не только элегия как жанр, но и романтизм как мироощущение. Я стремился показать соответствие жанрового своеобразия элегии мировоззренческим устоям романтизма.

И вот последнее письмо, которым Эткинд ответил на отправленную ему книгу «Жизнь лирического жанра». Поражает, как напряженно он работал, как высок был его творческий настрой, когда у него уже земля уходила из-под ног.

Дорогой Леонид Генрихович,

не обижайтесь на меня — я Вам не отвечал не по злой воле, не по небрежности или, упаси бог, неприязни, просто я не хотел писать общие слова, не прочитав внимательно книгу, а прочесть — уж простите, ради бога, — еще не успел. У меня перерыв после безмерно нагруженного I семестра, я живу вот уже месяц в Комарове и сочиняю книгу «Стихи и люди», а в это время запретил себе

всякий контакт с действительностью. Вашу книжку я вожу с собой в портфеле и читаю в поезде, но еще не кончил. Мне кажется, она прекрасна, однако подробнее — отдельно напишу. Скоро ли Вы приедете в Ленинград? Мы давно не беседовали, а есть о чем. «Стихи и люди» писать бесконечно трудно, это чужой жанр, я этого делать не умею, а когда научусь, книга будет уже окончена и испорчена навсегда.

Ваш Е. Э.
15 февраля 1974 г.

Через два месяца после того, как он отправил мне это письмо, 25 апреля 1974 года состоялось заседание Совета института, на котором он был уволен и одновременно лишен профессорского звания. «Технология» изгнания Эткинда из страны хорошо известна и описана им самим в книге «Записки незаговорщика». Его не выдворили насильно, как это сделали с Солженицыным, но предупредили, что ни одна написанная им строчка не будет напечатана и что он не проведет ни минуты в общении с какой-либо аудиторией.

Об этом, разумеется, сообщили радиостанции всего мира, и десяток европейских университетов тут же пригласили его на работу. Но принять какое-либо из этих предложений ему не разрешили. Он был вправе пересечь границу только для воссоединения с родственниками, живущими в Израиле. Поскольку никаких родственников у него там не было, КГБ нашел их сам. Как рассказала мне Александра Львовна, прощаясь с ней, он сказал, что получил приглашение «от какого-то не то Мойше, не то Маши», а улетел в Париж и работал в Сорбонне.

После прихода к власти Горбачева бывшие изгнанники, сначала понемногу, а потом все активнее стали возвращаться на родину и восстанавливать членство в творческих союзах. Как я слышал, Эткинд не вернулся полноценно, но стал бывать в Ленинграде и печататься в российских журналах. Так случилось, что в четвертом выпуске «Вопросов литературы» за 1995 год были напечатаны и его статья «Иванов и Ротшильд», и написанная мной в соавторстве с В. Кошкиным статья «Исчисление души, или Коллективный анализ как метод литературоведения».

Так я узнал, что он жив, а он — что жив я... В том, что он меня не забыл, у меня никаких сомнений нет. Но установить с ним прямой контакт мне не удалось. Письмо, которое я ему послал, он, види-

мо, не получил. И неудивительно: я ведь его отправил «на деревню дедушке». Пытался найти Александру Львовну — единственного человека, который мог мне помочь, обращался к П. Р. Заборову, видному специалисту по французской литературе, хорошо ее знавшему, но он сообщил мне о ее смерти.

По доходившим до меня сведениям, Эткинд до последних дней сохранял присущую ему энергию и творческую плодовитость. В октябре 1999 года, во время Пушкинской конференции в Париже, он сделал прекрасный доклад, был остроумен, подвижен и бодр, а в ноябре его не стало.

Позднее я прочел в мемуарах Б. Ф. Егорова скорбные строки о том, что мой кумир «умер вдали от родины» и «что дочери похоронили его урну на сельском кладбище в Бретани рядом с прахом его верной жены Екатерины Федоровны Зворыкиной, в том краю, где растут герценовские дубы, где окрестные крестьяне хотели избрать Е.Г. своим мэром...»⁵⁹.

⁵⁹ *Егоров Б. Ф.* Воспоминания. СПб.: Нестор-История, 2004. С. 364.

«...Об уме Юры Фридендера»

Во время одного нашего разговора с Эткиндо́м он сказал: «Я очень высокого мнения об уме Юры Фридендера». Сказал так неторопливо, углубленно, погруженно в себя, как не говорил ничего и никогда. Казалось, какие-то важные воспоминания всколыхнулись в нем в эту минуту. Тридцать лет моего общения с Георгием Михайловичем убедили меня, что эти слова Эткинды определяли главное в личности человека, о котором были сказаны. Он был, может быть, самым образованным из русистов современности. Когда я впервые попал в его кабинет, меня поразили его книжные полки. Гегеля, Канта, Фейербаха, Шлегеля, Декарта, Карлейля, Ортеги-и-Гассета — всех он читал на языке оригиналов.

Мы познакомились в мае 1965 года на Пушкинской конференции в Пскове. Незадолго до того он женился, и пылкая юношеская влюбленность пятидесятилетнего мужчины в свою молодую очаровательную жену и самого его делала моложе, придавала особенную трогательность и обаяние всему его облику. Хотя он был уже доктором и автором трех известных монографий, а я лишь неуверенно стучался в двери науки, он сразу ликвидировал всякую дистанцию между нами, в один из первых дней с мальчишески озорным видом уговорив удрать с заседания и погулять с ним в лесу. Он говорил безостановочно, и все, что он говорил, было так интересно, что мы увлеклись и не без труда нашли обратную дорогу.

Он не был обласкан жизнью. Полунемец-полуеврей, он вовсю вкусил прелести сталинской национальной политики. В 1942 году было обнаружено немецкое происхождение его деда, он четыре года провел в лагере и был освобожден благодаря тому, что его мать разыскала свидетельства иудейского вероисповедания Фридендеров. Позднее, когда ему удалось доказать, что он не немец, а еврей, его выслали вторично — уже как еврея.

Кандидатскую диссертацию он защитил под руководством В. В. Ги́пшиуса и навсегда сохранил пиетет к своему учителю. Уже в пору нашего регулярного общения он составил и издал сборник его избранных работ, который подарил и мне. Меня всегда восхищал его необыкновенно острый ум, пронизательный, трезвый, с ощутимой примесью здорового цинизма. Он мгновенно охватывал любую ситуацию, оценивал и прогнозировал ее исход с безошибочностью сверхсовершенного компьютера.

Когда я пытался организовать защиту своей кандидатской диссертации в Пушкинском Доме, как казалось, в самых благоприятных условиях: имея активную поддержку Лихачева, благожелательное отношение директора Базанова и ученого секретаря Вильчинского, согласие Мейлаха выступить первым оппонентом, — он не скрывал своего скепсиса: «Против вас будут Ковалев, Выходцев, Пруцков, Тимофеева, а то, что за вас буду я, Мейлах, Лидия Михайловна Лотман, так это ведь очень плохо...». Зато в ходе подготовки и после моей защиты в Харькове я получал от него постоянную поддержку. Вот письмо, посланное мне после рассылки авторефератов:

Дорогой Леонид Генрихович!

Благодарю Вас за автореферат и поздравляю со скорой защитой. Судя по автореферату, Вы кое в чем переработали и значительно дополнили свою работу. Кстати, Е. Г. Эткинд хвалил мне Вашу статью о переводах. Если Вам нужен отзыв на автореферат, напишите мне, но учтите, что **много** отзывов не нужно, — если у Вас будет два-три, то этого достаточно. Если же нет, напишите.

С приветом,
Ваш Фридлиндер

А вот прибывшее после защиты:

Дорогой Леонид Генрихович!

Сердечно поздравляю Вас и прошу передать мои поздравления Вашим родителям. Я рад, что у Вас были такие славные оппоненты (с А. В. Чичериным мы ведь дружим). Что касается Благого, то лучше было оставить его в резерве для ВАКа, но что поделаешь?

Может быть, там пройдет без дополнительного рецензирования. Жму Вашу руку и прошу **не вспоминать лихом** за то, что я не всегда говорил Вам одно приятное (я делал это только из хорошего отношения к Вам!).

Ваш Г. Фр.



Г. М. Фридлиндер

И тогда не понял, и сейчас не могу сообразить, когда это он говорил мне «не одно приятное». Если имелось в виду его предостережения относительно расстановки сил в Пушкинском Доме, то они ведь свидетельствовали о его необыкновенной проницательности.

А сейчас я приведу письмо, которое принадлежит к самым для меня дорогим из всех когда-либо мной полученных. Не будем забывать, что писалось оно в 1971 году, т. е., можно сказать, в начале моей научной деятельности. Слова, подчеркнутые в нем, я выделил жирным шрифтом, а подчеркнутое дважды — большими буквами:

Дорогой Леонид Генрихович!

Десять дней жизни моей целиком ушли на конференции о Дост. у нас и в Старой Руссе, и лишь сегодня я могу Вам написать, чтобы поздравить Вас с Вашей **превосходной** статьей об «Элегиях Некрасова». Это — прекрасная работа, почти «**КЛАССИКА**», и я Вас от всей души обнимаю и поздравляю. **Вы выдвигаетесь ею в первые ряды наших литературоведов.** Это — без преувеличения. Мне очень хотелось бы Вас видеть и поговорить с Вами лично.

И еще вопрос (без обязательности): поскольку Вам понравилась моя книга («Поэтика русского реализма». — Л. Ф.), не согласились ли бы Вы сделать мне честь и написать о ней? Мне обещал Лихачев, но вряд ли исполнит — он болен, — хотя ему книга очень нравится. Мне же хотелось бы, чтобы один раз в жизни обо мне написал не какой-нибудь Капустин или Этов, а человек действительно понимающий и преданный науке. (Писать — не значит льстить или **только** хвалить!)

Подумайте, но можете и отказаться — я не обижусь! (Хорошо бы в «Вопр. лит.» или «Н. мир»; можно и в «Филологич. науки», в общем, смотрите сами.)

Жму Вашу руку, не сердитесь на меня, **я сам чувствую неудобство моего предложения**, просто мне искренне понравилась Ваша статья, и я нашел в ней близкую своей позиции! И соблазнился...

Ваш Фридлендер
22 ноября 1971 г.

Теми же словами и тогда же отозвался обо мне и Эткинд. Как рассказала мне А.Л. Андрес, на ее замечание, что я выхожу в первые ряды наших литературоведов, он ответил: «Уже вышел».

Не могу сейчас вспомнить, что именно мне помешало, но рецензию, о которой просил Георгий Михайлович, я не написал.

Из писем, полученных мной от него в последующие годы и подтверждающих и его дружеское отношение ко мне, и высокую оценку моих книг, приведу лишь одно, полученное после появления монографии «Декабристы и русская литература».

Дорогой Леонид Генрихович!

Нина Николаевна и я сердечно благодарим Вас за Вашу книгу. Я прочел в ней пока только страницы, посвященные Пушкину, которые мне понравились. В последней части много забытых имен, так что она безусловно будет полезна. Несколько слишком «любовыми» показались мне оценки Мережковского. Но — так или иначе — я горячо Вас поздравляю и желаю новых успехов.

Я, к сожалению, чувствую свои годы и пишу все более медленно и трудно. Нина Никол. в июне (13-го) собирается защищать свою книгу о прозе Пушкина, лишь бы Лотман (он оппонент) ее не подвел. В институте по-прежнему много склок. Ограничиваюсь этим и буду рад видеть Вас в Ленинграде. Привет от А.Л. Андрес (мы в Комарове, и она сегодня долго сидела у нас).

С приветом и благодарностью,
Ваш Фридендер
10 апреля 1988 г.

По сей день не понимаю, какой смысл он вкладывал в слово «любовые» применительно к моим оценкам Мережковского. Главное, — и это отмечалось не раз — что я оказался первым, кому вообще удалось протолкнуть сквозь советскую цензуру, ослабевшую в пору горбачевской гласности, хоть что-то об этом писателе, десятилетиями находившемся под тотальным запретом.

Несколько слов о предшествующих событиях. В 1978–1979 годы Георгий Михайлович тяжело болел, у него обнаружилось отслоение сетчатки, и некоторые из тех, кого он считал людьми близкими и надежными, решив, что он неизбежно ослепнет и больше не понадобится, оставили его в обидной изоляции. Живя в другом городе и нерегулярно наезжая в Ленинград, я практически почти не мог быть ему полезным, но поддерживал постоянную связь с Ниной Николаевной и пытался делать то немногое, что было в моих силах, хотя бы словами поддержки. К счастью, худшие опасения не оправдались,

и он вернулся к работе. Письмо, которое он тогда мне написал, я не могу отыскать, но оно никогда не изгладится из моей памяти. Он писал, что только в час беды оценил по достоинству мою порядочность и душевные качества, и просил прощения за то, что не понимал этого раньше.

В начале 80-х годов он подвергся своего рода обструкции со стороны организаций типа «Память» и «патриотов» кожиновско-распутинско-беловского толка. Однажды, придя на хорошо знакомую мне квартиру на 2-й линии Васильевского острова, я увидел следы поджога: дверь, выходящая на лестничную площадку, была сплошь обуглена. Он спросил меня: «Видели?» — но ни в какие объяснения не вдавался.

Насколько я понимаю, он, выявив всю силу своих интеллектуальных и других качеств, оценил ситуацию и решил: если враждебную армию нельзя разгромить, ее следует возглавить. В результате многие из составлявших его дружское окружение от него отпали, а их место заняли другие. Подозреваю, что этим может объясняться охлаждение его отношений с Лихачевым. Н. Н. Скатов же, ставший директором Пушкинского Дома, относился к нему безукоризненно и всячески содействовал его избранию в академики. Именно тогда он мне сказал, что по образованности и эрудиции с Фридлиндером не может соперничать никто, а я ему ответил, что полностью с этим согласен.

Мы виделись в последний раз 25 октября 1994 года на обсуждении пробного тома нового академического издания Пушкина «Стихотворения лицейских лет». Оно проходило на втором этаже в малом актовом зале, том самом, в котором я тридцатью годами ранее делал свой доклад о Пушкине и Польском восстании. Георгий Михайлович вошел, когда заседание уже началось, и медленно двигался, опираясь на палку. Я сидел у прохода. Увидев меня, он остановился, пожимая руку, приобнял второй и сказал обычные в таких случаях слова о том, как он рад меня видеть. Его выступление было блестящим, замечания и суждения выверенными и точными. А жить ему оставалось чуть больше года. Над его гробом, установленным в большом здании Академии наук, что рядом с Кунсткамерой, выступил друг его юности Е. Г. Эткинд.

Первая защита

Успех моего доклада «Пушкин и Польское восстание» породил во мне надежду, что я мог бы защитить в ИРЛИ свою кандидатскую диссертацию. По моей просьбе Лихачев провел предварительные переговоры в дирекции и сообщил о готовности планировать защиту на осень 1967 года. «Согласны ли Вы?» — спрашивал он.

Разумеется, я был согласен. Казалось, все складывается так благоприятно. Место защиты — головной академический институт, решение которого никакой ВАК не посмеет оспорить. Первым оппонентом согласился быть Борис Соломонович Мейлах, возглавлявший Пушкинскую группу ИРЛИ, а вторым **сама вызвалась выступить** Елизавета Николаевна Купреянова, которая заслуженно считалась одним из наиболее авторитетных специалистов по Баратынскому. Она занималась им много лет, ею было подготовлено собрание его стихотворений, вышедшее в Большой серии «Библиотеки поэта». У меня с ней сложились, как казалось, очень добрые и даже доверительные отношения. Она приглашала меня к себе домой, угощала кофе, с интересом знакомилась с архивными материалами, которые мне довелось собрать за годы работы над Баратынским, говорила, какую удачную пару она составит с Мейлахом на моей защите. Вообще меня окружала атмосфера такой доброжелательности, которая не могла не настроить на оптимистический лад.

Единственным человеком, который скептически оценивал перспективы моей защиты в Пушкинском Доме, был Фридендер. Я убежден, что Георгий Михайлович был одним из самых умных людей, с которыми мне на протяжении своей жизни довелось общаться. Чуждый любой предвзятости, умевший оценивать явления в их истинном свете, не боявшийся самых решительных и острых выводов, он был, вероятно, не чужд известной доли цинизма, далеко смотрел и хорошо видел. Он считал, что Пушкинский Дом насквозь пронизан антисемитизмом и что не может быть уютно еврею в лапах его хозяев. Но до исполнения его предостережений и мрачных прогнозов дело не дошло.

Гром грянул с другой, совсем неожиданной стороны. В октябре 1966 года до меня дошла информация, что Купреянова по каким-то причинам резко изменила свое прежнее отношение ко мне и к моей работе и что она не только отказывается быть моим оппонентом, но и не допустит защиты моей диссертации в Пушкинском Доме.

Понятно, что ей это было проще простого: какая же могла быть там защита по Баратынскому против ее воли! Что произошло, какие у нее появились претензии к моей работе, я не знаю до сих пор. Она мне не позвонила, не написала ни слова. Ее отзыва, если таковой вообще существовал, я так и не увидел. Я знаю, что несколько человек пытались ее переубедить, успокоить, что ли, говорили, что я более чем кто-либо заслуживаю присуждения ученой степени. Среди них были Лихачев, Фридендер и Мейлах, но что она отвечала им, мне неизвестно. Ее просили, если уж она не хочет мне оппонировать, хотя бы не вмешиваться, остаться в стороне, но безуспешно.

Пришлось мне отказаться от защиты в ИРЛИ. Тогдашний ученый секретарь института В. П. Вильчинский, относившийся ко мне с сочувствием, возвращая диссертацию и документы, написал в сопроводительном письме: «Вероятно, Вам целесообразно в дальнейшем защиту своей диссертации провести в каком-либо другом учреждении».

Что же касается людей, принадлежащих к моему близкому дружескому кругу, то их поступок Купреяновой поверг, можно сказать, в состояние шока. Пигарев ответил на мое письмо **телеграммой**: «Вчера прочел Ваше письмо. Очень Вам сочувствую, но не огорчайтесь чрезмерно. Я уже начал переговоры относительно возможности приема Вашей диссертации к защите в один из московских институтов. О результатах сообщу письмом. К. Пигарев». Ответ, прибывший от Степанова, начинался словами: «Ваше письмо меня просто огорошило. Е. Купреянова — дама, конечно, очень капризная и не легкая, и иметь с ней дело трудно. Но что она такое “отколлет”, я не думал».

Но самой эмоциональной была реакция Двинянинова:

15 октября 1966 г.

Обливается сердце кровью после Вашего письма, дорогой Леонид Генрихович! Что же это за напасть — наваждение! Просто страшно становится жить после таких известий. Е. Н. Купреянову лично (да и безлично) я не знаю. Почему Вы ее выбрали оппонентом? Помнится, Вы писали мне, что Купреянова — первый из намеченных Вами оппонентов (еще до встречи с Б. С. Мейлахом и Ф. Я. Приймай). Я так и думал, что она Вам знакома и весьма доброжелательна. Тут что-то творится сложное, мне непонятное. Вы-то с ней знакомы?

Ваша книга о Баратынском не дает, я считаю, никаких поводов для осуждения и тем более для гнева. Кто ее укусил? Разве она работает в ИРЛИ? И разве Купреянова — единственный оппонент? Есть и другие. Мне кажется, Вы не выдержали психической атаки и быстро сдались, без боя. **Сразу!**

Если книгу прочли М. П. Алексеев, Ю. Г. Оксман, В. Н. Орлов и др., то это же **авторитеты**, да еще какие! Из письма неясно, от кого Вы узнали отзыв Купреяновой? От Б. С. Мейлаха? Ведь важно увидеть не ее эмоции, а ее возражения. Во всяком случае, если нужен будет отзыв со стороны, то я готов Вам дать (для этого пошлите **тезисы** диссертации, автореферат)...

Ваш Б. Двинянинов

Не буду углубляться в детали тех действий, которые предпринимали Пигарев, Степанов, а также привлеченный ими к участию в моих делах и очень уважительно относившийся ко мне В. А. Путинцев, который был тогда заместителем председателя экспертной комиссии ВАКа и выступал в роли осведомленного и авторитетного консультанта. Он объяснил, что Пигарев не может быть моим оппонентом, потому что работает в Институте мировой литературы, который дает внешний отзыв на мою диссертацию, а такое совмещение недопустимо. А отказаться от ИМЛИ я не хотел: головной академический институт, отзыв которого мне обеспечивал исполнявший обязанности заведующего отделом русской литературы Степанов представлялся ценнейшим союзником. Некий итог подвел своим письмом сам Степанов:

Дорогой Леонид Генрихович!

Ваше последнее письмо мне значительно больше понравилось и своим содержанием, и тоном. Я глубоко убежден, что защита пройдет превосходно. Ведь Ел. Ник. — ведьма, озлобленная, но все же порядочный человек и делать гадости, конечно, не станет. Настолько я ее знаю.

Думаю, что самое благоразумное и простое — защищать в Харькове, получить отзыв от нашего института и иметь оппонентом К. В. Пигарева. Здесь все на месте и солидно. Мы отзыв пришлем быстро. Я думаю, что к весне Вы могли бы защитить. Пигарев к Вам хорошо расположен.

Не преувеличивайте трудностей и посылайте диссертацию на отзыв.



М. О. Габель

Дружески Ваш Н. Степанов
16 ноября 1966 г.

Хотя организовать мою защиту в Москве не удалось, усилия друзей оказались не безрезультатны: ими была указана и протоптана дорога к Алексею Владимировичу Чичерину, избранному в качестве моего первого оппонента. Едва ли не определяющую роль при этом сыграл совсем мало со мной знакомый, но чрезвычайно тепло ко мне отнесшийся Николай Матвеевич Гайденков. Вот письмо, которое я от него тогда получил:

Глубокоуважаемый Леонид Генрихович,
Поздравляю Вас с праздником, желаю Вам благополучия и успеха в Ваших делах. В них я приму самое горячее участие. Обо всем говорил с Пигаревым. Все устроится. С интересом и пользой прочел Вашу книгу.

Ваш Н. Гайденков

Именно от Гайденкова я узнал, что Чичерин высокого мнения о моей книге, поскольку они были очень близки: по крайней мере, я не знаю другого человека, который был бы с Чичериным на «ты». Гайденков предупредил Чичерина о моем появлении, можно сказать, проложил мне дорогу, и после разговора с ним я прямо из Москвы поехал во Львов.

Чичерин дал согласие без задержки и раздумий. Защита была назначена на 26 мая, и уже в апреле я получил несколько откликов на автореферат, в том числе от Д. Д. Благого. Нечего и говорить, что отзыв члена-корреспондента АН СССР на кандидатской защите, проходившей в провинциальном вузе, — это был, можно сказать, козырный туз. Но особенную экзотику ей придал отзыв моего норвежского коллеги Гейра Хетсо.

Зная о том, как хорошо Путинцев был осведомлен Пигаревым о моих проблемах, я не мог не оценить по достоинству прибывшее

от него новогоднее поздравление. Слова, которые в других условиях могли бы показаться общими, в данной ситуации приобретали конкретный смысл, тем более что принадлежали они не кому-нибудь, а заместителю экспертной комиссии ВАКа.

Глубокоуважаемый Леонид Генрихович,
в канун Нового, очень большого и ответственного для Вас года хотел бы послать Вам самые лучшие пожелания и сердечные поздравления, будьте здоровы и счастливы, полного успеха Вам и всяческого благополучия!

С искренней симпатией,
Ваш В. Путинцев
декабрь 1966 г.

Не забыл меня и Лихачев, который также был в курсе всех моих проблем и хорошо знал, что мне предстоит в наступающем году.

Сердечно поздравляю, дорогой Леонид Генрихович! Новых и новых Вам успехов.

Все будет хорошо!

Искренне Ваш Д. Лихачев

Прежде чем продолжить рассказ о моем диссертационном «хождении по мукам», не могу не вернуться к конфликту с Купреяновой, который получил нетривиальное продолжение. Через десять с небольшим лет после описанных событий редколлегия «Литературных памятников» поручила мне подготовку для издания в этой серии полного собрания стихотворных произведений Баратынского. Эта книга давно стояла у них в плане, первоначально ее должен был делать Пигарев, потом обсуждался вопрос о том, чтобы мы готовили ее совместно, но в конце концов он полностью отказался от этой работы и попросил передать ее мне.

Только тогда, углубленно занявшись текстологией Баратынского, я обнаружил, что самое совершенное на тот момент издание, выпущенное Купреяновой в Большой серии «Библиотеки поэта», которое неизменно бралось за основу популярных и довольно многочисленных сборников его стихов, имеет ряд существенных текстологических изъянов.

Хотел бы, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что их выявление и устранение ни в малейшей степени не было стремлением свести счеты за тот удар, который она мне в свое время нанесла. Я всегда сохранял и сохраняю поныне уважительное отношение к ней как к эрудированному литературоведу, много сделавшему в науке, и ее позиции не раз получали мою полную поддержку. Так, в 1978 году я опубликовал обширный обзор «Русский романтизм: итоги, проблемы, перспективы», в котором анализировал дискуссию между Н. Гуляевым и И. Карташовой с одной стороны, и Е. Купреяновой — с другой, и решительно стал на сторону Купреяновой. «И все-таки в главном, — писал я, — Е. Купреянова глубоко права»⁶⁰. Надо сказать, что проявленная мной тогда принципиальность была и замечена, и оценена. Когда я познакомил со своей позицией У. Р. Фохта, он воскликнул: «Руку, товарищ!»

Сейчас стоял принципиальный вопрос — не о том, как был издан Баратынский в 1957 году, а о том, как его издавать сегодня и завтра. Мной был установлен и аргументированно доказан допущенный ею произвол в решении проблемы выбора основного текста многих стихотворений. В ряде случаев текстам, напечатанным по неустановленному источнику, отдавалось предпочтение перед опубликованными в последних прижизненных изданиях, причем причины предпочтения одних редакций другим никак не аргументировались. «Никакие соображения, не опирающиеся на историю текста: субъективные, вкусовые и прочие, — писал я, — не могут служить основанием для отвержения одной редакции и предпочтения другой»⁶¹. Без всяких пояснений остались «поправки», которые подготовитель издания вносила в те или иные тексты. Отмечались и факты несоответствия между источником текста и сведениями, сообщенными в комментарии. При разделении стихов поэта на опубликованные при жизни и посмертно допускался непонятный и никак не объясненный произвол. Не было найдено единого и последовательного решения вопроса о выборе заглавий стихотворений, и соображения, по которым одно заглавие предпочиталось другому, сохранялось или отбрасывалось, остались неизвестны читателю. Между тем, как это было показано в статье на многочисленных примерах, введение тех или иных заглавий, отказ от них, их замена или повторное санкционирование были со-

⁶⁰ Вопросы литературы. 1978. № 11. С. 262.

⁶¹ Филологические науки. 1981. № 6. С. 19.

знательными творческими актами, с которыми издатели не вправе не считаться.

В полной мере отдавая себе отчет в ответственности стоявшей передо мной задачи, я за год до выпуска в свет моего издания опубликовал в журнале «Филологические науки» статью «Спорные проблемы текстологии Баратынского», в которой подробно аргументировал те принципы, которые намеревался положить в его основу. Я стремился сделать их объектом предварительного обсуждения в среде профессиональных текстологов, и больше всего меня интересовали возражения, которые могла бы высказать Купреянова. Это было приглашение к открытому обсуждению наших разногласий. Я даже оттиск статьи ей отправил. Но увы: моя перчатка осталась неподнятой. Она не нашла, что мне ответить, — ни лично, ни публично. Зная о ее самомнении, граничившим с высокомерием, представляю себе, что она должна была переживать, когда ее раздел и выставил на всеобщее обозрение тот, кого она когда-то сочла не то молокососом, не то неучем, не достойным получения кандидатской степени.

Не могу не напомнить о том, что, несмотря на всемерную поддержку московских и ленинградских друзей, организация моей защиты в Харькове была делом вовсе не простым. Главное препятствие являл собой тогдашний заведующий кафедрой русской литературы Харьковского университета Макар Павлович Легавка. В 30-е годы этот субъект, считавший себя борцом за пролетарское литературоведение, выжил из университета всех квалифицированных преподавателей, включая такого выдающегося ученого, как будущий академик и директор Института литературы АН УССР Александр Иванович Белецкий.

После войны люди, работавшие с Легавкой, считали, что его тупое упрямство и непредсказуемый нрав граничили с серьезными дефектами психики. Имела место и откровенная непорядочность. Работавшие на его кафедре М. Г. Зельдович и Л. Я. Лившиц подготовили в 1957–1959 годах хрестоматию критических материалов «Русская литература XIX века» — превосходное пособие, выпущенное сначала в Харькове, а затем трижды переиздававшееся в Москве издательством «Высшая школа». Зная вредоносность своего шефа, они обозначили на титульном листе:

Под редакцией М. П. Легавки
Составили М. Г. Зельдович и Л. Я. Лившиц

Но Легавка этим не удовлетворился. Он потребовал, чтобы имена составителей книги вообще не упоминались, а он, не принимавший в ее подготовке никакого участия, был как бы единственным ее создателем. Добиться этого ему не удалось, но о том, как характеризует его сама такая попытка, кажется, не может быть двух мнений.

Именно легко прогнозируемое сопротивление Легавки побудило меня в свое время отказаться от сдачи в Харькове кандидатского экзамена по специальности, я поехал для этого в Тарту и сдал его на кафедре Ю. М. Лотмана. Но теперь Легавку было не обойти. По совету моего старшего друга М. В. Чернякова я съездил в Ленинград и привез Легавке письмо Лихачева, который просил его посодействовать моей защите. Легавка проникся такой гордостью, что к нему обратился «сам Лихачев», что воздержался от каких-либо враждебных действий, и я благополучно вышел на защиту, которая состоялась 26 мая 1967 года.

Вторым оппонентом на ней выступила Маргарита Орестовна Габель — человек, сыгравший в моей жизни такую роль, что на ней мне хотелось бы остановиться особо. Как я уже говорил, у меня не было учителей в точном смысле этого слова, я закончил посредственный провинциальный вуз, не был допущен ни в аспирантуру, ни в докторантуру, пытаюсь компенсировать это самообразованием или, как назвал Мейлах, самосовершенствованием. Но у меня было нечто едва ли не более ценное — научная среда, возможность научного общения. И сердцевина этой среды видится мне именно в Маргарите Орестовне.

Она родилась в семье политических ссыльных, ее родители были участниками народнического движения 1870–1880-х годов, активными просветителями. Она успела получить высшее образование еще до революции, окончив два отделения университета: историческое и словесное. С гимназических лет ее учителем и наставником был А. И. Белецкий. Их тесная дружба продолжалась до его кончины, он приезжал к ней из Киева, а в ее доме царил некий культ Белецкого. Он высоко оценивал ее докторскую диссертацию о Тургеневе, оставшуюся незащищенной. Ее последним выступлением в печати была опубликованная в «Литературном наследстве» статья «Академик А. И. Белецкий — исследователь Н. С. Лескова».

В ее кабинете проходили семинары, в которых участвовали до десятка человек, связанных дружескими отношениями. Двум из них — А. М. Финкелю и М. В. Чернякову — в этой книге посвя-

щены отдельные очерки. На них зачитывались и обсуждались научные работы, и никто не выступил там столько раз, сколько я. Люди, жившие в сталинские и первые послесталинские годы, знают и помнят, что любые собрания подобного рода, сколь бы невинными они ни были, являлись делом небезопасным и привлекали к себе внимание соответствующих органов. Не был обойден этим вниманием и я: моих друзей вызывали и собирали материал о моем нездоровом образе мыслей.

Именно от Маргариты Орестовны я услышал судьбоносное для меня имя Баратынского. Любопытно, что, предлагая мне писать о нем кандидатскую диссертацию, она и в этом оставалась ученицей Белецкого, который тоже дал своей ученице Н. Р. Мазепе тему по Баратынскому.

Я всегда буду ей благодарен за ту совокупность навыков, которые она мне привила и которую мы называем *школой*. Этой школы так часто недостает сегодняшней научной молодежи. Маргарита Орестовна учила меня нормам библиографического описания, правильного цитирования. Она требовала: ни одной цитаты из вторых рук, цитировать писателя только по самому авторитетному собранию его сочинений, проверять достоверность сведений, точность дат, цитат и ссылок.

Она была непростым человеком, не чуждым капризности и упрямства. Если питала к кому-то симпатию, то не видела в нем никаких недостатков, а если уж кого невзлюбит, то будет отрицать любые его достоинства и игнорировать очевидное, в связи с чем и мои с ней отношения не обходились без осложнений. Непременный участник ее «салона» Марк Черняков сочинил иронический текст, в котором она характеризовалась пушкинскими строками:

...Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она.

Но все это было на бытовом уровне. Когда же речь шла о науке, она преображалась: не оставалось и тени самоуверенности, она жадно ловила мысли собеседника, стремясь уточнить собственное представление. Как-то на одном из ее домашних семинаров

обсуждался ее доклад. Я что-то говорил, а она на меня смотрела... Казалось, что она могла от меня услышать? Мальчишка, недавний студент, чего от него ждать? Но на меня был устремлен горячий взгляд, она боялась пропустить хоть слово. А вдруг я скажу что-то, что пригодится ей для усовершенствования ее работы! Она была требовательна к своим ученикам, но к себе более стократ.



А. В. Чичерин

исследовательски, как обоснованное решение проблемы, содержит и тонкие анализы, и много говорящие социальные, исторические сопоставления и просто много интересных, добытых автором фактов, всегда уместных и ведущих прямо в дело. Вот почему каждая страница читается с удовлетворением и с живым интересом. В целом это труд достойный того большого поэта, творчеству которого он посвящен». Планка сразу была поднята на такую высоту, что перечисленные в дальнейшем недостатки не могли не быть сочтены мелкими. Мой друг Ленья Баткин мне сказал: «Оппонент на настоящем столичном уровне!» Мои родители обратили внимание на то, чего не мог знать никто другой. Хотя Чичерин приезжал в Харьков на два дня, для выступления он привез второй костюм. Его наследственный аристократизм не позволил ему выступать в том же костюме, в котором он ехал в поезде.

Хотя результат было нетрудно предвидеть, Пигарев ждал его с таким нетерпением, что, не зная, где он будет в этот день: в Москве или в Мураново, — попросил дать ему две телеграммы, в оба адреса. Не буду ни приводить, ни перечислять многочисленные по-

здравления, прибывавшие сначала с защитой, затем с ее утверждением. Исключение сделаю только для письма Чичерина и ему же посвященного абзаца из письма Пигарева.

Дорогой Леонид Генрихович!

Очень за Вас рад и сердечно Вас поздравляю. Но хотелось бы, чтобы и работа Вам нашлась интересная, вузовская, по ученой степени, Вами приобретенной. Еще больше хотелось бы, чтобы и углублялась, и ширилась Ваша научная работа. Прошу Вас, сообщайте мне о том и о другом. Мой сердечный привет Доре Абрамоне и Генриху Венециановичу, Вашей супруге (которой знаю только имя — Алла, а отчества не знаю), Маргарите Орестовне, статью которой читал с большим интересом, Исааку Яковлевичу и Марку Владимировичу. С удовольствием вспоминаю пребывание в Вашем семейном и дружеском кругу.

А. Чичерин

11 ноября 1967 г.

А вот что написал Пигарев: «Летом виделся с А. В. Чичериным, проводившим часть своего отпуска в Подмосковье. Он сохранил очень хорошие воспоминания о Харькове и подробно рассказывал мне о Вашей защите. Можно сказать, что Вы были вознаграждены сторицей за все то, что Вам пришлось претерпеть в течение стольких месяцев. Не есть ли это прямое опровержение начальных строк первого монолога Сальери в трагедии Пушкина?»

В кругу лермонтоведов

После кандидатской защиты я стал регулярным участником Лермонтовских конференций. Обычно приуроченные к очередной годовщине со дня рождения поэта, они проходили в Пятигорске, Ставрополе, Орджоникидзе. Этим конференциям я обязан знакомством с многими людьми, дружеские связи с которыми продолжались на протяжении десятилетий. Организатором и действительным руководителем, можно сказать, их душой, был человек, который, я уверен, оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто его знал, — Виктор Андроникович Мануйлов. Он, правда, скромничал и любил говорить, что считает себя лишь неким заместителем Ираклия Луарсабовича Андроникова.

Но Андроников, конечно, привлекавший и громкой репутацией, и артистичностью своей натуры, мелькал на них, как ясно солнышко, и исчезал. Однажды, уезжая раньше времени и прощаясь с участниками, он сказал: «Я отдал этой конференции все, что мог, а ни от одного мужчины нельзя получить больше, чем он может». В одном из своих выступлений он хвалил мой доклад о стихотворении Лермонтова «Есть речи, значенье», но в памяти у меня осталось не содержание им сказанного, а манера речи, рокошующий, словно катившийся по залу бас: «Леонид Генрихович в своем замечательном докладе...».

Этот вальяжный барин, конечно, не потянул бы роль того разнорабочего, каким обычно является действительный руководитель конференции, а на Лермонтовских она неизменно выпадала Мануйлову. Одновременно он делал и другое важнейшее дело: завершал подготовку «Лермонтовской энциклопедии», бывшей на тот момент лучшим в советском литературоведении справочником подобного рода. Работа над ней велась давно, и я поспел, как говорится, к шапочному разбору: написал для нее две или три статьи.

Зато, когда она готовилась к печати, мне удалось оказать Мануйлову существенное содействие: в редакции литературы и языка издательства «Советская энциклопедия» работали мои друзья, бывшие «новомирцы» Юрий Григорьевич Буртин и Михаил Николаевич Хитров, а также Владимир Викторович Жданов, и мне удалось смягчить некоторые противоречия, которые обычно возникают между авторами и издателями.

Виктор Андроникович был признанным вождем советского лермонтоведения, редактором сочинений Лермонтова, автором «Летописи жизни и творчества Лермонтова», семинария по Лермонтову, комментария к «Герою нашего времени» — работ, имеющих основополагающее значение, не говоря уже обо всех прочих. Но не было секретом, что сердце его принадлежало другому поэту — Максимилиану Волошину. Мануйлов составил четырехтомное собрание стихотворений, об издании которого в те времена не приходилось и мечтать, а вот подготовленный им внушительный том работ по проблемам литературы и искусства под названием «Лики творчества» вышел в серии «Литературные памятники».

Незабываемой была, если ее можно так назвать, гастроль, которую именно в то время, о котором я веду речь, Мануйлов провёл в Харькове. Она продолжалась два вечера подряд. На первом Мануйлов прочел лекцию о Волошине, и звучали записи его стихов в исполнении автора, разумеется отобранных, «дозволенных». Мануйлов привез с собой вдову поэта Марию Степановну Заболотскую. Ей было за восемьдесят, и она уже практически ослепла, но слух и память сохранила прекрасно. Она сидела на сцене за столом и, если кто-то, читая или цитируя Волошина, допускал ошибку, громко и сердито его поправляла. Кроме того, в Харьковском художественном музее была на эти дни открыта выставка акварелей Волошина.

А во второй вечер прозвучала, как мне кажется, еще более яркая, зажигательно интересная лекция Мануйлова — о Черубине де Габриак. Мы слушали ее, словно замороженные. Как мы теперь знаем, это была одна из самых блистательных мистификаций Серебряного века. Но тогда то, что он рассказывал, было для нас всех, и для меня в том числе, — откровением. Конечно, все это мероприятие было небезопасным, ведь многократно упоминался не только подозрительный Волошин, но и категорически запрещенный Гумилев! Но у меня были хорошие отношения с директором Центрального лектория, я уговорил его, что ничего страшного не произойдет, выторговал необходимое согласие, и действительно все сошло с рук.

Впрочем, эти хорошие отношения с начальством лектория, державшиеся на том, что я сам читал там лекции, которые пользовались успехом, а мне служили приработком к учительской зарплате (я получал какой-то процент от выручки за проданные билеты),

были вскоре нарушены. После того как я прочел лекцию «Уход и смерть Толстого», в обком партии поступила анонимка, автор которой сообщал, что он увидел афишу, сообщавшую, что какой-то жид по фамилии Фризман читает лекцию о Толстом. Поскольку Толстой — великий русский писатель, творчество которого высоко ценил Владимир Ильич Ленин, то он информирует партийные инстанции об этом безобразном факте. Директор лектория, который сам был евреем (фамилию я не помню, а звали его Рувим Рувимович), перепугался на смерть и стал советоваться со мной, что ответить. Я предложил написать, что изложенные факты полностью подтвердились: Толстой действительно великий русский писатель, Ленин действительно ценил его творчество, а Фризман действительно жид. Но на такой ответ не решились и написали что-то вроде того, что на лекции присутствовали крупные специалисты, подтвердившие, что она была прочитана на высоком идейном и политическом уровне. То есть ответ был дан не по существу. Автор письма вовсе не утверждал, что лекция плохая, более того, из самой анонимки явствовало, что он ее не слушал. Естественно, афиши с моей фамилией появляться перестали. ...Но не навсегда. Когда приблизилось 100-летие со дня рождения Блока, обратились ко мне. Я не только выступил сам, но и организовал приезд из Москвы А. Л. Гришунина, который к тому времени уже был назначен редактором академического собрания сочинений Блока и руководителем Блокоской группы, словом, стал первым блоковедом Советского Союза.



В. А. Мануйлов

Но вернусь к Мануйлову. Мы дружили с ним долго и сердечно. Он откликался на выпускаемые мной книги, а узнав о докторской защите, написал: «Кто-кто, а Вы уже давно заслужили степень доктора, и Ваш вклад в изучение русской элегии хорошо известен и весом». Я бывал в его ленинградской квартире, говорили и о делах, и о постоянно донимавших его болезнях, с чем был связан курьезный и, как мне кажется, поучительный эпизод. Однажды он пожаловался мне, что у него катастрофически ухудшается зрение, а помогает ему одно-единственное лекарство, производимое в Франции и не поступающее в продажу в СССР. Иногда, говорил

он, удается договориться с каким-нибудь пилотом, летающим в Париж, и тот привозит один-два флакона.

Через некоторое время после этого разговора я узнал, что одна моя не очень близкая знакомая получила разрешение съездить в Париж по приглашению своего брата. Я набрался смелости и сказал ей все приличествующие такому случаю слова — что никогда ни о чем не посмел бы просить для себя, но такая ситуация: погибает крупный ученый и прекрасный человек, надо его спасти. Поездка подобного рода была в те времена невероятной редкостью, но моей знакомой фантастически повезло. Две недели, которые ей довелось провести в Париже, выпали на май 1968 года, когда город был охвачен студенческими волнениями, принявшими такой размах, что они едва не привели к свержению де Голля. Она провела все это время взаперти, потому что выйти на улицу было смертельно опасно: можно было запросто получить пулю. Но она все-таки не забыла о моей просьбе, и ее брат, несмотря на известный риск, сходил в ближайшую аптеку и купил требуемое лекарство.

Легко себе представить мой восторг, когда я отправлял в Ленинград драгоценную бандероль, и слова благодарности, которые я выслушал от Мануйлова. Вскоре я опять пришел к нему в гости и поинтересовался, как ему удастся решать проблемы с глазным лекарством. Он всплеснул руками: «Все забываю вам рассказать! Оказалось, что оно-то меня и губило. Как только я перестал его принимать, все проблемы сошли на нет».

В 1981 году Мануйлов оказал мне большую услугу. В Совете ЛГУ должна была состояться защита первой диссертации, подготовленной под моим руководством, но мне никак не удавалось подыскать первого оппонента. Тема была непростая — «Романтизм Вяземского». К Вяземскому применимо сказанное о себе Федором Глинкой: «Я не классик и не романтик, а что-то...»⁶² Вяземский тоже был «что-то». Я сам себе напоминал героя известного фельетона Ильфа и Петрова, метавшегося в поисках человека, который достал бы ему билет в Ейск: «может, но не хочет», «хочет, но не может», «может, но сволочь»... Как не раз бывало, помог совет Георгия Михайловича Фридлендера, предложившего кандидатуру Мануйлова. Тот дал согласие, и все прошло безупречно.

⁶² Глинка Ф. Н. Письмо к В. В. Измайлову от 13.12.1826 // Московское обозрение. 1877. № 16. С. 416.

Приобретением Лермонтовских конференций были для меня Алла Александровна Жук, жившая и работавшая в Саратове, и москвичка, сотрудница ИМЛИ, Ираида Ефимовна Усок.



А. А. Жук

Алла Жук была одним из самых обаятельных созданий, каких мне доводилось видеть. Мы переписывались часто и сердечно. Получив мое издание «Литературно-критических работ декабристов», она откликнулась словами: «Спасибо за интересную, отличную книгу. Как это Вы так все успеваете?! Зависть берет». По поводу голосов против на моей докторской защите успокаивала: «Это, по-моему, никакой роли не сыграет. В Вашем случае “за” — вся жизнь в науке. Это очень заметно: когда все, что есть у человека, брошено на один акт защиты, а когда сам акт — естественный итог чего-то большего».

Прелесть Аллы была не только во внешности, но и в ее характере. Теперь я понимаю, что отношение к ней всех, с кем она имела дело, проистекало из ее ума. Она так безошибочно разбиралась в людях, что каждому умела сказать то, что на него подействует, и ей открывались все сердца. Я не знаю, отчего она умерла, но видел, что известие об ее кончине вызывало ошеломление. Когда я рассказал об этом Андрею Леопольдовичу Гришунину, он на мгновение замер, окаменел, а потом выкрикнул: «Да вы что...»

Ира Усок была человеком совсем другого рода, норовистая, упрямая, не чуждая капризности, с ней надо было всегда быть на чеку. И хотя я обычно поддерживаю со своими знакомыми ровные отношения, с ней они шли какими-то волнами: то сближались, то расходились. В целом она относилась ко мне хорошо. Я не отказал бы ей ни в эрудиции, ни в старательности, но ничего существенного она не создала. Юрий Владимирович Манн мне однажды сказал, что у нее «ломается голос». Если я правильно понял его мысль, он имел в виду некую болезнь роста. Но голос ломался-ломался, а в полную силу не зазвучал.

Оглядываясь сегодня назад, я осознаю, что ни одна из Лермонтовских конференций тех лет не оставила в моей жизни такого

важного и длительного следа, как 11-я, приуроченная к 155-летию со дня рождения поэта и проходившая в октябре 1969 года в нынешнем Владикавказе, тогда называвшемся Орджоникидзе (с этим названием, надо сказать, происходили малопонятные приключения. В 1931 году, в пору, когда Сталин в массовом порядке присваивал городам имена своих соратников, Владикавказ был пожалован тогдашнему председателю Высшего совета народного хозяйства, ставшему и членом Политбюро. Но в 1944 году, в период репрессий, обрушенных на кавказские народы, вождь за что-то разозлился на уже мертвого Орджоникидзе, отобрал у него именование города и присвоил городу выкопанное из глубокой древности, маловразумительное и труднопроизносимое название Дзауджикау. Как только Сталин умер, городу вернули имя Орджоникидзе, которое он носил до падения советской власти). С этой конференции в Орджоникидзе я числю свою близость с людьми, которых я любил и люблю: с семьей Тахо-Годи и с Борисом Тимофеевичем Удодовым.

Первым членом этой семьи, с которым я познакомился, была Муминат Алибековна, видный специалист по зарубежным литературам, позднее защитившая докторскую о Ромен Роллане. С самого начала наших отношений, с первого телефонного разговора она расположила меня к себе качеством, которое я бы назвал искренней скромностью. Не могу подобрать более точного определения. Все мы знаем, что скромность бывает разной, бывает лживой, фальшивой, лицемерной, бывает скромностью напоказ. У Муминат Алибековны она была естественной: я такая, потому что не могу быть другой. Когда я, желая сделать ей приятное, сказал, что в Харькове помнят ее приезды в наш город, она мгновенно поняла, что я спутал ее с Азой Алибековной и сказала, что совсем не обладает красотой и значительностью своей старшей сестры.

Я приведу письмо, которое получил, когда она узнала о присуждении мне докторской степени.

Дорогой Леонид Генрихович!

Сердечно поздравляю Вас с утверждением — я была Вашей искренней «болельщицей». Письмо Ваше пришло без меня — я три недели была в Москве. В МГУ было всесоюзное совещание по заруб. лит-ре, кроме того, я еще задержалась, читала диссертации... Л. Г. Андреев уговорил меня выступить по кандидатской оппонентом осенью в МГУ по Сент-Беву. Меня критика не так привлекала,

но надо их выручать. Там первый оппонент Наркирьер накрепко заболел, да к тому же диссертант — мой бывший студент.

Увы, я так ничего не смогла для Вас сделать для расшифровки французских ссылок, для этого следовало бы порыться в библиотеке в Москве, а мне даже ни разу не удалось зайти в ВГБИЛ, т. к. я повезла с собой десятилетнюю дочку, и надо было успевать и с делами, и с ней.

Мемориальную доску открыли 29 мая, к дню рождения Л. П. Все было хорошо и торжественно, но В.А. (Мануйлов. — Л.Ф.) не приехал, т. к. занят с «Лермонтовской энциклопедией». Открытие показывали по телевизору и сняли для журнала «Сев. Кавказ».

Я пока не отдыхала, меня включили в приемную комиссию.

Всего лучшего Вам.
М.А.

Казалось бы, самое что ни есть заурядное письмо с перечислением мелких деталей служебного и житейского быта. Но стоит хоть немного к нему присмотреться, и мы увидим, как запечатлел себя в нем характер автора — непрехотливого, добросовестного, безотказного, исполнительного человека, всегда готового прийти на помощь, переживающего, если помочь не удалось. Ни тени упрека ни тому, кто навязал нежелательную работу, ни тому, кто не разделил с ней праздничное событие — открытие мемориальной доски ее дяде Леониду Петровичу Семенову, обозначенному в письме Муминат Алибековны инициалами Л. П. Он скончался десятью годами ранее, но лишь сейчас на доме, где они жили, установили мемориальную доску.

Л. П. Семенов — профессор Северо-Осетинского пединститута, известный кавказовед и лермонтовед — был инициатором создания «Лермонтовской энциклопедии» и положил начало работе над ней. С подачи Муминат Алибековны, отчасти для того, чтобы сделать ей приятно, я занимался литературоведческим наследием Семенова, предпринимал архивные разыскания и публиковал то, что удавалось найти. Так, сборник статей «Проблемы литературы и эстетики», вышедший в Орджоникидзе в 1976 году, открывался моей заметкой о Семенове и публикацией его статьи «Лермонтов у европейских и восточных народов». Обзор «Л. П. Семенов — исследователь Льва Толстого» был построен на материале найденных мной в архиве писем Л. П. Семенова к Н. Ф. Сумцову.

У нас с Муминат Алибековной сложились теплые, товарищеские отношения, а ее позднейший переезд в Москву сделал общение более регулярным. К общему нашему горю, случилось несчастье: в результате инсульта Муминат Алибековна потеряла речь, и во время встреч я мог ее поцеловать, мог видеть ее улыбку, но поговорить с ней было нельзя.

Дочь Муминат Алибековны (она мельком упоминается в письме выше), которая стала в дальнейшем самой близкой мне из семьи Тахо-Годи, уже сделавшись крупным ученым, опубликовала статью о наших отношениях и дала ей знаменательное заглавие — «Унаследованная дружба». О нашей дружбе с Еленой Аркадьевной разговор впереди.

Посещая Москву, я старался не упустить ни одной возможности побывать в квартире, находящейся в доме, который сейчас известен всему культурному миру как дом Лосева. Самого Алексея Федоровича я видел только один раз. Это было незадолго до его смерти, он выглядел очень дряхлым, кажется, совершенно лишился зрения, вышел к нам из-за какой-то ширмы, которой была отгорожена его постель. Он задал мне два-три стандартных вопроса: где работаю, чем занимаюсь. Запомнилась первая сказанная им фраза: «Ты не обижайся, что я буду говорить тебе “ты”, я говорю “ты” всем, кто моложе меня».

Его жена Аза Алибековна Тахо-Годи, старшая сестра Муминат, была хоть моложе мужа, но достаточно в годах. Тем не менее, когда бы я ни приходил, всегда заставал ее за работой. При ней постоянно находился молодой человек — ее секретарь или помощник. Она могла оторваться, например для общения со мной, но непременно возвращалась к прерванному делу: она была из породы тех, кто работает всегда.

Мне не довелось видеть ее в те годы, когда она, как мне рассказывали, блистала неотразимой красотой, и в числе ослепленных ею был, наряду с другими, будущий академик Александр Иванович Белецкий. Поскольку встречались они и в Харькове, я был об этом наслышан. Во времена моего с ней общения она безоговорочно считалась крупнейшим античником в стране и внушала мне определенный трепет. Нет, я не ощущал отсутствия радушия, расположенности к собеседнику, но, чувствуя на себе ее острый, всепронизывающий взгляд, испытывал робость и, наверное, выглядел хуже, чем обычно.



Е. А. Тахо-Годи

Но самым близким и дорогим мне человеком из всех носителей славной фамилии Тахо-Годи, как я уже писал выше, стала со временем дочь Муминат Алибековны, которая для меня остается и останется Леночкой. Сегодня Леночка ученый с мировым именем, профессор МГУ, академик РАЕН, лауреат премий двух известных литературных журналов и прочая, и прочая, и прочая. А когда я с ней познакомился и даже провел два дня под одним кровом, она была двенадцатилетней школьницей.

Случилось так, что ее мама, заведовавшая кафедрой в Северо-Осетинском университете, пригласила меня прочесть там спецкурс. Но прежде чем я обосновался в своем гостиничном номере, она приютила меня в своей квартире, где я в связи с занятостью мамы был отдан на попечение дочки. Впечатление, которое она на меня произвела, живо в моей памяти так, как будто это было вчера. Меня поразила редкая правильность ее речи, а еще более — взрослость тона, которым она со мной разговаривала. Она была предельно внимательна, предупредительна, даже ласкова, и это было обращение не школьницы с профессором, а заботливой хозяйки с дорогим ей гостем. У меня рос в ту пору сын Ленинского возраста, даже чуть старше. Я задавался вопросом, уверен ли я, что он сумел бы в подобной ситуации держаться так же достойно, уверенно и непринужденно, как она, и отвечал себе: нет, не уверен.

А она продолжала удивлять. Удивила своей монографией о Случевском. Это кандидатская диссертация? Да у нас докторские не всегда дотягивают до такого уровня! А вдумайтесь в формулировку ее докторской темы: «Художественный мир прозы А. Ф. Лосева»! Ведь проза Лосева — это научная проза, которая изучается обычно в аспекте содержания, выдвинутых в ней идей. Какой творческой смелостью нужно было обладать, чтобы поставить в центр изучения научной прозы ее *художественный мир*?

Я вижу с Леной редко и переписываюсь нерегулярно. Но для меня несомненно, что в ее душе для меня отведен такой же неприкосновенный уголок, как в моей для нее. На конференциях, где нас сводила судьба: на подмосковных, организованных Фондом Досто-

евского в «Соснах», в Покровском, в польском Люблине на конференции с интригующим названием «ЖЕНЩИНА И / КАК ДРУГОЙ» — везде мы дорожили каждой минутой общения и стремились услышать друг друга. Помню, как она сбежала из своей секции, чтобы не пропустить мой доклад.

На моей книжной полке стоят подаренные ею книги: научные исследования, стихи, художественная проза «Великие и безвестные» (2008), «Неподвижное солнце» (2012), «Друг бесценный» (2014). На одной из них надпись: «Дорогому Леониду Генриховичу Фризману — человеку, которого я знаю и люблю с моих детских лет». Другая была подарена на последней Лермонтовской конференции, в которой мне довелось участвовать. Она была приурочена к 200-летию со дня рождения поэта и проходила в МГУ. Толстенный томище материалов этой конференции я получил благодаря заботе надежного моего друга, заведующего кафедрой русской литературы Санкт-Петербургского университета Александра Анатольевича Карпова.

На докладе, с которым Лена выступила на этой конференции, я остановлюсь чуть ниже. А сейчас — еще два слова о ее книгах. Обращаясь к ним, я думаю: какие они разные, как по-разному они позволяют проникнуть в ее душевный мир. Думаю и о том, что есть в их авторе очень важное, ценное и редкое качество, о котором не прочтешь в книгах, для этого надо знать ее образ жизни. Она умелый и самоотверженный организатор науки. По моему глубокому убеждению, она **душа** Дома Лосева, а это дорогого стоит.

Об объеме и разносторонности вклада, внесенного этой еще сравнительно молодой женщиной в отечественную культуру, можно сказать много. Но, ограничивая себя темой, обозначенной в заглавии этого очерка, я остановлюсь на ее характеристике как лермонтоведа. Присущие ей широта эрудиции, высокий уровень исследовательской культуры проявились и здесь, в частности в услышанном мной докладе. Его тема — «Творчество Лермонтова в исследованиях профессора Л. П. Семенова» — в известной мере была продолжением того, чем я сам занимался около сорока лет назад. Но разница в наших подходах очень значительна: Лена, можно сказать, подняла эту тему на другой научный этаж. Мои работы были результатом архивных разысканий: я публиковал и вводил в научный оборот дотоле неизвестные работы. Лена же пошла дальше — она ввела их в контекст не только научной биографии Семенова,

но и лермонтоведения его времени, тем самым произведя их углубленную научную экспертизу и оценку. Достаточно вникнуть в аппарат этого сообщения, чтобы ощутить уровень исследовательской культуры автора.

Ко времени проведения упомянутой конференции отношения между Россией и Украиной были испорчены до такого уровня, что, выйдя из вагона на харьковском вокзале, я попал в лапы так называемых компетентных органов, которые добрых полчаса добились, чтобы я рассказал им ВСЮ ПРАВДУ о том, куда и зачем я ездил в страну, которая у нас официально объявлена агрессором, и что я оттуда привез. Общение, надо сказать, происходило по известной формуле: меня пугают, а мне не страшно. Я им: «Вот программа конференции, вот моя фамилия в числе докладчиков. Еще не поняли, что я делал в Москве? Хоть вы меня разденьте, не увидите ничего интересного». Словом, насмеялся над ними досыта. Под конец они чуть ли не извинялись за отнятое время и виноватыми голосами предлагали вызвать такси.



Б. Т. Удодов

И еще об одном человеке, без которого круг лермонтоведов, выпавший на мою долю, страдал бы невосполнимым ущербом. На той памятной конференции, проходившей в Орджоникидзе в октябре 1969 года, стоял за мной в очереди к администратору на поселение в гостинице «Кавказ» молодежавый интересный мужчина, как и я, в очках, но повыше ростом. Рядом стояли, нас и поселили в одном номере. И после этого, на сколько бы Лермонтовских конференций мы ни приезжали, ни он, ни я и не помышляли иметь другого соседа. Звали его Борис Тимофеевич Удодов.

Моя дружба с этим человеком была многолетней и крепкой, если использовать сравнение Маяковского, «как спирт в полтавском штофе». Он высоко ценил мои работы, в подтверждение чего позволю себе привести несколько цитат из его писем.

На «Жизнь лирического жанра» он отозвался так: «Книгу Вашу прочитал с большим интересом, удовольствием и радостью»

за Вас. Вы написали основательное, солидное исследование. В нем все необыкновенно добротное и, как правило, убедительно, академично без излишнего академизма, научно без тени наукообразности и ненужных претензий в духе “новейших” методов. На полях подаренного Вами экземпляра я частенько не мог удержаться, чтобы не сделать во время чтения пометок вроде “хорошо!”, “молодец!” и т. п. Возникали порой и отдельные вопросы, но отнюдь не затрагивающие, так сказать, основ Вашей книги. Короче говоря, поздравляю с этим новым творческим свершением».

«Поэзия декабристов» вызвала такой отклик: «По-моему, Вы просто не умеете писать плохо. И на этот раз, несмотря на заданные жанровые рамки, обязывающие к популярности, брошюра получилась добротной, дельной, содержательной и во многом свежей по подходу к материалу, его освещению, компоновке, акцентированию и пр.».

А вот отрывок из письма, полученного после выхода «Дум» Рылеева: «Еще раз и еще раз убеждаюсь, какой Вы неутомимый труженик и энергичный исследователь сокровищ русской поэзии I пол. XIX столетия. Я просмотрел, а местами прочитал (особенно Вашу статью) всю книгу и должен сказать, что все сделано на высшем, действительно академическом уровне. Книгой, выпущенной в авторитетнейшей серии “Литературные памятники”, Вы, помимо прочего, воздвигли памятник и себе. В статье Вашей дана по-настоящему глубокая трактовка полемики современников вокруг “Дум” Рылеева, об их жанровой природе, о сущности и причинах разногласий в оценке самих дум, об их месте в развитии русской романтической поэзии etc.».

Из письма, полученного после выхода книги «Декабристы и русская литература»: «Книга получилась в высшей степени своеобразной и содержательной. Это своего рода энциклопедия обширнейшей самой по себе темы “декабристы и русская литература”. Какая уйма самых разнородных фактов — известных, малоизвестных, впервые вводимых в научный оборот! И все это рассмотрено строго аналитически, связно и по-настоящему концептуально. Подлинная академичность сочетается у тебя с живостью и простотой изложения, чуждого и тени наукообразия, подлинный историзм — с современной ненарочитой злободневностью в рассмотрении поднимаемых историко-литературных проблем».

Самый важный эпизод в наших многолетних отношениях произошёл в период подготовки его докторской защиты. Считая этот эпизод показательным и поучительным во многих отношениях, расскажу о нем подробнее. Защищал он не диссертацию, а монографию «М. Ю. Лермонтов. Художественная индивидуальность и творческие процессы» — толстенный фолиант объемом более 700 страниц. Все как будто шло хорошо, но вдруг стало известно, что в «Вопросах литературы» готовится к публикации хлесткий фельетон «Гегель и княжна Тамара», в которой Удодов был, можно сказать, размазан по паркету. Вряд ли нужно объяснять, какие последствия сулила такая торпеда удодовскому кораблю. Автором ее был штатный сотрудник журнала Серго Виссарионович Ломинадзе, яркий, остроумный человек, первоклассный журналист, пользовавшийся всеобщим уважением. Мне довелось немало взаимодействовать с ним, это было легко и приятно.

Не знаю всех подробностей дела, но редакция «Вопросов литературы» пожалела Удодова и решила смягчить его участь. Отказать Ломинадзе в публикации его рецензии не было никаких оснований: она была написана ярко, остроумно, с присущим ее автору блеском. Поэтому решили напечатать две рецензии под общим названием «Два мнения об одной книге», и вторую рецензию предложили написать мне. В редакционном предуведомлении к этой необычной публикации выражалась надежда, что «прямое столкновение мнений позволит читателю лучше уяснить достоинства и недостатки данного труда». «При этом надо учитывать, — говорилось далее, — что Л. Фризман положительно оценивает книгу в целом, тогда как критические суждения С. Ломинадзе относятся в основном к отдельным (хотя и существенным) аспектам ее содержания»⁶³.

На Удодова и его дружеский круг выход этого номера «Вопросов литературы» произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Его выразила Алла Жук, писавшая мне, что ее «порядочно изумила история с рецензированием книги Удодова в “Воплях”. Что сей сон значит? Вы, вероятно, осведомлены. Я знаю, что Ломинадзе (по статьям его знаю) — серьезный, знающий и т. п. исследователь. Так как же он так “обернул” хорошую, настоящую книгу Б. Т. Ваша рецензия (главное — позиция) в этом диалоге у нас здесь всеми приветствуется». Совершенно те же слова я слышал от Иры Усок.

⁶³ Вопросы литературы. 1975. № 1. С. 258. Далее ссылки даются указанием страниц в тексте.

И сам Удодов, который меня сердечно благодарил как чуть ли не своего спасителя, и вся литературоведческая общественность истолковали дело так, что Фрирман взял Удодова под защиту от нападков Ломинадзе. И один только умный и проницательный Ульрих Рихардович Фохт сказал, что моя рецензия для Удодова гораздо опаснее фельетона Ломинадзе, потому что он изощряется в своем остроумии по мелочам, а «Фрирман вежливо и обходительно бьет прямо в печень».

Я провел слишком мало времени в общении с Ульрихом Рихардовичем, чтобы располагать материалом и подтвердить фактами то, что я чувствую, когда думаю о нем. Семен Иосифович Машинский, знавший его несравненно лучше, чем я, однажды сказал: «Фохт — это чудо!», — и мне нечего к этому добавить.

За что только его не осуждали! За то, что выпивал, за то, что стариком оставил семью и женился на своей аспирантке, которая была на 46 лет моложе его... Да, когда у него произошел инфаркт, и он лишился возможности подниматься на свой пятый этаж в доме без лифта, он снял себе маленькую квартирку в высотке рядом со станцией метро «Новые Черемушки», и эта аспирантка поселилась там с ним. Когда я вернулся из поездки в Москву и рассказал моей маме, что Фохт женился на женщине на 46 лет моложе его, она грустно меня спросила: «Так что, твоя вторая жена еще не родилась?»

Если вы видели выпивших людей, не думайте, что это дает вам хоть малейшее представление о том, каким бывал выпивший Фохт. Однажды во время какого-то междусобойчика в Центральном доме литераторов находившийся на взводе и в приподнятом настроении Фохт стал останавливать проходивших мимо нашего столика официанток и на их фигурах объяснять, где у женщин расположены эрогенные зоны. Любой другой был бы обозван хулиганом, а то и заработал бы пощечину, но Фохт вкладывал в это столько галантности, игривости, очарования, что официантки млели от восторга.

Мне довелось много слышать о Фохте, но, кажется, никто не понял своеобразие и уникальность этого человека так проникновенно, как Борис Федорович Егоров, назвавший его «одной из самых незаурядных личностей советской поры»⁶⁴. В его очерке о Фохте множество фактов, которые могут вызвать неприязнь, негодование, ошеломление, отвращение, но он помогает понять, почему этот безалаберный, ненадежный, способный на самые непредсказуемые

⁶⁴ *Егоров Б. Ф.* Воспоминания. С. 388.

выверты человек вызывал такую симпатию к себе, которая превозмогала все доводы разума.

А сейчас я попробую на немногих примерах показать моему читателю, как критиковал Удодова Ломинадзе и как это делал я, и предоставлю ему самому решать, кто был прав в сопоставлении наших рецензий: Фохт или все остальное прогрессивное человечество. Вот несколько фрагментов из статьи Ломинадзе:

«Услышав, скажем, что “поистине Лермонтов предстает перед нами то и дело в одном и том же произведении как двуликий Янус, художником с романтическим профилем и реалистическим анфасом”, думаешь уже не столько о Лермонтове, сколько о том, почему автор склоняет наречие “анфас” как существительное, наподобие “фасада” <...> Заметим, кстати, что два лика Януса были, как известно, обращены в **противоположные** стороны, что не очень вяжется с взаимоотношениями “профиля” и “анфаса”». «Как бы ни толковать “безумные мечты” Демона о примирении, ни одна запятая в поэме не дает повода понимать их как “гнусное стремление”. Демон пытался примириться с миром через любовь, говорит сам Б. Удодов на соседних же страницах, “мы видели, насколько человечнее стал в любви Демон... Но, — трезво напоминает ученый, — любовь не может решить всех проблем личности в его взаимоотношении с миром”. Не может, согласны. Но может ли “гнусное стремление” “невольнo приводить на память” процесс “очеловечивания”?» «Так или иначе, Демон — “невольное орудие зла”, и она (Тамара. — Л.Ф.) — “орудие”. Одно орудие убило другое орудие. За пассивность. Все правильно — добро должно быть с кулаками» (с. 259, 264–265, 266).

В моей рецензии не уделено столько внимания языковым шероховатостям, наличествующим в монографии Удодова. Но я оспорил ее стержневые идеи, в частности «кардинальной важности вопрос» о творческом методе Лермонтова. По утверждениям Удодова, это «особый метод, который не равен ни **романтизму** с “элементами” реализма, ни **реализму** с “элементами” романтизма, а представляет собою совершенно самобытный лермонтовский метод, который **типологически** может быть обозначен как **романтико-реалистический**» (с. 270–271).

Но если это действительно особый метод, равноправный с романтизмом и реализмом, то он может быть обнаружен и в других произведениях других авторов и лишь при этом условии подлежит

типологическому изучению. Если же нигде, кроме «Героя нашего времени», этот метод обнаружить нельзя, то правомерно ли говорить о его равноправии с реализмом и романтизмом, его типологической природе и т. п.

И еще. Действительно ли существует отличие «романтического реализма», отстаиваемого Удодовым, от «сосуществования», «сочетания», «совмещения», «синтеза» романтических и реалистических элементов, о которых множество раз писали другие лермонтоведы. Удодов пытается доказать, что обнаруженный им синтез, который он назвал даже «сшибкой» двух стихий романа, отличается от всех других тем, что он **равноправен**, а у его предшественников **неравноправен**: не то элементов романтизма больше, чем реализма, не то наоборот.

Эти утверждения имели бы смысл, если бы возможности современной науки позволяли, грубо говоря, «взвесить» романтические и реалистические элементы романа, но, увы, мы пока этому не научились, и я прихожу к достаточно болезненному для Удодова выводу, что его монография не содержит решения вопроса о методе «Героя нашего времени». Полагаю, именно это привело Фохта к выводу, что благожелательность моей рецензии опаснее для автора книги, чем насмешки фельетона Ломинадзе.

Не могу расстаться с Удодовым, не сказав несколько слов о его жене Екатерине Николаевне, которую я видел два-три раза, когда она сопровождала его во время поездок, но с которой мы знали друг друга по его рассказам. Это был второй брак Удодова, и я думаю, он с лихвой вознаграждал моего друга за неудачу первого.

Мне кажется, любой муж мог бы пожелать себе такую жену, как эта необыкновенная женщина. Она не просто обожала его, она творила его культ. Он был в ее глазах самым великим, гениальным, неповторимым, и любой, кто не разделял ее отношение к нему, навлекал на себя яростный гнев. Если кто-нибудь позволял себе разговаривать во время доклада ее мужа, она устремляла на провинившегося испепеляющий взгляд, а то и бросала раздраженную реплику. Как можно! Ведь выступает ОН!

После докторской защиты Исаяи Яковлевича Заславского (к слову сказать, непрямого участника Лермонтовских конференций, на которых я с ним познакомился и сдружился) мы, несколько приезжих ее участников, собрались у него дома отметить это событие. Из присутствующих у меня был наибольший стаж

знакомства с героем дня, и я произнес первый тост. Как только мы выпили, Ваню Семенович Шадури сказал: «Я думал, что грузины — лучшие мастера сочинять тосты, но сейчас убедился, что нам есть у кого поучиться». Что случилось с Екатериной Николаевной! Она буквально набросилась на сидевшего рядом мужа с сердитыми упреками: «Вот видишь! А ты почему молчал! Ты что, не мог сказать то же самое!» Все это громко, на полном серьезе, с нескрываемым раздражением. Как это так?! Он мог прославиться и упустил эту возможность, уступив ее кому-то другому! Может быть, поведение ее и было немножко смешно, но стоявшее за ним чувство — прекрасно.

Вся жизнь Бориса Тимофеевича была связана с Воронежским университетом. С его студенческой скамьи он ушел на фронт, его окончил после демобилизации, более тридцати лет заведовал в нем кафедрой русской литературы, поперебывал и деканом филологического факультета. Не сомневаюсь, что именно ему я обязан тем отношением к себе его учеников и коллег, в частности его преемника на посту заведующего кафедрой Андрея Анатольевича Фаустова, которое ощущал постоянно и ощущаю до сих пор.

Я получил предложение участвовать в сборнике в честь 85-летия Удодова и с благодарностью его принял. Но дожить до выхода в свет этого сборника юбилару не довелось, и составители дополнили предисловие таким примечанием: «...Мы не хотели бы механическим переименованием превращать юбилейный сборник в памятный. Он был адресован живому человеку, и отменить это — значило бы сыграть на руку смерти»⁶⁵.

⁶⁵ Редакционное предисловие // Аспекты литературной антропологии и характерологии. Воронеж, 2009. С. 6.

Б.Ф. глазами Л.Г.

Я впервые увиделся с Борисом Федоровичем Егоровым сорок лет назад, в конце 1975 года. Буду называть его Б.Ф., потому что он сам имеет обыкновение так называть себя и людей из своего окружения, восприму и я подобное обозначение. Встреча эта была непродолжительной, но уже тогда меня впечатлили его удивительная открытость и доброжелательность, готовность проникнуться запросами и нуждами совсем не знакомого ему человека.

Я-то ему знаком не был, но он к тому времени уже успел занять значительное место в моем духовном мире и сыграл заметную роль в моем становлении как филолога. Незадолго перед тем в «Вопросах литературы» прошла на шумевшая в свое время дискуссия о литературной критике ранних славянофилов, в ходе которой мы отстаивали сходные позиции. Его статья появилась раньше моей, и я говорил, что в ней намечен «единственно плодотворный путь изучения славянофильства»⁶⁶.

Не могу избавиться от ощущения, что какие-то мистические нити связывали нас всю жизнь. Когда я родился в Харькове, его семья также жила на Украине, в донбасском Лисичанске, а годом позднее переехала в Старый Оскол, от которого до Харькова километров полтора или чуть больше. Когда туда пришли немцы, и он, и я эвакуировались в одном направлении. Меня судьба забросила в Уральск, где я поступил в среднюю школу, а он закончил ее в городке Аркадак Саратовской области — тоже совсем неподалеку. Но важнее, конечно, другое. Одним из основных направлений моих научных интересов всегда была история литературной критики: я порядочно написал о русских критиках XIX века, кое-что издавал. Б.Ф. выпустил свою первую книжку о Добролюбове, когда я был студентом третьего курса, а позднее он — без преувеличения можно сказать — стал в этой области таким корифеем, что трудно кого-нибудь и поставить рядом с ним, а я, следовательно, был усердным его читателем.

Он защитил докторскую диссертацию на тему «Русская литературная критика 1848–1861 годов». Обширная серия его работ посвящена революционно-демократической критике. Среди них книги «Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского» и «Николай Александрович Добролюбов», выпущенные издательством

⁶⁶ Фризман Л. За научную объективность // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 142.

«Просвещение» и на славу послужившие преподаванию литературы и в школе, и в вузе. Будучи учителем школы рабочей молодежи, я ими пользовался, да еще как.

К этим книгам примыкают и такие монографии, как «Очерки по истории русской литературной критики середины XIX века», «Борьба эстетических идей в России середины XIX века», «Борьба эстетических идей в России 1860-х годов». Меньше всего мне хотелось бы уснащать свои заметки выписками из библиографического указателя трудов Б.Ф. Но каждая из этих книг — событие моей собственной жизни и факт моей биографии. На протяжении десятков лет он присылал мне все, что у него выходило, — присылал, когда это было делом обычным, присылал, когда стоимость пересылки выросла до невероятных размеров, и бандероли приходили, сплошь обклеенные десятками почтовых марок.



Б. Ф. Егоров

Я не знаю, сколько книг Б.Ф. стоит сейчас на моих книжных полках, они у меня не собраны вместе, а соседствуют с книгами других авторов на те же темы. Правда, есть у Б.Ф. книги, посвященные таким предметам, о которых только он один и писал. Покажите-ка мне еще чью-нибудь книгу, которая называлась бы «Обман в русской культуре»! Да и монография «Русские утопии», на мой взгляд, явление совершенно уникальное.

О русской критике существует море литературы. Но Б.Ф. сумел написать о ней так, как этого не делал никто. Я имею в виду его книгу «О мастерстве литературной критики. Жанры. Композиция. Стиль». Не секрет, что история критики почти всегда изучается как история идей, выраженных в критических работах. Б.Ф. пронизательно уловил недостаточность такого подхода, отметив, что «изучение критического наследия, как правило, ограничивается трактовкой содержания. Очевидно, здесь негласно подразумевается такой нехудожественный характер критики, как идеологическая и научная аналитичность, освобождающая исследователя от внимания к форме. Подобное отношение вдвойне несправедливо»⁶⁷.

⁶⁷ *Егоров Б. Ф.* О мастерстве литературной критики. Жанры, композиция, стиль. Л.: Сов. писатель, 1980. С. 7.

Как показывает подзаголовок книги Б.Ф., в центре его внимания то, что можно было бы назвать «поэтикой критики», и хотя он, конечно, был не единственным, кто изучал критику в этом аспекте, исследования, которое могло бы соперничать с тем, что осуществил Б.Ф., по методологической цельности, многообразию материала, глубине и аргументированности его осмысления, в нашей науке нет. Именно новизна подхода вызвала трудности при прохождении этой книги, о которых он рассказывает в своих воспоминаниях. Впрочем, преодолевать разного рода препоны ему доводилось не раз, и фактов такого рода мы знаем предостаточно.

Для Б.Ф. история критики всегда была органически связана с историей общественной мысли. Это отчетливо сказалось в его работах о петрашевцах (монография «Петрашевцы», 1988; сборник «Первые социалисты: Воспоминания участников кружка петрашевцев в Петербурге», 1984), славянофилах, в частности о Хомякове: его стихотворения и драмы вышли в Большой серии «Библиотеки поэта», в сборнике «О старом и новом» переизданы статьи и очерки.

И конечно, Аполлон Григорьев! Никто не может даже отдаленно соперничать с Б.Ф. по вкладу, внесенному в изучение этого выдающегося деятеля русской культуры. По его признанию, ему потребовалось около 10 лет мучительного «пробивания» в издательстве «Художественная литература» тома «Литературная критика», который вышел в 1967 году. Потом удалось издать «Воспоминания» в серии «Литературные памятники» (1980), «Театральную критику» (1985); стали переиздаваться стихотворения и поэмы. Наконец, в разгар перестройки, в 1990 году, издательство «Художественная литература» выпустило григорьевские «Сочинения в двух томах», избранные стихи, прозу, критику и немного писем.

Как ни внушителен вышеприведенный список, он далеко не полон. К нему надо добавить сборник статей «Искусство и нравственность» (1986), выпуск «Воспоминаний» вторым изданием, подготовку полного собрания писем в серии «Литературные памятники». В 2003 году осуществлено факсимильное переиздание сборника «Стихотворения Аполлона Григорьева» (выпущенного в 1916 году Александром Блоком), снабженное сопроводительной статьей и примечаниями Б.Ф. Но и это не все.

Помимо того, что Б.Ф. сделал сам, он также заложил библиографическую базу того, что сделали другие: еще в 1961 году он

составил и выпустил в свет «Библиографию критики, художественной прозы, писем Григорьева».

Лично мне наиболее дорога книга Б.Ф. «Аполлон Григорьев» в серии «Жизнь замечательных людей». Я воспринимаю ее как творение не литературоведа, а прежде всего — писателя. В ней создан такой незабываемый, не побоюсь сказать, конгениальный художественный образ, который для меня сопоставим разве что с образом Мольера в выпущенной в той же серии книге Булгакова.

Сегодня Б. Ф., с которым я общаюсь мало и вижу редко, представляется мне одним из самых близких людей на земле, и я могу объяснить, откуда идет это ощущение. Оно укоренилось во мне под влиянием его «Воспоминаний». Ничто из им написанного, а мной читанного, не производило на меня такого впечатления и не вызывало такого ощущения сокровенной, прямо-таки интимной близости, как эти два тома.

Впрочем, мое представление о таланте и своеобразии творчества Б. Ф. как мемуариста сложилось значительно раньше, чем появился первый из этих томов. В конце 1990-х годов собирался сборник научных работ и материалов в честь 75-летия профессора Прикарпатского университета М. В. Теплинского, где участвовали и я, и Б. Ф. Он напечатал там мемуарный очерк «В ленинградском университете 1960-х годов», позднее включенный в книгу «Воспоминания». За минувшие с тех пор четверть века я начитал столько написанного им в этом жанре, что вполне могу считать себя знатком этого раздела его творческой биографии. Но и сегодня продолжаю расценивать этот очерк как шедевр и непревзойденный образец мемуарного мастерства Б. Ф.

Написанный необыкновенно лаконично, он вмещает в себя массу метких, острых наблюдений и оценок. Чего стоит характеристика гремевшего когда-то скандальной славой, а ныне подзабытого профессора МГУ В. А. Архипова: «Если представить себе тип-характер пресловутого Жириновского в виде вульгарного социолога с легким антисемитским акцентом, то будет вылитый Архипов. С хорошо подвешенным языком, нахальный, грубо нападавший на противников, он бушевал на кафедре и на страницах журнальных критических статей». А «николашки», «посредственные ученые и педагоги, державшиеся на плаву благодаря партийным билетам и проведению в жизнь всех предначертаний партии и правительства!» А Реизов, серьезный ученый, который «увы, про-

дал душу дьяволу, лакействовал перед партийными подонками!» А «красный, как рак, В. Г. Базанов. Он тоже начинал нормальным литературоведом, опирался на новые архивные материалы, а потом, как и Реизов, продал совесть...» А «Выходцев — один из наглядных представителей официального, партийного литературоведения, конечно, не пользовавшийся авторитетом у студентов; кто-то сочинил о нем хороший каламбур: “Известно, откуда он выходцев и куда входцев”»⁶⁸. Воскрешаю в памяти эти филигранные формулировки, и трудно остановиться.

Именно в этом очерке Б. Ф. рассказал о показательном эпизоде: как его приятель Л. Н. Столович однажды пришел к нему «взволнованный».

— Слушай, ты правда еврей?

— Конечно, а ты что, сомневался? — с ходу заулыбался я.

— Да нет, я серьезно. Только что Аристэ сказал мне: специально пошел в отдел кадров и посмотрел личный листок Егорова — еврей».

Когда выяснилось, что «ни к чему нельзя было придаться: и русский я, и партийный с 1957 года, <...> нашли старый способ — обратиться к слухам-сплетням. Говорят, дескать, что у Егорова жена-еврейка. А это для Катькало (начальник отдела кадров. — Л. Ф.) почти то же, что и национальность самого претендента. Моя жена от прадедов имеет финскую кровь, но ни капли еврейской»⁶⁹.

Сегодня многие и осознать не сумеют серьезности всей этой ситуации, не поймут, с чего это Столович пришел к Егорову «взволнованный». Все это, как писал Твардовский,

Вам —

Из другого поколения —

Едва ль постичь до глубины...⁷⁰

Но мы из того поколения, которое постигло это до глубины, по выражению А. Н. Толстого, поротой задницей. В те времена подшить человеку еврейство означало скомпрометировать, перекрыть пути, в какой-то степени уничтожить. Не зря же власти так настойчиво пытались поиспользовать в этих целях отчество злейшего

⁶⁸ Егоров Б. Ф. Воспоминания. С. 339, 340, 343.

⁶⁹ Там же. С. 337, 338.

⁷⁰ Твардовский А. Т. По праву памяти // Новый мир. 1987. № 3. С. 193.

своего врага — Солженицына. Не получилось, язвительно вспоминал писатель, оказался я русский. Русским «оказался» и Б.Ф.

Мемуарной литературы, как все мы знаем, море, но мемуарам Б.Ф. принадлежит в ней свое, совершенно неповторимое место. Это не мое субъективное мнение, это осознавал он сам, и я имею тому документальное подтверждение. На книге «Воспоминаний», подаренной мне 5 апреля 2005 года, он сделал такую надпись: «Дорогому Леониду Генриховичу Фризману — мой собственный мемуарный жанр». Самое главное слово здесь — «жанр». Б.Ф. осознал, что присланная книга — не просто образец, но род, тип мемуарной литературы, его «собственный» жанр. И это действительно так. При всей разнородности очерков, составивших оба тома его «Воспоминаний», есть нечто, что определяет их принадлежность именно к данному ее типу.

Мне же лично воспоминания Б.Ф. ответили на вопрос, откуда проистекает мое ощущение нашей с ним сегодняшней сокровенной душевной близости. Оказалось, что даже в те ныне уже отдаленные времена, когда мы и знакомы не были, наши сердца бились в такт, мы на удивление одинаково воспринимали события и оценивали людей. Подтверждающих это примеров можно вспомнить столько, что и малая их толика не уложится в заметки, которые я сейчас пишу. Но одно сопоставление хочется провести. В очерке «Найти бы в архиве КГБ мои листовки!» Б.Ф. рассказывает, как ему после ввода наших танков в Чехословакию в августе 1968 года трудно было удержаться от желания как-то действовать, и он принялся за изготовление агитационных листовок. Каждый, кто помнит или хотя бы представляет себе атмосферу тех лет, согласится, что иначе как подвигом его тогдашнее поведение не назовешь. Между тем Б.Ф. был в ту пору уже не юношей, он возглавлял редколлегию «Библиотеки поэта», и, казалось бы, психология его решений и поступков должна была быть совсем иной, чем у Анатолия Марченко и Ларисы Богораз. Но он ринулся как раз в их ряды и, конечно, рисковал тем, что разделит их участь. Был составлен, по его выражению, «заманчивый план»: написать краткий и доходчивый текст, размножить его в достаточно большом количестве экземпляров, разбросать одну-две пачки листовок в толпе людей на Невском проспекте. И отказался он от этого, как он говорит, «интересного замысла» не потому, что осознал всю меру риска, которой подвергал свою будущую жизнь, а потому, что боялся под-

вести сотрудников редакции, которых стали бы таскать на изнурительные допросы.

Сразу хочу признаться, что я на героизм, который намеревался проявить Б.Ф., не был способен. Но негодование, которым я был охвачен при известии о бандитской акции брежневского руководства в августе 1968 года, было вполне созвучно тому, которое испытал тогда Б.Ф. и которое и во мне порождало потребность «как-то действовать». Я сотрудничал в то время с отделом публицистики «Нового мира», в котором мне удалось напечатать статью «Походы бесславные и бесплодные». Написанная в эзоповой манере в форме рецензии на монографию Е. Черняка о контрреволюционных интервенциях и прятавшая мысли автора в то, что кремлевские цензоры именовали неконтролируемым подтекстом, она, по существу, конечно, перекликалась с листовками, которые собирался распространять Б.Ф. Помню, крутилось тогда в мозгу четверостишие Антокольского, переосмысленное и адресованное подавленным чехам:

Я занавес дал. Я не в силах помочь им.
А ночь между тем продолжает лететь.
Историки знают конец этой ночи,
А мне комментарии некуда деть⁷¹.

Думаю, подобное состояние переживал и Б.Ф. Только он «делал комментарии» в листовки, а я — в статью.

Сходство в отношении к вторжению в Чехословакию было, может быть, самым ярким доказательством моей духовной близости с Б.Ф., но, конечно, далеко не единственным. Оно систематически проявлялось в сходстве его и моего отношения к людям, описанных в «Воспоминаниях». Разумеется, дружеский круг Б.Ф. был несравненно шире моего, но, когда он писал о людях, с которыми довелось общаться и мне, вновь и вновь оказывалось, что мы принимали и отторгали в них одно и то же.

Характерный пример — образ Я.С. Билинкиса, созданный Б.Ф. в артистически написанной главке «Яша и Яков Семенович». Мне довелось довольно много общаться с этим обаятельным человеком, я восхищался остротой его ума, его осведомленностью о куче самых разнообразных вещей, его мастерством рассказчика. И вместе

⁷¹ Антокольский П.Г. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1982. С. 459.

с тем поражало, как Билинкис, видевший пороки и уродства современной советской действительности, зло высмеивавший тугодумие и бестолковость брежневского руководства, впадал в какой-то прямо-таки религиозный трепет, когда речь заходила о первоисточнике всех современных нам зол — Октябрьской революции и деятельности Ленина.

Б.Ф. рассказывает о том, как Билинкис «демонстративно покинул застолье в родственном кругу, когда кто-то рассказал смешной анекдот про вождя»⁷². Нечто подобное произошло и на моих глазах. Яков Семенович приехал в Харьков, где оппонировал моей аспирантке, и, когда мы сидели за праздничным столом, кто-то (может быть, именно я — не помню точно) критически отозвался об Октябрьской революции. Что стало с Билинкисом! Он вскипел, готов был растерзать автора этого высказывания, успокоить его стоило неимоверного труда.

Не могу доказать правильность моего предположения, но мне всегда казалось, что то, что этот филолог, Божией милостью обладавший безупречным вкусом, искусством давать проникновенно точные толкования и оценки писателей и литературных явлений, возмутительно принижал и порочил Гумилева, имело те же корни — он продолжал считать великого поэта, павшего жертвой зверской, типично чекистской расправы, участником антисоветского контрреволюционного заговора.

Того же происхождения, на мой взгляд, была и неприязнь Билинкиса к Галичу. Получив мою книжку об этом поэте, он в ответном письме стал меня уговаривать, что не стоит «опускаться до обвинений режиму» и не мое это дело как историка литературы. Совершенно иначе отнесся к ней Б.Ф.: «Меня не удивила книга: ведь большинство из нас в нормальных условиях занимались бы современностью — и к ней всегда тянемся». Рассказывал о своем участии в подготовке «сборника о наших бардах», в котором, видимо, не обошлось без «обвинений режиму», потому что «сборник разрезали на корню».

Именно в связи с Билинкисом Б.Ф. высказывает замечательную мысль, воспринятую мной и живущую во мне постоянно: «Достоинства перетекали в недостатки, их нельзя было отделить», — и дальше фраза, выделенная курсивом: «Отдельно не продается!»

⁷² Егоров Б.Ф. Воспоминания. С. 335.

Массу воспоминаний вызывает во мне егоровский очерк «Е. А. Маймин как тип русского интеллигента». Я с этим человеком, который, к слову сказать, был рецензентом моей докторской диссертации, долго дружил, бывал в его доме, а с его дочерью Катей поддерживаю близкие дружеские отношения до сих пор. Именно характеристике Маймина Б. Ф. предпослал глубокое рассуждение о том, чем отличается интеллигент от мещанина. «Интеллигент радуется успехам коллег и учеников, мещанин им люто завидует. Интеллигент знакомится с человеком, предполагая в нем открытость и доброжелательство (презумпция невиновности!), мещанин подходит настороженно и подозрительно. Интеллигент щедро дарит идеи, книги, время, мещанин подарки делает напряженно и с оглядкой. И т. д. и т. п.»⁷³.

Еще один близкий и любимый мной человек, занявший важное место в моей жизни, о котором рассказывает Б. Ф., — Ефим Григорьевич Эткинд. Я читал очерк о нем со смешанными чувствами боли и ярости. Но ведь он и написан с намерением вызвать именно эти чувства! События, описанные Б. Ф., происходили на моих глазах, в пору моей наибольшей близости с Е. Г., когда я был частым гостем в его квартире на улице Александра Невского. Поскольку он мне полностью доверял, я был посвящен во всю подноготную происходившего.

В ряду многочисленных мемуарных очерков Б. Ф. есть и такой, который был написан, можно сказать, с моей подачи, и на нем я остановлюсь подробнее. Он называется «Несколько черт к портрету С. А. Рейсера», и обстоятельства его создания таковы. В 2004 году, в канун приближавшегося 100-летия со дня рождения Рейсера, я решил написать книгу об этом замечательном человеке. Я его любил, смею думать, он меня тоже; зная о близости Рейсера с Б. Ф., я обратился к нему с просьбой быть ответственным редактором задуманной мной книги и написать к ней несколько вступительных слов.

Б. Ф. не только принял предложение, но тут же сделал мне истинно бесценный подарок. Я получил от него огромную папку, можно сказать, небольшой чемодан весом в несколько килограммов, разнообразных материалов, отражавших научное творчество и деятельность Рейсера 20-х годов. Там были и творческие рукописи, и неопубликованные работы, и письма, заметки и пр. В моей

⁷³ *Егоров Б. Ф.* Воспоминания. С. 405.

книге использована лишь малая их часть, но благодаря содействию В. С. Баевского удалось напечатать в смоленских «Ученых записках» большую статью «Молодой Рейсер», а главное — реконструировать по разрозненным рукописям, имевшим многослойную, нередко трудночитаемую правку, обширное исследование Рейсера о «Повестях Белкина» — единственный в его творческой биографии вклад в пушкиноведение.

Именно в качестве предисловия к моей книге «Научное творчество С. А. Рейсера» была впервые опубликована упомянутая мемуарная статья Б.Ф., позднее перепечатанная в сборнике «Воспоминания-2». Прочитав книгу в рукописи, Б.Ф. сделал несколько замечаний, большую часть которых я принял. Но было среди них и такое: «Вы нехорошо завысили место С.А. (Думаю, ему это было бы неприятно.) Из питерских знакомых мужского пола С.А. был мне самым близким, но я никогда не ставил его в первый ряд наших замечательных литературоведов. Не только универсалы ренессансного уровня вроде В. М. Жирмунского, но и ряд ведущих профессоров ЛГУ все-таки крупнее нашего Соломона». Я не считал нужным ничего менять в тексте своей книги, но в ее заключении ответил на критику Б.Ф. так: «Я отдаю себе отчет в том, что среди русских литературоведов XX века были ученые большего масштаба и оставившие в науке более значительный след. Я Рейсера ни с кем не сравнивал и ни над кем не поднимал. Но я убежден в том, что в той области, которую он для себя избрал, он не был превзойден никем. Если бы кто-то из тех других, более великих, решил написать книгу о современной русской палеографии или статью об истории слова “демагог”, он не сделал бы этого лучше, чем Рейсер»⁷⁴.

Возвращаясь к общей характеристике мемуарного творчества Б.Ф., скажу, что, на мой взгляд, немного найдется авторов, которые обладали бы такой способностью располагать читателя к себе и побуждать его относиться с доверием к каждому слову, которое мы слышим из его уст. Временами написанное им просто поражает своей безыскусной откровенностью. Вот, например, начало главки «Еда и питье»: «Всегда любил поесть. Радостно, жадно. Откусить большой кусок, взять ложку с горюшкой, чтобы был полон рот, чтобы ощущать обилие пищи. Люблю не тоненькие, а по-

⁷⁴ Фризман Л.Г. Научное творчество С. А. Рейсера. Харьков: Новое слово, 2005. С. 110.

толще нарезки сыра или ветчины. Иными словами, мой идеал поедания весьма далек от правил хорошего тона»⁷⁵. Это написано шуточно, с очевидной примесью самоиронии. Но совсем не в шутку автор говорит на последних страницах своей книги: «Старался быть честным. Даже о покойниках пытался говорить правдиво — все, что знал и чувствовал. Нет, не все, умолчания были. Обо всем невозможно рассказывать. Но лжи не было. И не было даже культурного лицемерия...»⁷⁶

Добавлю от себя, что стремление быть честным приводило Б.Ф. и к конфликтным ситуациям. Осведомленные знают, какие упреки навлек он на себя очерком о Ф.Я. Прийме. Б.Ф. шел на это сознательно, он и название ему дал такое, какого не имеет ни один из разделов его мемуарной книги: «Вместо воспоминаний о Ф.Я. Прийме». Почему «вместо»? По моему мнению, Б.Ф. хотел этим акцентировать, что перед нами не субъективное восприятие этого деятеля, нормальное для любых воспоминаний, а достоверные, документально подтверждаемые факты. Б.Ф. не позволил себе и здесь быть рабом собственных эмоций. Он не обошел молчанием ни «приличные статьи» Приймы (а я добавил бы его вклад в подготовку полного собрания сочинений Белинского), ни «некоторые его человеческие свойства».

Характеристика Б. Ф. была бы не только не полной, но и ущербной, если бы она не давала представления о том, как сочетаются в нем ученый и организатор науки. Это два совершенно разных качества, разных таланта, и трудно сказать, который из них более ценен и редок. Всему миру известно имя Григория Перельмана, решившего проблему Пуанкаре и вошедшего в первую десятку гениев нашего века. Но что-то никто не предлагает ему должность директора института математики... От организатора науки требуются и особый ум, и особый такт, и особое умение проникать в души своих сотрудников, и еще много тому подобного. Всем этим природа щедро наделила Б.Ф., отсюда летопись его замечательных достижений, и сегодня еще не дописанная до конца.

Для меня это всегда было предметом отдельного восхищения, потому что сам я такими качествами не обладаю, всю жизнь стремился избежать подобных должностей, а оказавшись на какой-то из них, был, как сам я думаю, не на месте. Иное дело Б.Ф.!

⁷⁵ *Егоров Б. Ф.* Воспоминания. С. 122.

⁷⁶ Там же. С. 469.

В 1964 году он стал заведующим кафедрой русской литературы Тартуского университета. Его усилиями и его умением на ней был создан блистательный научный коллектив, центральной фигурой которого был Юрий Михайлович Лотман, сделавший крошечный эстонский город известным филологам всего мира. Позднее Б. Ф. рассказал, что вскоре после знакомства с Лотманом они по-настоящему подружились, пройдя вместе без ссор и охлаждений свыше сорока трудных лет.

Лотман скончался в 1993 году, спустя шесть лет Б. Ф. воздвиг ему своего рода памятник, выпустив в свет книгу «Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана». Предложение написать ее автор принял, по его собственному признанию, «с честью и радостью», справедливо отдавая себе отчет в том, что какими бы достоинствами ни обладали другие исследования научных заслуг Лотмана, никто не соединит так тщательно анализ его творческой эволюции с реальной человеческой биографией, с конкретными, нигде не зафиксированными высказываниями и с конкретными чертами характера. Не раз, перечитывая эту книгу, которую Б. Ф. мне, разумеется, прислал, возвращался к мысли, что с ее страниц нам предстают два образа: образ ее героя и не менее колоритный и привлекательный образ автора.

С 1968 года Б. Ф. на протяжении десяти лет возглавлял кафедру русской литературы ЛГПИ имени А. И. Герцена. Обращало на себя общее внимание, что в те годы, отмеченные разгулом антисемитизма, именно через эту кафедру прошли и стали докторами наук многие одаренные специалисты с «неблагозвучными» фамилиями. Это была заслуга не одного Б. Ф., но его в первую очередь. Я сам защищал докторскую именно тогда, хотя и в другом месте, и «толкую» об этом, по выражению Твардовского, «не понаслышке, не по книжке». Мой в прошлом ученик, а ныне американский профессор, уже живя в Америке, писал, что для еврея защитить докторскую в те годы было подвигом. Скольким из нас не довелось бы совершить этот подвиг, если бы не Б. Ф. и его единомышленники!

Оставив заведование кафедрой, Б. Ф. перешел в Институт истории АН СССР, сейчас он главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Института истории РАН, что, конечно, вполне естественно, потому что по тематике и направленности своих работ он именно историк, точнее, историк общественной мысли и общественных движений, может быть, даже в большей степени, чем «чистый» литературовед. Но он не отошел при этом от литера-

туры, о нет! Он был и остается незаменимым и несравненным организатором редакционно-издательского дела. Еще в 60-е годы он был заместителем главного редактора «Библиотеки поэта». Каждый, кто хоть немного осведомлен о работе этой редколлегии, подтвердит, что при главном редакторе В. Н. Орлове его заместители, будь то Б. Ф. Егоров или И. Г. Ямпольский, играли не меньшую, а порой и бóльшую роль, чем их шеф. В выпуске вышедших тогда изданий, в постоянном противостоянии с мрачным монстром тех времен, главным редактором издательства «Советский писатель» Н. В. Лесючевским, многое легло на их плечи, и они выносили это с честью и достоинством.

Но еще бóльшим, несравненно бóльшим стал вклад Б. Ф. в работу серии «Литературные памятники». Он вошел в ее редколлегию сорок пять (!) лет назад, в 1971 году, в 78-м стал заместителем председателя, а с 1991 по 2002 год — председателем. И это был не зицпредседатель Фунт, не свадебный генерал. Определение магистральных направлений развития серии, планирование новых типов «памятников» всегда сочетались с пристальным вниманием к каждой книге, с зорким выискиванием в них даже мелких огрехов. Меру его требовательности довелось испытать на себе и автору этих строк.

Не секрет, что иные наши современники получают в подарок книгу, не раскрыв, ставят ее на полку и отписывают автору, как она им понравилась. От Б. Ф. такого не дождетесь. Он читает и реагирует соответственно. Вот ответ на мою монографию «Декабристы и русская литература»:

10 мая 1988 г.

Дорогой Леонид Генрихович!

Большое спасибо за книгу — сразу же стал ее читать. Она хороша свежестью и обилием материала. Несколько замечаний.

О петрашевцах можно было бы трагичнее показать: декабристы в ссылке (М. Фонвизин) в чем-то дальше декабристов пошли! А если бы им свободу печати и изучения! Потом: стоило бы сказать, что к Черносвятову-уряднику декабристы отнеслись более чем настороженно.

О славянофилах — хорошо, но можно бы рассмотреть двойное отталкивание:

Декабристы — Чаадаев — славянофилы.

Но самый болезненный укол от Б.Ф. я получил после выхода в свет в «Литературных памятниках» книги «Северные цветы на 1832 год». Во время его подготовки мы, т. е. я и мой ответственный редактор А.Л. Гришунин, получили находившийся в собрании С.И. Зильберштейна экземпляр альманаха с дарственной надписью Пушкина Плетневу и, доверившись владельцу книги, воспроизвели этот автограф с указанием, что он воспроизводится впервые. Но внимательный и тщательный Б.Ф. предъявил нам том «Литературного наследства», в котором воспроизведен тот же автограф в качестве принадлежавшего П.Е. Щеголеву. Каковы были пути и злоключения этой несчастной книги, я не знаю. Фридендер однажды раздраженно сказал мне, что Зильберштейн — вор, обокравший вдову Щеголева. Что бы там в самом деле ни произошло, меня это абсолютно не извиняет. Я много раз держал в руках этот том «Литературного наследства», видел этот автограф, но, готовя свое издание, о нем не вспомнил. А Б.Ф. вспомнил!

И совсем недавний факт. Когда в 2007 году не стало П.А. Николаева, главного редактора биографического словаря «Русские писатели», и судьба этого уникального издания очередной раз повисла в воздухе, кто оказался тем единственным нашим современником, которого уговорили взять на себя роль его спасителя? Он, наш Б.Ф.! Он сумел вдохнуть новые силы в бесценный авторский коллектив, найти источники финансирования (он мне сам об этом рассказывал), и сегодня есть реальная надежда, что дело, начатое тридцать лет назад, ибо 1989 год — это не год начала работы над словарем, а год выхода первого тома, будет доведено до победного конца.

Мне не довелось сотрудничать с Б.Ф., когда выходили подготовленные мной издания в «Библиотеке поэта», но его роль в моей деятельности в серии «Литературные памятники» я считаю огромной. Мой первый «памятник» вышел в 1975 году, за ним последовало еще три, после чего моя деятельность в этом направлении прервалась надолго, как мне казалось, навсегда.

Но случилось иначе. В начале нынешнего века (точная дата мне неизвестна) появилась идея подготовить для издания в «Литпамятниках» сборник «Борис Чичибабин в стихах и прозе», и в редакцию была направлена соответствующая заявка. По неизвестным мне причинам меня к подготовке этой книги не привлекли. Между тем я был тогда не только человеком, сделавшим для изучения Чичибабина больше, чем кто-либо другой, но и единственным

мыслимым кандидатом на участие в реализации представленной заявки, имевшим опыт подготовки «памятников». Без меня некому оказалось написать сопроводительную статью, довести до ума комментариев, который был подготовлен кустарно, непрофессионально и даже в малой степени не отвечал требованиям серии.

Лишь когда определилась угроза полного провала дела, вдова поэта Л. С. Карась-Чичибабина позвонила мне и попросила спасти издание. У меня нет сомнений и в том, что это было сделано по рекомендации Б.Ф., а уж то, что не обошлось без согласования с ним, так это точно. Он изначально намечался на роль ответственного редактора книги, Чичибабина высоко ценил, превосходно знал и даже сам намеревался (да вроде и намеревается!) написать о нем.

Я не заставил себя уговаривать, отложил другие дела, и через несколько месяцев рукопись была готова. Создалась деликатная ситуация: я ведь не упоминался в представленной ранее в редколлегию и утвержденной ею заявке. Все проблемы разрешил Б.Ф. Он, находившийся тогда в длительной поездке в Соединенные Штаты, направил в адрес редколлегии артистически написанное письмо, копию которого получил и я. В этом письме он извинялся за то, что Л. Г. Фризман, изначально игравший важную роль в подготовке издания, по его недосмотру (!) не фигурировал в заявке, и просил официально утвердить меня соподготовителем книги, что, разумеется, и было сделано. Когда сигнальный экземпляр поступил в «Науку», Б.Ф., первым взявший его в руки, торжественно написал мне: «Том хорош!»

При таких обстоятельствах неожиданно для меня самого состоялось мое возвращение в «Литпамятники». Встретили меня в редакции как родного, будто и не было многолетней разлуки: обнимали, целовали, уговаривали возобновить сотрудничество в серии и подготовить новую заявку. Посоветовавшись с Б.Ф. и еще одним моим покровителем в редколлегии — Всеволодом Евгеньевичем Багно, я предложил для издания в ЛП драму М. П. Погодина «Марфа, Посадница Новгородская». «Изюминка» этой книги состояла в том, что в ней воскрешалась почти двухвековая история темы Марфы Посадницы в русской литературе, а главным событием этой истории была именно драма Погодина.

Книга была подготовлена и издана с поразительной быстротой — практически через год после выхода Чичибабина. Окрыленный успехом, я подал еще одну заявку — на издание в «Литпамятниках»

«Малороссийских повестей» Г.Ф. Квитки-Основьяненко. Здесь меня ждала удача. Дело в том, что Квитка издал при жизни две книжки «Малороссийских повестей», которые и фигурировали в моей заявке. Но, войдя в материал, я обнаружил, что им была подготовлена к печати и третья книжка, по каким-то причинам не вышедшая в свет, но сохранившаяся в архиве Института литературы Академии наук Украины, том самом, в который я когда-то переслал рукописи молодого Рейсера и где мог рассчитывать на всяческую помощь. Представилась, таким образом, возможность существенно дополнить основной корпус «памятника». Кто был первым, кому я сообщил об этой находке? Конечно, Б.Ф.! Он воспринял это известие — не побоюсь сказать — с восторгом. Наша переписка происходила в конце 2014 года, и он мне написал, что мое сообщение стало лучшим новогодним подарком и для него, и для редколлегии.

Особо хочу сказать о том, что Б.Ф. был не только моим покровителем, но также много помогал моим аспирантам. Для меня это всегда было особенно существенно, потому что на протяжении по крайней мере трех десятилетий работы в Харьковском педагогическом университете основное место в моей деятельности занимала именно аспирантура. Темы написанных под моим руководством диссертаций были самые разные: от древнерусской литературы до современной фантастики, от Державина до Высоцкого. И когда, случалось, темы были «егоровские», я не раз обращался к нему и пользовался его советами.

Конечно, под прямым влиянием его книги я дал своей ученице тему «Жанры русской литературной критики первой четверти XIX века». И он это уловил, приехал к ней оппонентом и своим незыблемым авторитетом и блестящим выступлением заткнул рты моим недоброжелателям, обеспечив успех защиты. Очень помог другой моей любимице — Н.Н. Филяниной, написавшей превосходную работу «Автобиографический элемент в творчестве А.А. Григорьева». А когда шла работа над диссертацией о В.П. Боткине, и мы никак не могли достать монографию «Боткины», я обратился к Б.Ф. Представляю себе, какой обременительной была для него эта просьба: дело было в 2007 году, а книга вышла в 2004-м. У него небось экземпляров уже не осталось, но книгу он мне все-таки раздобыл и прислал, добавив к обычной дарственной надписи такой «сетующий» постскрипtum: «Увы, о Вас. Петр. глава сильно сокращена по сравн. со старым тартуским вариантом».

Запомнился приезд Б.Ф. в Харьков в 2004-м, когда он читал лекции в нашем университете. Я и прежде знал, как легко он на подъем, как много времени проводит на колесах поездов и на крыльях самолетов. Где только он не читал спецкурсы, где только не выступал с лекциями! Сегодня мог оказаться в Турине, а завтра — в Ижевске. Я ему, шутя, говорил: «У вас, Б.Ф., в Петербурге пересадки». Но к Харьковскому у него было отношение особое: он воспринимал его как окрестности с детства ему родного Лисичанска.

Я провел с ним в тот его приезд порядочно времени и не мог не любоваться: как стремительно он ходит, как лихо забрасывает на спину тяжеленный, набитый книгами, неподъемный рюкзак. Студенты — да и все мы! — слушали его как замороженные. Еще бы! Он говорил о Белинском, Боткине, Добролюбове так, будто это были его давние знакомые, с которыми он провел не один десяток лет. Он работал тогда над своей книгой «Русские утопии». Мы слушали отрывки из нее, пытались оценить масштабность труда, который рождался на наших глазах. Поскольку я на правах наиболее близкого ему харьковчанина занимался организацией его жизни, устройством быта, именно во время этой его поездки особенно оценил присущие ему точность и обязательность во всем, что он делает, и в науке, и в быту.

Отношения между людьми с годами меняются. Сходят на нет возрастные отличия. Когда Б.Ф. было четырнадцать лет, а мне пять, стал бы он на меня смотреть? А со временем — ничего, общаемся практически на равных. Меняются оценки тех или иных свойств и черт характера. Сейчас меня уже не так впечатляют эрудиция Б.Ф., присущая ему глубина анализа литературных явлений и даже его уникальная одаренность организатора исследовательского и издательского дела — все это стало более или менее привычным. Зато возросла оценка неизменной чистоты и благородства его общественной позиции, восхищение трезвостью его подхода к вещам, да и просто его здравым смыслом.

Врезалась в память такая его мысль: «Я родился 29 мая 1926 года, и все предшествующее жило без меня, я могу узнавать о нем лишь от других людей — устно, письменно, печатно — или от материальных памятников. А о будущем после моей кончины я, сомневающийся в существовании души потом, то есть в вечном безвременье, наверное, совсем не узнаю. Вот тебе дается определенный отрезок времени — и будь любезен прожить его, после первых

лет детского беспамятства, в сознании, в видении мира, его исторического движения, в своих собственных деяниях...»⁷⁷

В этих словах «будь любезен прожить» мне слышится подспудная убежденность, что жизнь — не просто существование, но некое исполнение долга, а последующее развитие мысли это как бы подтверждает. В свой «отрезок времени» Б.Ф. живет так, что дай Бог каждому. И то, Бог-то, может быть, и даст, да не каждый сумеет...

⁷⁷ Егоров Б. Ф. Воспоминания. С. 14.

Обаяние Аникста

Ни времени, ни обстоятельств, при которых произошло мое знакомство с Александром Абрамовичем Аникстом, я не помню. Случилось это в 1964–1965 годах и, скорее всего, при посредничестве Льва Адольфовича Озерова, жившего неподалеку, в том же «писательском городке». Сблизились мы необыкновенно быстро, сразу почувствовав друг в друге единомышленников и людей, близких по духу. Приезжая в Москву, я первым делом сообщал ему мой гостиничный телефон, устанавливалась двусторонняя связь, он посвящал меня в свои планы, и я не упускал возможности провести вечер в заполненной от пола до потолка книгами квартирке на Красноармейской.

На мой взгляд, у него была необыкновенно привлекательная внешность: благородная белая шевелюра сочеталась с молодыми чертами лица, добрая, ласковая улыбка, а главное — лучистый, всепронизывающий взгляд, в котором как-то сливались и доброжелательность к собеседнику, и легкий скепсис, и грустная ирония по поводу происходящего вокруг. Мне всегда казалось, что так смотрел на жизнь и людей Бернард Шоу.

Между нами сразу сложилась атмосфера полного доверия в обсуждении любых вопросов — от политических до интимных. Дополнительно и ощутимо сблизила нас скандальная история, произошедшая в годы моего непродолжительного сотрудничества в «Новом мире» Твардовского, когда я пытался напечатать там статью «Ирония истории». Аникст читал статью еще в рукописи, переживал вместе со мной все зигзаги этого драматического сюжета, а по его завершении внушал мне, что я еще легко отделался и что дело могло обернуться для меня гораздо более серьезными последствиями. Случайно или нет, но после этих событий обращение «глубокоуважаемый» в его письмах сменилось на «дорогой». Должен признаться, что я «по младости, по глупости» небрежно относился к сохранению полученных писем, и многие из них, в том числе от Аникста, погибли, а выжили большей частью те, которые содержат оценку полученных им от меня книг, которой я, понятно, очень дорожил. Вот наиболее раннее из них, как и некоторые другие, не датированные, но относящиеся к 1966 году. Как показывает постскриптум, наши отношения приобрели к тому времени личный характер.



А. А. Аникст

Глубокоуважаемый Леонид Генрихович!

Спасибо за Вашу книгу «Творческий путь Баратынского», которую с удовольствием прочитал.

С искренним приветом,

А. Аникст

P. S. Напишите, когда будут новости, все равно + или –.

В конце 1973 года я послал ему книгу «Жизнь лирического жанра. Русская элегия от Сумарокова до Некрасова» и получил такой отклик:

Дорогой Леонид Генрихович!

Самое лучшее новогоднее поздравление я получил от Вас. Спасибо. Прочел с большой пользой для себя, так как вопросы поэзии меня живо интересуют.

Мою новую книгу о Шекспире не покупайте, я Вам ее пришло. Там тоже будет кое-что о поэзии.

Продолжайте в том же духе, и да подавятся и сгинут Ваши враги.

С искренним приветом,

А. Аникст

Книга, которая здесь упоминается, «Шекспир. Ремесло драматурга» и надпись, сделанная на ней, воспринимаются мной как некое продолжение этого письма: «Дорогому Леониду Генриховичу Фризману в знак глубокого восхищения его прекрасными работами о русской литературе. Ваш А. Аникст».

Тогда же или чуть позднее состоялся врезавшийся в мою память разговор, во время которого он сказал: «Вы знаете, я увлекся Гёте», — сказал так смущенно, будто признавался в чем-то греховном, вроде увлечения пожилого мужчины юной девушкой. Теперь-то мы знаем, что это увлечение переросло в нешуточную любовь и принесло такие плоды, как монографии «Гёте и Фауст» и «Творческий путь Гёте». Под редакцией Аникста вышло в 1975–1980 годах десяти томное собрание сочинений Гёте. Вслед за «Шекспировскими чтениями» он основал в 1984 году «Гётевские чтения», которые продолжали выходить и после его смерти.

Запомнилось, как он учил меня бороться с призволом невежественных и ортодоксальных издательских редакторов. Приходил я к нему взмыленный и получал уроки терпения и выдержки. «Пока вы соглашаетесь следовать их замечаниям, — объяснял он, — они не могут от вас отказаться. “Вам это слово не нравится? Я его заменю. А эти слова переставить? Пожалуйста”. Они мучают вас — а вы мучайте их».

В начале 1975 года я дописал свою докторскую диссертацию и стал искать место, куда ее можно представить к защите. Более благоприятное время для этого занятия трудно себе представить. Как раз тогда началась так называемая перестройка ВАКа. Старые Советы были распущены и бездействовали, новые еще не созданы. Председатель обновленного ВАКа, человек, как говорил Аникст, «с щедринской фамилией», — Кириллов-Угрюмов — издавал невнятные инструкции, смысла которых никто поначалу не понимал. К главному и постоянно действующему препятствию, которое создавала моя национальность, добавились и другие временные невезения. Я загодя готовился к защите в ИМЛИ. Там работали беззаветно мне преданный А. Л. Гришунин и другие мои друзья и доброжелатели: Ю. В. Манн, Д. Д. Благой, П. А. Николаев, У. Р. Фохт, И. Е. Усок... Я писал рецензии на имлийские издания, всячески старался стать там своим человеком. Но неожиданно скончался директор института Б. Л. Сучков, а назначенный на его место Ю. Я. Барабаш не спешил приступать к руководству институтом. Я ждал развития событий, как говорится, в подвешенном состоянии. И главными моими советчиками и помощниками были тогда два человека: Семен Иосифович Машинский и Александр Абрамович Аникст.

В нижеприводимом письме второй из них не только благодарил меня за присылку «Дум» Рылеева, которые я издал в серии «Литературные памятники», но и информировал о Барабаше:

Дорогой Леонид Генрихович!

Поздравляю Вас с еще одной творческой победой. Книжечка прелестная и интересная во многих отношениях. Сообщаю, что наш директор пока на месте и, возможно, останется. Я не ответил Вам сразу, так как уезжал в конце апреля в ГДР на Шексп. конференцию, потом сразу на Рижское взморье — для отдыха. Мои занятия Гёте сильно продвинулись вперед. Это меня очень греет.

С искренним приветом,

А. Аникст
22 мая 1975 г.

Той же теме посвящено и следующее письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!

Спасибо за интересную публикацию. Я не отреагировал сразу, так как отдыхал в Коктебеле.

По волнующему Вас вопросу скажу следующее. Во-первых, почему Вы считаете, что Вам нужны какие-то особые рекомендации для того, чтобы Вашу работу приняли к защите? У Вас уже есть имя, Ваши работы достаточно известны в кругах литературоведов. По-моему, Вы можете обратиться непосредственно. Я всегда боюсь рекомендаций. Нередко они свидетельствуют о слабости того, кого рекомендуют.

Во-вторых, кто лучше всего в рекомендаторы, если Вы считаете нужным к этому прибегнуть. Если я — то это явно по знакомству, потому что я же не русист. Надо, чтобы был именно русист и специалист по первой половине XIX века, в крайнем случае, по XIX веку в целом.

Знаете ли Вы, что Барабаш — харьковчанин? Он до сих пор ценит свои украинские связи. Вот если бы у Вас оказался его компариот или даже земляк, это было бы эффективнее всего.

Я не знаю нынешних порядков представления диссертации. Это важно. Выясните все, чтобы не сделать ошибки. Если Вас мой ответ не удовлетворяет, напишите, что Вы думаете. Я много раз убеждался, что дела с защитой надо делать так, чтобы не перемудрить, может получиться хуже. Этим и объясняется моя «позиция».

В любом случае сообщите, что Вы намерены предпринять, чтобы я был в курсе. Если подвернется какая-то возможность, то я должен знать ситуацию. В ИМЛИ мои знакомства — преимущественно западники. А это в данном случае невесомо.

С искренним приветом,
А. Аникст

Я не вполне разделял мнение Аникста о бесполезности рекомендаций. Он, впрочем, и сам был в нем не тверд: тут же предлагал искать рекомендаторов в Харькове. Я же был убежден, что искать нужно не правду, а руку. Но надо признать, что в данном случае все получилось наоборот: рука не нашлась, а правда победила. Василий Иванович Кулешов, который заведовал тогда кафедрой русской литературы МГУ, а также должен был возглавить тамошний

Совет, предложил мне защищать у него. Узнав, что в этот Совет входит и Машинский, который после некоторых раздумий дал добро, я согласился. Так моей защитой начал работу Совет МГУ.

Но Аниксту еще предстояло сыграть в этом событии не последнюю роль. Отзыв ведущего учреждения мне давала кафедра Литературного института, которой заведовал Машинский, а утверждать его должен был ректор. И тут между ним и Машинским началась какая-то нелепая игра самолюбий: один не хотел просить, другой настаивал, чтобы его попросили. Как говорит украинская пословица, «паны ссорятся (по-украински это звучит еще колоритнее: “сваряться”), а у холопов чубы трещат». За два-три дня до защиты «холоп» не имел документа, без которого она не могла состояться. И тут в дело вмешался Аникст и все уладил за считанные минуты. Он созвонился с ректором, уговорил его принять меня дома и, называя вещи своими именами, спас мою защиту. А когда она состоялась, написал мне:

Дорогой Леонид Генрихович!

Очень рад за Вас и от души поздравляю. Завоеванное с трудом и при самих неблагоприятных обстоятельствах намного дороже легких удач. Желаю новых успехов.

Искренне Ваш,
А. Аникст

В том же 1977 году мне выпали счастье и честь подготовить совместную с Александром Абрамовичем публикацию. Предыстория ее такова. В 1968-м скончался мой старший друг, профессор Харьковского университета Александр Моисеевич Финкель. Крупный ученый-лингвист, автор учебников для средних и высших учебных заведений, он увлекался также переводами на русский язык западных поэтов, и самой ценной частью оставленного им наследия был перевод всех сонетов Шекспира. После смерти Финкеля его вдова передала все это наследие мне, и я на протяжении ряда лет занимался его публикацией. Мне удалось выпустить в свет дополненное новыми произведениями издание знаменитого сборника литературных пародий «Парнас дыбом», основным автором которого был Финкель. Немало лет было потрачено на усилия выпустить в свет переводы его сонетов. Десяток напечатал алма-атинский журнал «Простор», еще несколько — львовский сборник «Іноземна філологія», но с полным изданием дело никак не клеилось.

Разумеется, Аникст был моим главным консультантом и союзником, у него лежал экземпляр переводов, они ему нравились, он даже написал предисловие к ним, но лишь в 1976 году появился свет в конце туннеля. А год спустя под редакцией Аникста вышел сборник «Шекспировские чтения», в котором был помещен перевод всех 154 сонетов (к тому времени — четвертый в истории русской шекспиристики после Н. Гербеля, М. Чайковского и С. Маршака) с двумя предисловиями — моим и его. На мой взгляд, они удачно дополняли друг друга, потому что каждый писал о том, что он лучше знал: Аникст — о публикуемых переводах, я — о сделавшем их переводчике. Публикация привлекла к себе внимание, кто-то из рецензентов «Шекспировских чтений» даже назвал их изюминкой сборника. Со временем они обрели все права гражданства: издавались отдельными книгами, использовались, наряду с маршаковскими, в учебной литературе.

Зимой 1997–1998 годов я оказался в Москве в оцепеняющие морозы, которые переносил крайне тяжело, буквально коченел. Когда я добирался до своего гостиничного номера, у меня не было других желаний, кроме как залезть под одеяло и согреться. В один из таких вечеров раздался телефонный звонок, и хорошо знакомый голос как-то просительно сказал: «Может быть, вы приедете?» Если бы мне в голову могло прийти, что я слышу этот голос в последний раз, я, конечно, помчался бы на Красноармейскую, преодолевая все. Но вместо этого я жалобно ответил: «Александр Абрамович, я парализован этим холодом...» — и потерял возможность встречи, которая больше не представилась никогда.

Я не сразу узнал о его смерти, лишь через несколько месяцев мне рассказали об обстоятельствах, при которых он ушел из жизни. Возможно, потому, что я не видел его в гробу, мне долго казалось, что он где-то живет. Я не религиозен, в загробную жизнь не верю, знаю, что этот светлый ум, этот добрый, все понимающий взгляд, рука, готовая в любой момент протянуться для помощи, исчезли без следа, как догоревшая спичка. Но во мне они будут жить до тех пор, пока мой мозг навсегда не утратит способность вспоминать.

«Поэт фактов»

Я впервые увидел Соломона Абрамовича Рейсера весной 1973 года, когда пришел в его квартиру на улице Халтурина, ныне вернувшей себе название Миллионной, и с того времени он занял в моей жизни особое место, принадлежавшее только ему. Когда я приезжал в Ленинград, было несколько человек, возможность увидеться с которыми я старался не упустить: В. Э. Вацуро, Е. Г. Эткинд, Г. М. Фридендер, Я. С. Билинкис, И. Г. Ямпольский, еще кое-кто. Но как-то само собой сложилось неизбывное правило: все вечера, на которые у меня не были запланированы встречи с другими людьми, я провожу у Рейсера. При первом свидании он



С. А. Рейсер

выспрашивал у меня мое расписание, записывал его (он вообще все любил записывать) и планировал наше дальнейшее общение. Разговор начинался в кабинете, а потом продолжался за столом на кухне, где к нему подключалась и его жена Мальвина Мироновна.

Однажды я приехал в Ленинград с женой и сыном, и Соломон Абрамович выразил желание познакомиться с ними. Я пришел раньше для делового разговора, а они должны были присоединиться к нам в заранее согласованное время. Перед их приходом он так же педантично выспросил у меня и записал имя и отчество жены, имя сына.

Рейсер был первым, с кем я поделился своим намерением защищать докторскую. Почему мой выбор пал именно на него, членораздельно объяснить не могу. Может быть, именно по той причине, что суждения давних знакомых было легче прогнозировать, а у него был как бы взгляд со стороны. Он сказал: «Ну что ж, вполне своевременно. У вас много работ».

Книгу «Жизнь лирического жанра», выпущенную под диссертацию, хотя очень от нее отличную по содержанию, он одобрил, добавив однако: «Я бы только заглавия глав переименовал; знаю, что так сейчас принято, но это не мой вкус». Еще резче высказался по этому поводу А. В. Чичерин: «Я убежден в том, что серьезного читателя

раздражают неопределенно-поэтические заглавия». А Д. Д. Благой заглавия одобрил и добавил, что сам использует подобные. Такого же мнения был К. В. Пигарев: «Очень привлекательны названия глав».

Я всегда особенно дорожил в Рейсере качеством, которое удачно и точно определил В. С. Баевский: «С. А. был поэт фактов <...> При его строго конкретном мышлении история литературы была простой последовательностью хорошо выверенных фактов, ладно пригнанных друг к другу»⁷⁸. Таким он оставался и в подходе к политическим и бытовым явлениям. Точность сообщаемых им фактов и проницательность в их интерпретации заслужили ему прозвище, сконструированное по названию наиболее авторитетной информационной службы: «Агентство Рейсер».

Именно это качество сделало его несравненным комментатором и тем обусловило его особое место в истории «Библиотеки поэта». Никакие библиографические издания — ни указатель публикаций Рейсера, ни справочник «Библиотеки поэта» — не могут дать полного представления о вкладе, внесенном им в эту серию. Как он сам мне рассказал, он участвовал в той или иной роли (со составителя, автора вступительных статей и комментариев, редактора, рецензента) в подготовке 80 книг, вышедших в этой серии. Если учесть, что ко времени этого разговора в «Библиотеке поэта» всего вышло порядка 400 выпусков, станет ясно, что вклад в нее Рейсера был громадным, и вряд ли кто-нибудь еще мог соперничать с ним в этом отношении. Наверное, сыграло какую-то роль и удачное стечение обстоятельств: на протяжении всей жизни Рейсера связывала тесная дружба с Исааком Григорьевичем Ямпольским, который долгое время был членом редколлегии этой серии и заместителем ее главного редактора, а в организационном плане играл роль не меньшую, чем сам главный редактор. Понятно, что Ямпольский ни на кого не мог так положиться, как на Рейсера, а Рейсер в любой ситуации старался не отказать ему в помощи и содействии.

Свыше четверти века Рейсер проработал в Публичной библиотеке. Спустя много лет, 19 ноября 1959 года, он сделал в записной книжке такую запись: «Вероятно, у каждого человека, независимо от того, какой вуз он окончил (или если он не кончал никакого), есть свои “Мои университеты”. Для меня таким университе-

⁷⁸ *Баевский В. С.* Рейсер. Из воспоминаний // Русская филология. Ученые записки. Т. 7. Смоленск, 2003. С. 179.

том после Киевского университета была Публичная библиотека»⁷⁹. Но если она заняла такое место в биографии Рейсера, то и след, оставленный им в жизни этого старейшего книжного центра России, неизгладим.

Хорошо помню тот октябрьский день 1989 года, когда в вестибюле второго этажа был выставлен окаймленный траурным крепом и утопающий в цветах портрет Рейсера. Все говорили вполголоса, не было улыбок на лицах, только какая-то необыкновенная сосредоточенность на осознании огромной и невосполнимой утраты. Донеслись чьи-то слова: «Соломон с ума не идет». Даже молоденькие сотрудницы, которые не могли работать с Рейсером и, может быть, знали о нем только по рассказам, прониклись ощущением общего горя.

В 1982 году я получил от Рейсера его книгу «Русская палеография нового времени». Мне тогда предстояло ложиться на операцию, и большую часть сопроводительного письма он посвятил заботам и тревогам о моем здоровье. Это письмо сохранилось у меня в архиве и публикуется впервые.

Дорогой Леонид Генрихович,
очень огорчительно читать о болезни вообще, о болезни близкого человека и о болезни в еще молодом возрасте. Что сказать! Сочувствовать — в этом Вы не сомневаетесь, просить известить о дальнейшем — все, что мне остается.

У меня интенсивно назревает иная операция — катаракты правого глаза. Я тяну, но это неизбежно. Возраст!

Я не раз валялся в больницах и знаю, сколь это тяжело (даже в Л-дской, очень хорошей больнице АН СССР).

О Душанбе я не жалею. Всего не ухватишь.

Посылаю Вам свой последний opus — в больнице со скуки и его одолеете.

Мы оба Вас сердечно приветствуем.

Ваш С. Рейсер
Лд. 26 ноября 1982 г.

«Со скуки...» — да более увлекательное чтение трудно себе представить! Казалось бы, речь идет о таких простых и знакомых вещах: бумага, конверт, карандаш, шариковая ручка, пишущая

⁷⁹ Библиография. 1995. № 3. С. 101.

машинка — что о них можно сказать нового? Тоже мне, бином Ньютона! Но Рейсер нашел, что сказать, и, думаю, любой читатель книги согласится с мнением ее рецензента Б. Ф. Егорова, что она «поражает обилием и ценностью фактов; некоторые разделы читаются с почти “детективным” интересом»⁸⁰.

Добавлю от себя. В 2005 году, когда исполнилось 100 лет со дня рождения моего старшего друга, я выпустил книгу «Научное творчество С. А. Рейсера». Ее оформление точно воспроизводит оформление книги «Русская палеография нового времени». Признаюсь, что в моем собственном восприятии в ряду всего мной сделанного этой небольшой по объему книжке о Рейсере принадлежит особое место. Испытываю сдержанное чувство гордости от сознания, что единственная книга об этом замечательном человеке написана не одним из его многочисленных учеников или ленинградских коллег, с которыми он проработал рядом не один десяток лет, а мной, в сущности не более чем его читателем, к тому же жившим в городе, который, как ни говори, провинция в сравнении с Ленинградом.

И самой решимостью взяться за это дело, и его осуществлением я в огромной мере обязан Борису Федоровичу Егорову. Как уже упоминалось, он был первым, с кем я поделился своими планами, и он не только их одобрил и согласился стать ответственным редактором книги и написать предисловие к ней, но и сделал мне воистину неоценимый подарок: прислал огромную (размером с небольшой чемодан!) папку с рукописями Рейсера, относящимися преимущественно к студенческим годам. Это и беловые тексты его статей, и тексты сделанных им докладов, и черновые варианты, подборки материалов, выписки, наброски, афоризмы, оценки прочитанного, записи дневникового характера. На папке рукой Рейсера сделана надпись: «Киев (1924–1926) и начало Ленинграда». В действительности хронология материалов еще шире: некоторые датированы 1922–1923 годами, а с другой стороны, мы находим явные следы работы над его первой книгой «Литературные кружки и салоны» (1929) и даже заметку, написанную им при получении известия о смерти Маяковского и помеченную: «14.IV. 2 ч. дня».

Хотя все это писалось восемь десятилетий назад рукой тогда еще начинающего ученого, для биографии Рейсера, для полноценного представления о его личности, а тем более о процессе его становления как филолога и человека, значение содержимо-

⁸⁰ Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1972. С. 211.

го папки трудно переоценить. Это и Рейсер нам хорошо знакомый и совершенно неизвестный. Тому, кто знает его только по печатным работам, разве придет в голову, что он углубленно занимался стиховедением, долго работал над объемным исследованием ритмики четырехстопного ямба Тютчева, написал статью «Из наблюдений над украинским стихом», сделал доклад «Звукообраз», собирал материалы по экспериментальной фонетике, по таким темам, как «История русского стихосложения. Повесть о Горе-Злочастии», «Перенос у Анны Ахматовой», не говоря уже о многочисленных выписках определений по стиховедению, наблюдений и чужих, и собственных? А разве можно было ждать, что в сфере его научных интересов окажутся «Декамерон» Боккаччо, поэзия Анри де Ренье, что он автор статей «Композиция “Пира” Платона», «Сергей Есенин и крестьянская поэзия», «Сюжет Саломеи», «Потебня и символисты», «Страдание в творчестве Оскара Уайльда»? И вместе с тем Рейсер тех лет — это тот самый Рейсер, которого мы знали, с его пристальным вниманием к любому, даже мелкому факту, с его скрупулезной точностью и аккуратностью. Каждая записная книжка снабжена точными указаниями на годы, а часто — на месяцы и числа, когда она заполнялась, а каждый доклад — пометой, где и в какой день он был прочитан; выписки, цитаты классифицированы в образцовом порядке.

Для меня, имеющего определенные основания считать себя пушкинистом, особую ценность представляло обнаруженное в этой бездонной папке и оставшееся единственным в творческой биографии Рейсера пушкиноведческое исследование, посвященное «Повестям Белкина». Организатор «Болдинских чтений» и издатель их материалов Николай Михайлович Фортунатов проявил к этому рейсеровскому труду — не побоюсь неакадемического выражения — *жадный* интерес. Он безоговорочно принял статью для публикации в «Болдинских чтениях» и писал мне, что «она будет, я уверен, украшением тома. Но она оказалась несколько велика для него, и я уже вышел из положения, дав для публикации первую ее часть, вторую — в следующем. Так что очередной том БЧ будут рвать из рук, чтобы получить завершение рейсеровско-фризманской статьи. Это одна из Ваших лучших текстологических работ! Ясно, что в ней есть конъектуры, и их, видимо, немало, но швов не заметно — блестящая реконструкция. Обратите внимание — я не сделал ни одной поправки». А когда публикация

состоялась, добавил: «Спасибо за рейсеровскую статью: она украсила оба сборника, о ней говорят. Думаю, что это одна из лучших ваших текстологических работ. Поэт и редактор “Нового мира” был прав: Леонид Фризман не только хорошо думает, но и хорошо пишет. Я бы добавил еще: “великоленно чувствует чужой стиль: так восстановить С.А.!!”».

Не могу не процитировать одно письмо Рейсера, отправленное мне 13 июня 1978 года, когда он узнал об утверждении меня в докторской степени, потому что, на мой взгляд, оно отражает не только его отношение ко мне, но и красоту его внутреннего мира: «Дорогой Леонид Генрихович, в жизни не все и не всегда бывает справедливо, но ведь немало есть в ней и честного. Я всегда рад, когда хорошее торжествует. Ваш успех (его официальное признание) — это торжество хорошего. Мы оба — и Мальвина Мироновна, и я — от всей души Вас поздравляем и желаем еще много лет творческих успехов и душевной бодрости».

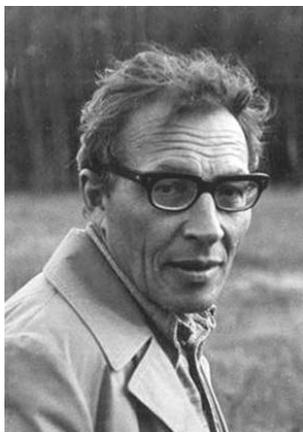
Несмотря на кажущуюся внешнюю суховатость, он был, по моему глубококому убеждению, очень добрым человеком. Я не раз слышал от него такие примерно слова: «Знаете, я привык видеть в человеке прежде всего хорошее» или «Нет, что ни говорите, а люди со временем становятся лучше». Делая прогнозы, он тяготел к положительным оценкам. Он испытывал удовлетворение, когда говорил о людях хорошее. Задолго до того, как Гаспаров стал членкором, он уверенно сказал мне: «Готовый академик».

У него была богатейшая коллекция фотографий литературоведов. По его словам, она обильно пополнялась во время его пребывания в Домах творчества, особенно в Малаховке. Он любил ее показывать, а я смотреть. Была там такая забавная фотография: Гуковский, висящий на дереве. Одной рукой он держится за горизонтальную ветку, ногой упирается в ствол, а другие рука и нога болтаются в воздухе. При этом он смеется, по-видимому, на потеху зрителям этой забавы. Поскольку я убежденный приверженец Гуковского, мне эта фотография запомнилась особенно. Но там ведь их были сотни, и многие можно считать реликвиями.

В 1989 году в серии «Литературные памятники» вышло подготовленное мной издание «Европеец. Журнал И. В. Киреевского. 1832 год». Оно стало завершением длительной полосы моей научной биографии. Связанные с ней архивные разыскания велись в середине 60-х; в 1966 году я докладывал их результаты в Тарту,

на кафедре Ю.М. Лотмана, в 67-м стали темой статьи в журнале «Русская литература», и лишь через двадцать лет мне довелось довести эту работу до конца. Издательским рецензентом книги был Рейсер, но увидеть ее ему было не суждено. Когда я приехал в Ленинград с надеждой ему ее вручить, мне сообщили о его кончине. А позднее ученый секретарь редколлегии И. Г. Птушкина показала мне его рецензию. На последней странице ниже заверенной подписи была от руки сделана надпись: «Работа Фризмана — 5+».

Г.В. Краснов: мелочи из запасов моей памяти



Г. В. Краснов

Я познакомился и сблизился с Георгием Васильевичем в начале 70-х годов. Никаких дат наших первых встреч назвать не могу: они были эпизодическими и происходили на конференциях или в библиотеках. Укреплению наших контактов много способствовали два наших общих друга: Андрей Леопольдович Гришунин и Соломон Абрамович Рейсер.

Сколько я его помню, он постоянно прихрамывал, позднее палка стала его неизменным атрибутом. Но при этом он был подвижен и неутомим, как молодой олень. В мае 1987 года я по приглашению Александра Лазаревича Жовтиса читал спецкурс в алма-атинском университете. Гостеприимный хозяин повел меня в горы, а когда я окончательно выбился из сил и взмолился о пощаде, он назидательно сказал мне: «В прошлом году мы были здесь с Георгием Васильевичем, так он во-о-он туда забрался!..»

Он постоянно разъезжал по городам и весям, был неизменным участником научных конференций. Как-то я приехал в Ленинград на конференцию, проходившую в Пушкинском Доме, а вечером чаевничал у Рейсера. Узнав, что Георгий Васильевич на этот раз отсутствует, Рейсер пожал плечами и сказал: «Странно представить себе конференцию без Краснова!»

Как рассказывал мне Гришунин, Краснов, а также его ближайший друг Владимир Владимирович Пугачев, с которым, кстати сказать, и у меня были очень теплые отношения, оба буквально боготворили Михаила Павловича Алексева, заранее осведомлялись о сроке его приезда в Москву и ждали его выхода из вагона, «как два адъютанта», говорил Гришунин с доброй усмешкой.

Запомнились две встречи с ним на двух конференциях. Первая конференция проходила осенью 1990 года в Риге. Я тогда носился с идеей использования количественных методов для изучения психологии художественного творчества; вместе с моим другом, доктором физико-математических наук Владимиром Мо-

исеевичем Кошкиным, мы мечтали создать новую науку, которую назвали статистической литературометрией. Доклад, который я привез в Ригу от нашего общего имени, стал первой попыткой вынести на публику полученные нами результаты и вызвал у аудитории некоторое смятение. Позднее мы напечатали его в журнале «Человек»⁸¹. Поскольку эти вопросы мы углубленно обсуждали с Михаилом Леоновичем Гаспаровым, более подробно об этом рассказано в посвященном ему очерке «Обманчивый коллега». Краснова на докладе не было: он покинул конференцию на один день, потому что считал для себя обязательным присутствовать на похоронах Зары Григорьевны Минц. Вернувшись и наслушавшись откликов о моем выступлении, он спросил у меня: «Что вчера случилось? Вы бросили бомбу?!»

Вторая конференция — Международная пушкинская — проходила в 1993 году в Твери. Незадолго до того «Вопросы литературы» опубликовали мою статью «Пушкин и Польское восстание 1830–1831 гг.». Георгий Васильевич, перед самой конференцией побывавший в Польше, подробно рассказывал, с каким энтузиазмом восприняли ее поляки. Наверное, его рассказ и оценка моих заслуг не обошлись без преувеличений, но, как известно, незаслуженная похвала нам обычно милее, чем та, которую мы получаем по праву.

В 1977 году, когда после докторской защиты я с понятным волнением ждал, как сложится судьба моей диссертации в ВАКе, Краснов сумел сделать то, чего не смог никто другой: узнал и сообщил мне имя моего «черного» рецензента, каковым оказался Евгений Александрович Маймин. С этого момента все мои беспокойства рассеялись. Отношение Маймина ко мне и моим работам мне было хорошо известно и не вызывало ни малейших опасений.

А в 1986 году я получил приглашение приехать в Коломенский пединститут председателем ГЭКа, провел там почти весь июнь и наслаждался общением с Георгием Васильевичем досыта. Даже развернувшаяся в то время антиалкогольная кампания этому не помешала. Часто бывал у него дома, много гуляли.

Он был изумительным собеседником, никогда не стремился отстоять свою точку зрения, взять верх в споре, ему было важно услышать другое мнение и тем проверить свое собственное. Как только вы начинали говорить, он умолкал и жадно ловил, как бы

⁸¹ См.: *Кошкин В., Фризман Л.* Быть поэтом // Человек. 1991. № 3. С. 79–82.

внутренне перевзвешивал каждое услышанное слово. Говорили и о литературе, и о политике. Горбачев был тогда второй год у власти, делал маловразумительные, противоречащие друг другу шаги вроде наступления на приусадебные хозяйства. А однозначно проявить себя успел разве что упомянутой антиалкогольной кампанией (вину за которую молва, впрочем, валила на Лигачева) да иезуитским поведением после Чернобыльской катастрофы.

В одной из этих бесед Краснов мне сказал: «Леонид Генрихович, вы всегда обладали способностью предвидеть развитие событий. Скажите, что с нами будет?» Тогда я не мог ему ответить, но, когда примерно через год — весной или летом 87-го — мы встретились в Москве, я напомнил ему о том разговоре и сказал примерно следующее: «Происходят события, о которых мы не могли помыслить. Возвращаются люди, которые, казалось, были изгнаны из страны навсегда, появляются в печати произведения Гиппиус, Ходасевича, Набокова, Галич реабилитирован и восстановлен в обоих творческих союзах... От всего этого нельзя не прийти в состояние эйфории. Но будет очень плохо. Нас ждут бедствия, возможно, гражданская война...» И он ответил: «Полностью с вами согласен».

В следующий раз я приехал в Коломну в январе 1991 года для участия в праздновании 70-летия моего дорогого друга. Общество собралось роскошное: С. А. Фомичев, А. Л. Гришунин, В. А. Сапогов, Л. С. Сидяков... всех не перечислить, тем более что многие были известны мне лишь по работам, поскольку прежде не довелось познакомиться и пообщаться лично. В эти самые дни силы коалиции, освободив Кувейт, перешли к наземной операции в Ираке, и, помнится, все застольные разговоры крутились вокруг этих событий. Мы восхищались блестящими действиями американского генерала Шварцкопфа и со дня на день ждали окончательного падения ненавистного саддамовского режима. Того, как бездарно поведет себя в этой ситуации Буш, мы, естественно, не предполагали.

Не могу умолчать и о том, что была между мной и Красновым достаточно острая конфронтация. Я носился с идеей присуждения ему Пушкинской премии за организацию «Болдинских чтений», но он категорически запретил любые телодвижения в этом направлении. Как я ни убеждал его, что это нужно не только ему, но и «Чтениям», что это подняло бы престиж конференции; как ни старался мне помочь Андрей Леопольдович, Краснов стоял

на своем, как скала, и слышать ничего не хотел. Пришлось подчиниться. А жаль: я человек упрямый, если уж начинаю пробивать лбом стену, то для нее это не проходит бесследно.

В последние годы, когда Георгий Васильевич уже не заведовал кафедрой, но еще оставался председателем Совета, я обращался к нему с просьбами организовать в Коломне защиты людей, в судьбах которых принимал участие, в том числе очень милой и одаренной москвички Татьяны Анатольевны Александровой. Она была моей как бы «научной внучкой» — ученицей моей ученицы Елены Анатольевны Андрущенко — и написала интересную, оригинальную работу. Я не приезжал на защиту, но содействовал, как мог, ее организации, в частности, раздобыл авторитетного и надежного первого оппонента — Елену Аркадьевну Тахо-Годи, выступление которой, по общему мнению, немало украсило защиту. Разумеется, все это стало возможным в первую очередь потому, что я встретил со стороны Георгия Васильевича полное понимание и поддержку.

С глубоким сожалением и стыдом должен признаться, что по присущей мне безалаберности из многих писем, полученных от Краснова, сохранил лишь три. Все они были мне посланы в ответ на подаренные ему книги. Привожу их тексты с некоторыми сокращениями.

О монографии «Декабристы и русская литература»:

Дорогой Леонид Генрихович!

Спасибо за «Декабристов», главное — за то, что в книге живая мысль, новые анализы, обстоятельность. Придирчиво читал Некрасова и его современников. Все интересно, а в других разделах много нового (хотя бы сравнение оригинала Шиллера и перевода Жуковского!). Поздравляю!

Всего Вам доброго! Надеюсь, что переписка Некрасова до Вас дошла.

Ваш Г. К.
5 мая 1988 г.

О «Семинарии по Пушкину»:

Дорогой Леонид Генрихович!

Поздравляю с выходом (первая ласточка в «Юбилейной литературе»!) «Семинария по Пушкину».

Новые темы, новая целостность, обоснованное введение, «Выдающиеся пушкинисты» и др. обеспечивают ему высокий научный авторитет. Может быть, пушкинская московская газета «Автограф» откликнется на это издание <...>

Ваш Г. Краснов
8 июня 1997 г.

О сборнике статей «Предварительные итоги»:

Дорогой Леонид Генрихович!

Спасибо за книгу «Предварительные итоги». Они весьма значительны и масштабны, от Пушкина до Окуджавы.

Поздравляю с выходом книги!

Я занят пушкинистикой, болдинскими мотивами в творчестве поэта. Пушкинское краеведение. Пока голова что-то соображает.

Дошла ли до Вас моя книжка «Этюды о Л. Н. Толстом»?

Всего доброго Вам.

Ваш Г. Краснов
8 октября 2005 г.

P.S. Защита Татьяны Анатольевны была весьма успешной. Ее работа по-хорошему показательна.

Г.К.

Мой Н.Н.

Н.Н. прекрасный человек.

Пушкин

Я числю свою близость с Николаем Николаевичем Скатовым с 1971 года. Мы люди одного поколения, он лишь на четыре года старше меня. Созревали мы в одно время. Когда он защищал докторскую, ему было 40, а мне в год моей защиты — 41. Хотя жили мы в разных городах и виделись нечасто, смею думать, что **чувствую** его лучше, чем многие из тех, кто встречался с ним чаще.

Впервые я увидел его на Некрасовской конференции, проходившей в Костроме в феврале 71-го. Конференция та была незабываемой. Ее участники составляли такое соцветие имен, что ее смело можно было считать неким мини-съездом советских литературоведов. Но ярче других блистали двое: Юрий Владимирович Лебедев и Николай Николаевич Скатов. Юра Лебедев — буду его так называть, потому что мы, кажется, сразу после знакомства перешли на «ты», — огненно талантливый человек, в 1967 году, в 27 лет (!), возглавивший кафедру литературы Костромского пединститута, которой проручивал четверть века. Здесь о нем распространяться не место, он достоин того, чтобы стать главным героем собственного сюжета, ограничусь лишь выражением одного сугубо субъективного мнения: никто из читанных мной специалистов по Тургеневу не писал о нем так проникновенно и честно, как он. А советское литературоведение, как все мы знаем, правдивостью не отличалось.

Что же касается Некрасова, то в его прочтении и толковании вне конкуренции остается Скатов. Николай Николаевич, уроженец и гордость Костромы, выпускник Педагогического института, в стенах которого проходила конференция, лишь год назад ставший доктором наук, был там, я думаю, самым неотразимым мужчиной. Высокий, атлетически сложенный, с легкой проседью, гармонизировавшей с молодым лицом, он умел так вам улыбнуться, что вы к нему сразу проникались доверием и жили дальше с уверенностью, что приобрели друга.

Должен признаться, его статьи, особенно появлявшиеся в газетах, в «Литературке» например, порой впечатляли острее, чем книги. Книга появляется на свет долго, проходит редактуру, а то и рецензирование, отлеживается, вылизывается, статья же обычно пишется за вечер, почти экспромтом. И в статьях Скатова



Н. Н. Скатов

о Некрасове прочтешь такое, что только ахнешь. У меня постоянно оставалось ощущение, что они написаны на одном дыхании, не дорабатывались, не «чистились», а рождались вдруг. Так ли было на самом деле, я не знаю, но то, что они подобным образом воспринимаются, на мой взгляд, достоинство, а не недостаток. Вряд ли встречу возражения, если скажу, что Скатов сделал более, чем кто-либо другой, для утверждения в нашем сознании понятия «некрасовская школа». И не только наиболее известными своими книгами «Поэты некрасовской школы», «Некрасов. Современники и продолжатели», но и такими статьями, как «“Некрасовская” книга Андрея Белого». Читаешь ее и кажется: да это же все лежит на поверхности... Но для того чтобы так казалось, нужно было так написать!

Не сомневаюсь, что самой трудной в биографии Скатова была его книга о Пушкине. Поди скажи о нем новое слово в 1987 году, когда кажется, что все слова уже сказаны! Я в Пушкине вроде человек «начитанный», но и для меня эта книга была кладезем новизны: то не ведомый ранее факт мелькнет, то новое видение как будто известного. Тому уж скоро тридцать лет, но не покидает чувство, что скатовский Пушкин вошел в меня, что многое о Пушкине я узнал именно от Скатова.

Но если как пушкинист Скатов был как-никак одним из, то никто в обозримом прошлом не может сравниться с ним как с издателем и исследователем его тезки — Николая Николаевича Страхова. Выпуск подготовленного Скатовым сборника «Литературная критика» был подлинным воскрешением Страхова после почти векового перерыва. Он вышел в 1984 году, и эта дата дорогого стоит. Пройдет всего три-четыре года, и издания авторов, отторгнутых у читателя советской властью, польются на нас июньским дождем. Но Скатов-то выпустил эту книгу не на гребне эйфории, вызванной горбачевской гласностью, а в темные дни Черненко! И то, что сделал это именно он, было не случайностью, это воистину свершилось по воле Промысла.

Однажды, когда я был в гостях у Лихачева в его квартире на Муринском, Дмитрий Сергеевич мне сказал: «Ученый должен не писать отдельные работы, а строить свой творческий путь». Сказал он это назидательно, потому что я таким ученым тогда не был и позднее не стал. Я всю жизнь метался по разным темам, словно повеса, жаждущий перецеловать всех красоток, встретившихся на пути, и к Лихачеву пришел советоваться, о чем писать докторскую — об истории русской элегии или о литературном мастерстве Маркса и Энгельса. А образец человека, действительно выстроившего свой творческий путь, видится мне в Николае Николаевиче Скатове. И для меня не подлежит сомнению, что его обращение к Страхову определялось глубинным единством и логикой избранного им пути. Он однолюб. И главная любовь его жизни — Россия. Он не написал ни одной книги, ни одной статьи, ни одной строчки, не продиктованной этим чувством. Никто другой, а именно он назвал книгу о Пушкине «Русский гений». Потому что это его Пушкин, его восприятие Пушкина. Нерусский Пушкин был бы ему чужд, скажем мягче: не так близок. И к Страхову, как и к Некрасову, Скатова привела их **русскость**.

Боже сохрани заподозрить меня в том, что я считаю Николая Николаевича националистом или, выбирая смягченное выражение, патриотом. Он, конечно, согласится, что в том, что человек родился русским, евреем или турком, никакой его заслуги нет, и это не является никакой индульгенцией на его недостатки. Гордиться самим фактом своей принадлежности к такой-то нации — все равно что гордиться тем, что ты родился во вторник. Любовь к родине и должна быть, только и может быть «странной»: «Люблю, за что не знаю сам...». Такова в моем восприятии любовь к России Скатова; думаю, что и он так воспринимал любовь к России Страхова, этим Страхов был ему близок; он не мог перенести, что дорогой ему Страхов отторгнут от дорогой ему России, и — пустился на все тяжкие... О, я-то сам «стрелянный волк» (так меня назвал Г. П. Макогоненко) и хорошо помню эти времена, и представляю себе, сколько препятствий ему пришлось преодолеть, чтобы сборник литературно-критических статей этого «реакционера» дошел до тогдашнего читателя. Люди моего со Скатовым поколения познали это, как выразился классик, поротой задницей. Но он пробил эту книгу, сделал то, что сегодня кажется обыденностью, а тогда было подвигом — без всяких преувеличений и громких слов.

Я дорожил общением с ним и, наезжая в Ленинград, по возможности старался побывать в его кабинете. Одной из постоянных тем наших разговоров были аспирантки. Не знаю, каким был удельный вес научного руководства у него, но у меня он очень велик. Харьков — не Ленинград, я долго являлся единственным доктором на кафедре, все жаждущие «остепениться» толпились в очереди ко мне. Случалось, что на протяжении года проходило пять-шесть защит. Нетрудно себе представить, как я нуждался в консультациях и обмене опытом с поднаторевшими в своем деле руководителями. А Скатов был именно таким человеком.

С удовольствием вспоминаю о том, что не только я советовался с ним, но и он со мной. Как-то, когда я вошел в его кабинет, он вскинул руки и сказал сидевшей перед ним красавице (а у него все аспирантки были красавицы, он, видимо, других не брал): «Вот идет Леонид Генрихович, сейчас он сформулирует вам тему». Естественно, когда он приглашал меня оппонировать его ученицам, я откликался с готовностью. А он выступил оппонентом на моей докторской защите, о чем я чуть ниже расскажу подробнее.

Поскольку Скатов входил в некий «первый список» коллег, которым я рассылал вышедшие у меня книги, сохранились письма с его оценками и встречными впечатлениями. Все они были написаны так эмоционально и нестандартно, что, когда я их читал, в моих ушах звучал его голос. Я приведу лишь две цитаты из писем, посвященных книгам, которые, так сказать, имели историю.

Одна — о сборнике «Литературно-критические работы декабристов». Как ни странно представить себе это сегодня, я оказался первым, кто подготовил такое издание. Потом их повыходило как собак нерезаных, но, по выражению Галича, «это ж, пойми, потом...». К тому же выпуск моего сборника открывал серию «Русская литературная критика», которую осуществляло издательство «Художественная литература». Книга имела успех. Появились рецензии не только у нас, но и за границей. Моя редактор Софья Петровна Краснова, которую я вспоминаю с теплым и благодарным чувством, получила за нее премию. Доволен я и тем, что удалось найти и опубликовать два симпатичных этюда А. А. Бестужева. Скатов написал: «Спасибо сердечное за декабристов — произведение высокой филологической культуры, так отличающей всякую Вашу работу».

А через два года в серии «Литературные памятники» вышли мои «Северные цветы». В зародыше этой книги была идея Д. Д. Благо-

го, который предлагал переиздать все выпуски знаменитого альманаха. Но она оказалась неподъемной, и, когда заняться этим предложили мне, я, естественно, остановил свой выбор на «Северных цветах на 1832 год» — выпуске, который издал Пушкин в память о недавно скончавшемся Дельвиге. Хотя в ней тоже были кое-какие находки, я считаю этот «памятник» не лучшим из тех, которые мне довелось подготовить. Но Скатову книга понравилась. Он написал: «Получил Ваш прелестный подарок, который Вы преподнесли российской словесности. Изящно, умно, красиво и точно, как все, что Вы делаете. Поздравляю и сердечно благодарю».

Как я уже говорил, условия жизни сложились так, что виделись мы редко и общались мало. Думаю, это и хорошо, и плохо. Плохо — потому что каждая встреча оказывалась событием; хорошо — потому что я не был из тех, кто постоянно досаждал ему своими просьбами. Во время его директорства в Пушкинском Доме ни разу не переступил порога его кабинета. Но о том, что он у меня есть, не забывал никогда. В английской военно-морской терминологии есть такое понятие — *fleet in being*. Это флот, который не принимает непосредственного участия в боевых действиях, но влияет на ситуацию самим фактом своего существования. Таким *fleet in being* был для меня Скатов, таким я его чувствовал.

Лишь однажды он сыграл в моей жизни по-настоящему большую роль — когда выступил оппонентом на моей докторской защите. Могу сказать, положив руку на сердце: собрать себе оппонентскую «команду» для меня не представляло труда. Так получилось, что я у многих завоевал авторитет, ко многим мог обратиться, не опасаясь отказа. Наоборот, были люди, затаившие нечто похожее на обиду за то, что я их не пригласил, а один из них — Борис Соломонович Мейлах — даже сказал мне открытым текстом: «Что же это вы обо мне не вспомнили, я бы охотно...»

Защита моя была не из легких; только что прошла, как тогда говорили, перестройка ВАКа, создавались новые Советы, по-новому оформлялась документация, еще ни у кого не было опыта хождения по этому минному полю.

Я должен был защищать вторым, впереди меня по очереди была Глафира Васильевна Москвичева, несопоставимо превосходившая меня по «весовой категории», маститая, давно заведовавшая кафедрой и считавшаяся главой горьковских литературоведов. Но она убоялась чести лезть на амбразуру. Скрылась в свой Горький,

да так, что никто не мог ее найти. А я рискнул, и моя защита открывала работу вновь созданного Совета МГУ, у меня был протокол № 1! Шутил: не дадите докторскую степень, дайте хоть медаль «За отвагу».

Шутки шутками, а погореть я мог запросто. Хотя по поводу моей диссертации не было высказано ни одного критического замечания, я получил три голоса «против». А в Совете-то было 14 человек: еще два «черных шара» — и я не набирал требуемые две трети. По мнению «сведущих людей» (очень люблю эту щедринскую формулировку), голоса «против» мне набросали старухи-фольклористки, которых раздражала моя несолидная внешность. Мне был 41 год, но, говорят, выглядел я еще моложе.

Не сомневаюсь, что в тот день очень мне помог Скатов. Нечего и оговариваться, что я благодарен всем трем моим тогдашним оппонентам, двух из которых уже нет в живых, но один Николай Николаевич проявил себя тогда не только как глубокий ученый, но как первоклассный — и страстный! — оратор. Моложавый — ему тогда не было и пятидесяти — красавец, с внешностью олимпийского чемпиона, он покорила аудиторию, а хитрый Фризман имел с этого, понятно, свой барыш. Говорил он прекрасно, мастерски управляя тембрами своего бархатистого голоса. Была в его отзыве такая фраза (не поручусь за точность цитаты, но смысл, безусловно, сохраняю): «Только прочитав работы Леонида Генриховича, мы осознали, какой пробел в литературной науке ими восполнен». Так случилось, что в московских литературных кругах Скатов был до того не очень известен, и это блестящее выступление обратило на себя особое внимание многих. В Ученый совет МГУ входил цвет московского литературоведения; его членом был, в частности, заведующий отделом русской литературы журнала «Вопросы литературы» и мой давнишний друг Семен Иосифович Машинский. Мне довелось их познакомиться, и с этого началось длительное и систематическое сотрудничество Скатова в «Воплях».

И еще одна встреча, которая запомнилась особенно. Она произошла в Крыму летом 1990 года. Мы приехали на конференцию, и, когда ее участников вывезли на экскурсию в Херсонес, бродили мы с Николаем Николаевичем среди живописных развалин и обсуждали перспективы дальнейшего существования нашей несчастной родины в то беспокойное время. «Он не политик, он по-

литикан», — сказал тогда Скатов о Горбачеве. И Горбачев довольно скоро подтвердил обоснованность этой характеристики.

Еще раз повторю. За годы нашего знакомства мы виделись реже, чем хотелось бы. Но я давно пришел к мнению: друг — не тот человек, к которому раз в неделю ходят пить чай, а тот, который, когда он нужен, оказывается на месте. Считаю Николая Николаевича Скатова своим другом.

Вторая защита

Если говорить о моей кандидатской диссертации, то какого-то периода, когда я бы размышлял над ее темой, взвешивал позитивные и негативные стороны, колебался, рассматривал другие варианты, — ничего такого не было. Совсем иначе обстояло дело, когда я подбирал тему докторской. Я был склонен заняться элегией, но первоначально не в том аспекте, который определился в итоге. Я только прощупывал и систематизировал материал. Некоторое время мной владела идея подготовить сборник «Русская элегия» для «Библиотеки поэта», редколлегию которой, как известно, возглавлял Владимир Николаевич Орлов.

На посланную ему книгу о Баратынском он откликнулся вполне благожелательно: «Большое Вам спасибо и за книгу, и за добрые слова в письме. Пока успел лишь бегло пролистать книгу, но уже при этом увидел ее достоинства — глубину анализа и серьезность тона. Кажется, Вы пишете о поэзии как об искусстве. А это — самое важное. Жму Вашу руку и желаю Вам доброго пути в литературе».

Ободренный таким приемом, я через год с небольшим поделился с ним своим замыслом сборника и получил такой ответ:

Уважаемый Леонид Генрихович!

Мне кажется интересным и плодотворным Ваш замысел написать историю русской элегии (именно элегии!). Обоснования темы, которые Вы приводите в письме, совершенно убедительны. Дополнительное обоснование: в такого рода книге можно будет продемонстрировать целые пласты по существу неизвестного, не выявленного до сих пор материала. Отчасти в связи с этим решается (может решиться) вопрос об издании антологического сборника «Русская элегия» в Большой серии «Библиотеки поэта». Если книгу составят элегии Батюшкова и Жуковского etc. — это не представит интереса, свежести (конечно, и Батюшков, и Жуковский должны быть представлены в сборнике, но — наряду с другими «элегиками»). Прощу Вас составить и прислать мне ориентировочный план такого сборника, чтобы я мог предложить его редколлегии, которая и может принять решение. Постарайтесь прислать Ваш план-проспект до середины марта, ибо во второй половине марта редколлегия, вероятно, соберется в Москве. Речь может пойти пока лишь о вклю-

чении «Русской элегии» в Общий план «Б-ки поэта», а о сроках издания будем договариваться потом.

Приветствую Вас и желаю всего доброго.
Искренне Ваш В. Орлов. 18 февраля 1968 г.

План-проспект я, конечно, составил своевременно и через четыре месяца получил следующее письмо:

Уважаемый Л. Г.,

простите, что не ответил своевременно: думал, что заявка Ваша будет без особого промедления рассмотрена на редколлегии «Библиотеки поэта», но дело это затягивается, очевидно, раньше осени редколлегия не соберется. Не берусь, конечно, предупреждать решение редколлегии, но шансы на успех есть. Мне лично заявка кажется заслуживающей внимания. Как только вопрос прояснится, я извещу Вас.

Приветствую Вас!

В. Орлов
15 июня 1968 г.

Но дело тогда затянулось по причинам, которых не мог предвидеть никто. Сначала разразился скандал, вызванный вступительной статьей Эткинды к двухтомнику «Мастера русского стихотворного перевода» (об этом я писал в очерке «Влюбленность»). Потом — уж совершенно неожиданно! — начальственный гнев навлек на себе казавшийся совершенно безгрешным и желанным для властей сборник «В. И. Ленин в советской поэзии». Орлова сняли, разговаривать надолго стало не с кем, и мой сборник «Русская элегия XVIII — начала XX веков» вышел в свет лишь в 1991 году, когда редколлегию возглавлял Ю. А. Андреев...

С прицелом на будущую диссертацию я задумал статью об элегии Баратынского «Родина» и представил ее в «Мурановский сборник», который собирался издать К. В. Пигарев. Статья получила его полное одобрение, а высказанные при этом замечания носили совершенно технический характер.

Все это происходило в первой половине 1968 года, как раз тогда, когда разразился скандал с моей «Иронией истории». Но она была лишь элементом большого плана, который я намеревался осуществить. Среди возможных вариантов я рассматривал и такой —

К. Маркс и Ф. Энгельс как писатели, изучение их литературного мастерства. Мысли на эту тему бродили во мне давно — когда я учился заочно на романо-германском отделении факультета иностранных языков Харьковского университета (там я получил второе высшее образование сразу после первого). На лингвистическом материале старой курсовой работы я написал статью «Образ в языке “Манифеста коммунистической партии”», в которой пытался обосновать мысль, что образность произведений подобного рода является не придатком к их содержанию, не украшением, используемым в посторонних целях, а следствием своеобразного синтеза научного и художественного типов мышления.

В мае 1968 года исполнялось 150 лет со дня рождения Маркса, я не сомневался, что юбилейным статьям будет открыта зеленая улица, и решил воспользоваться благоприятной ситуацией, и упомянутую выше статью отправил в уже знакомую мне редакцию журнала «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», где она попала к его главному редактору — Д. Д. Благому. Его письмо с придирчивым вниманием к мелочам и нашедшем в нем место сближением моих мыслей с его собственными — неотразимое свидетельство того живого интереса, который вызвала у него моя работа.

За статьей о «Манифесте коммунистической партии» последовало еще около десятка публикаций на аналогичные темы, в том числе обстоятельная работа о стиле книги Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», опубликованная в «Известиях АН», появилось несколько публикаций в «Вопросах литературы», в «Научно-информационном бюллетене Сектора произведений К. Маркса и Ф. Энгельса Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС». Они обратили на себя внимание в ГДР. Некоторые были переведены на немецкий язык, я получил несколько благодарственных посланий с пожеланиями дальнейших успехов работы в этом направлении от директора Института марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ Генриха Гемкова.

Приведу одно из них. Оно было написано в связи с появлением в «Вопросах литературы» моей статьи «Художественное целое», в которой подводились некоторые итоги изучения литературного мастерства Маркса и Энгельса и намечались перспективы дальнейшей разработки этой проблематики.

Дорогой товарищ Фризман!

Сердечная благодарность за экземпляр журнала «Вопросы литературы», № 4, 1971, с Вашей статьей «Художественное целое», которая была с интересом прочитана мной и моими коллегами.

Всесторонняя характеристика писательского мастерства Маркса и Энгельса, а также следствия для дальнейших исследовательских задач в этой специальной области насущно необходимы, и осуществленное Вами подробное обсуждение представляет собой ценный вклад в обобщение важнейших из до сих пор достигнутых результатов.

На Ваши замечания о «Словаре Маркса и Энгельса» хотел бы сообщить, что его подготовка осуществляется **только** Институтом немецкого языка и литературы Германской академии наук. Работники Института марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ лишь в середине шестилетних годов впервые получили возможность высказать свое мнение о тогдашнем состоянии принципов разработки словаря и в дальнейшем участвовали лишь в разработке его отдельных элементов.

Кстати, уведомление журнала «Wirtschaftswissenschaft» (1969, № 7) о том, что Дитцферлаг издаст «Словарь Маркса и Энгельса» осенью 1969-го, не соответствует действительности. До сих пор ничего не появилось, и насколько мы информированы, дело до сих пор находится в состоянии стагнации.

С социалистическим приветом,
Проф. д-р Генрих Гемков
1 ноября 1971 г.

Просьбу прислать какую-нибудь статью для публикации в своем журнале я получил и от шеф-редактора журнала «Weimarer Beiträge» Аннелизе Гросе. Активно содействовал моим занятиям в этой области мой болгарский коллега Иван Славов, с подачи которого одна из статей на эту тему попала в журнал «Язык и литература».

Однако наибольшее значение имели, как тогда казалось, быстро наладившиеся контакты с сектором Маркса и Энгельса нашего Института марксизма-ленинизма. Под впечатлением от моей деятельности они вдруг обнаружили, что в их штате нет ни одного профессионального филолога, и стали зондировать почву, не пойду ли я к ним на постоянную работу.

Поскольку Институт марксизма-ленинизма считался отделом ЦК КПСС, такое приглашение означало квартиру и прописку в Москве. Но дальше предварительных переговоров дело не пошло, и здесь сыграла роль не столько моя национальность (в этом секторе все были евреи, начиная с его фактического заведующего Л. Гольмана), сколько отсутствие у меня партбилета. Принимать в партию меня, живущего в другом городе, было долго и хлопотно, тем более что я всю жизнь от этой чести настойчиво уклонялся. Кроме того, со временем мое первоначальное намерение защитить докторскую диссертацию о литературном мастерстве Маркса и Энгельса и занять свое место под солнцем, став уникальным специалистом в этой области, сильно потускнело.

Не умолчу и о том, что успех моих статей о Марксе и Энгельсе имел неожиданное (для меня, во всяком случае) следствие. Вслед за 150-летием Маркса следовало 100-летие Ленина, и на меня посыпались предложения и уговоры написать что-нибудь подобное также о языке и стиле Ленина. Но уж от этого я отказался сразу и категорически.

В конце концов я принял решение, что моя докторская тема будет посвящена элегии. Решающую роль здесь сыграло влияние, которое имел на меня Эткинд. Но и с Марксом-Энгельсом жалко было расставаться. Пусть никто не думает, что в моем интересе к их писательскому мастерству было что-то шкурное, вроде желания поэксплуатировать пиетет, испытываемый в те времена нашим обществом к основоположникам марксизма. Нет, нет и нет! Это была тяга к решению интересовавшей меня чисто научной проблемы. Я написал еще статью «Два портрета господина Гейнцена», построенную на противопоставлении образа Гейнцена у Маркса с тем, как подал его Энгельс. Она не была напечатана, но сам я считаю, что она мне удалась, и дорожу ею до сих пор.

Мало того, я пробивал в серию «Литературные памятники» издание «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», собираясь дать в дополнениях памфлет Гюго «Наполеон Малый» и показать, что Маркс превзошел Гюго не как вождь мирового пролетариата, а как блестящий памфлетист. Но эта идея ошарашила коллег, испугавшихся, что если мы такое сделаем, то нас заставят считать памятниками и работы Ленина. Я не мог не разделить подобных опасений, и сам был бы в ужасе, если бы они оправдались, ибо, на мой взгляд, Ленин был великим политиком, но писателем нулевым.

Хотя элегия была гораздо более по душе моему окружению, чем литературное мастерство Маркса и Энгельса, и эта тема не избежала сомнений и критического подхода. Как самый яркий пример хочу привести одно из писем Чичерина, свидетельствующее о необыкновенной остроте и тонкости его исследовательской мысли. Оно было написано в ответ на мою «Жизнь лирического жанра».

5 февраля 1974 г.

Дорогой Леонид Генрихович!

Спасибо Вам за Вашу книгу, которую только что дочитал. Был очень обрадован, что Ваш элегический замысел, полностью или в значительной мере, уже осуществился. Вообще Вы теперь печатаете много и всегда удачно. Я с удовольствием читал и Вашу статью в одном из академических сборников, да и рецензия на Благого была очень интересна. И «Три элегии» — тоже. Все же, по-моему, Ваш шедевр — это статья в «Фил. науках» «Есть речи — значенье...».

Книга, которая теперь лежит передо мной, — серьезная, истинно ученая и новаторская книга, которая была нужна и будет полезна. Все же, наряду с многим хорошим, что можно сказать о ней, она вызывает и некоторые сомнения. Вы сами сознаете некоторую неопределенность жанра, который, кажется, соединяет все печальное, высказанное в стихах. Особенно неопределенны границы жанра и **пограничные** области.

«Я пришел к тебе с приветом / Рассказать, что солнце встало...» Это, по-видимому, на современном нам языке — антиэлегия? Но, начав дробить лирику (как род литературы) и устранив архаичные оду, идиллию, пастораль, отстранив сатиру и эпиграмму, мы оказываемся в странном положении, когда основное богатство лирики оказывается беспаспортным. Вряд ли можно отчетливо объяснить природу элегии, не установив название не-элегического, хотя бы в творчестве тех поэтов, о которых Вы говорите. Думаю, что «Болящий дух врачует песнопенье...» — не элегия. Что это такое? Увидев пограничное, мы отчетливее увидим границы, а тогда приобретет отчетливость и предмет Вашего исследования.

Мне кажется, именно кажется (я не допускаю это слово в статье, там не должно казаться, это — интерлярное слово), что Вас стесняют рамки избранной Вами темы, о лирике вообще Вы писали бы вольнее. Вас что-то несколько осаживает все время.

Не обедняют ли Вы романтиков, так категорически обрекая их на признание исконной бессмыслицы? Приписывая им всем одно и то же стандартное воззрение *de rerum nature*? Даже у Баратынского от «Водопада» до «На посев леса...» есть и совершенно противоположный мотив — разумение сердцем внутреннего единства и гармонии бытия.

Думаю, что в этой сфере Вы продолжаете двигаться вперед и поэтому выкладываю Вам свои недоумения, которые могут Вам пригодиться не столько для того, чтобы признать их верными, сколько для того, чтобы парировать их <...>

С искренним приветом и воспоминаниями о надднепровской прогулке

А. Чичерин

Я со всей серьезностью отнесся к этим замечаниям и рекомендациям, но не уверен, что они достаточно результативно повлияли на мою работу. В 1975 году я завершил свою докторскую диссертацию. Писалась она, когда меня держали ассистентом кафедры иностранных языков, и лишь после того, как диссертация была официально представлена, для меня нашлось место на кафедре литературы. Докторантуры я не получил. Мой ректор предпринимал в этом направлении какие-то попытки, но все зарубило родное министерство. Так или иначе, работа была готова, и нужно было искать место для ее защиты. Надо сказать, что ситуация в тот момент сложилась хуже некуда. Но прежде несколько слов о самой диссертации.

Она строилась принципиально иначе, чем «Жизнь лирического жанра». В книге большинство из ее восьми глав было посвящено творчеству крупнейших элегиков — Жуковского, Баратынского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Диссертация же, которая называлась «Русская элегия в эпоху романтизма», состояла из трех глав: «Типологические особенности русской романтической элегии», «Пути эволюции русской элегии в 1810–1820-х годах» и «Элегическая традиция в русской лирике 1820-х — начала 1840-х годов». Один и тот же объект был увиден в трех аспектах — в статике, в динамике и в инобытии.

Наряду с исследованием природы элегического жанра, хотелось углубить и уточнить представление о романтизме, который именно в этом жанре реализовал себя более, чем в других. Следующим принципиальным отличием диссертации от книги было преимуще-

ственное внимание, уделенное массовой поэтической продукции, элегикам второго и третьего ряда. Такой подход отвечал весьма мягко сформулированному пожеланию, высказанному в письме, которое в ответ на «Жизнь лирического жанра» мне прислал М. П. Алексеев, но я пришел к этому сам, и значительно раньше. Точнее сказать, не сам, а глубоко проникшись идеями В. М. Жирмунского, объяснившего, что конкретная история литературного жанра лишь в очень малой степени улавливается исследователями при «хождении по вершинам», что от индивидуальных, больших поэтов исходят творческие импульсы, но именно поэты второстепенные создают литературную традицию, превращают индивидуальные признаки великого литературного произведения в признаки жанровые, индивидуальную комбинацию признаков фиксируют как каноническую для данной эпохи. Более достоверное представление о концепции моей диссертации, дополненной некоторыми позднейшими размышлениями, дает вышедшая позднее книга «Песня грустного содержания».

Организация моей защиты многократно осложнялась тем, что, на мою беду, как раз в это время проводилась так называемая перестройка ВАКа. Были разоблачены и обнародованы недостатки и злоупотребления, имевшие место при прежней системе аттестации научных кадров, намечались новые правила игры, количество Советов, имевших право присуждать степени, резко уменьшалось, они получили название «специализированных». Декларировалось повышение требований, особенно к претендентам на докторские степени. Первоначально требовалось даже создать «новое направление в науке», потом, правда, удовлетворились «теоретическим обобщением и решением крупной научной проблемы». Никто не знал, как оформлять документацию по новым формам, все стремились дать кому-то другому первым пройти по заминированному полю и перенять его опыт, все процедуры по приему диссертаций и допуску их к защитам застопорились.

Достучаться до Барабаша мне так и не удалось. Я рассчитывал на содействие главного редактора «Вопросов литературы» В. М. Озерова, не раз высказывавшего мне свое расположение. Но надежды оказались напрасны: Озеров все обещал, но ничего не сделал. Или не смог, или не захотел, или не успел.

Хочу сказать, что в это нелегкое время я не терял не только энергии и настойчивости, но и чувства юмора. Чтобы никто не подумал,

что я приукрашиваю себя задним числом, предъявляю документ — сочиненную мною тогда микрохрестоматийку «Что написали бы русские поэты о перестройке ВАКа».

ЛЕРМОНТОВ:

Новые Советы
Спят спокойным сном.
Где же, соискатель,
Твой заветный том?
В кабинетах ВАКа
Шелестят листы.
Подожди немного,
Защитишь и ты.

ТЮТЧЕВ

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые
Его послали все Благие
В надежде на банкетный пир.

Сначала зритель обсужденья,
Потом в Совет допущен был,
В науке создал направленья
И утвержденье получил.

БЛОК

Кто защищал легко и бойко,
Пути не помнит своего.
Мы, дети страшной перестройки,
Забывать не в силах ничего.
Мы все читали «Положенья»,
Не отрываясь от листа.
В глубокомысленных сужденьях
Есть роковая пустота.

Пусть защищающие позже
Помянут шедших напролом.

Те, кто достойней — боже, боже! —
Получат чайный диплом!

МАРШАК

Вот содом, который устроил ВАК.
А вот диссертация,
Которая долго будет валяться
В содоме, который устроил ВАК.

А вот апробация,
В которой нуждается диссертация,
Которая долго будет валяться
В содоме, который устроил ВАК.

А вот манипуляция,
Которой достигается апробация,
В которой нуждается диссертация,
Которая долго будет валяться
В содоме, который устроил ВАК.

Те, кому я читал эти стихи, не без некоторого удивления отмечали их оптимистический тон, который, как казалось, никак не соответствовал сложившейся ситуации. Объяснялся он тем, что я чувствовал себя тогда полным сил, был уверен в своей работе, меня не покидало убеждение, что нет препятствий, которые могли бы меня остановить, и что если я упрусь лбом в стену, то она рухнет. Я опасался ВАКа: «черных» рецензентов, тайных кабинетных сговоров, закрытых решений, — но в том, что в открытом бою победа будет за мной, не сомневался ни минуты.

Решение проблемы пришло неожиданно, можно сказать, свалилось с неба. В библиотеке имени В. И. Ленина ко мне подошел Василий Иванович Кулешов и предложил защищать диссертацию у него: он был заведующим кафедрой русской литературы МГУ и председателем только что там сформированного докторского Совета.

Никаких отношений у меня с ним к тому времени не было. Лишь двумя-тремя годами ранее я приехал в Москву на Лермонтовскую конференцию, и он, бросив на меня косой взгляд и нахмутив брови, спросил: «А вы кто?» Я ответил: «А я Фризман». Лишь после этого он приблизился ко мне с широкой улыбкой и протянутой рукой.

Но в дальнейшем мы не встречались, я не посылал ему свои работы, не получал от него писем. На его кафедре я был знаком только с А. И. Журавлевой, которая тогда еще не имела даже звания доцента и, конечно, никак существенно мне содействовать не могла.

Размышляя позднее о побудительных мотивах его поступка, я объяснил его себе так. Человек не просто умный, но в высшей степени практичный и расчетливый, он решил, что в сложившейся ситуации не важно, что я еврей, беспартийный и молодой, а важно, что я способен положить на стол высококачественную, трудно потопляемую диссертацию. Именно это было ему нужно, чтобы хорошо начать работу Совета, и он поставил на меня. После непродолжительных раздумий я принял решение. Вечером 4 марта 1976 года, будучи в гостях у Коровиных, я от них позвонил Кулешову и сказал, что согласен. Этот день, как оказалось, предопределил мое будущее, и я считаю его одним из главных в своей жизни.

Мои друзья были не на шутку встревожены. Меня предупредили, что заместитель председателя Совета Н. И. Кравцов и его ученый секретарь П. Г. Пустовойт имеют репутации отпетых антисемитов. Если это и так, то в отношении меня ни тот, ни другой никакой предвзятости или враждебности не проявили. Оба они безупречно выполнили свои обязанности, а Пустовойт мне и тогда активно содействовал, и позднее по моей просьбе приехал в Киев прооппонировать моему коллеге.

Весной 1976 года продолжились мои контакты с Кулешовым и подготовка защиты, кафедра рассмотрела и одобрила диссертацию. Поскольку круг людей, которым можно было предложить оппонирование, был достаточно велик, тщательно обсуждалась каждая кандидатура. После консультаций с Машинским, который, к счастью, был в дружеских отношениях с Кулешовым, остановились на Пигареве, Скатове и Фридмане, а Литературный институт имени А. М. Горького, где Машинский заведовал кафедрой, был избран на роль ведущего учреждения.

Ничто не предвещало каких-либо осложнений и неприятностей, но в сентябре грянул гром с ясного неба. Пришло от Кулешова такое письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!

Был Совет на днях. Вы утверждены к защите. Отношение у всех доброжелательное. Защита будет в январе. Москвичева Г. В.

попала в бюллетень ВАК на декабрь и раньше намеченного срока будет защищать, еще в 1976 году. Вы сразу за ней. Сейчас идет дело в бюллетень.

Докладывать о Вас от Совета будет У. Фохт. Оппоненты те же, без изменений, естественно.

Уезжаю в США на 6 месяцев. К сожалению, на защите Вашей, наверное, не буду. Но все хорошо идет.

Обращайтесь к моему заму по Совету Петру Г. Пустовойту... У меня самолет на Вашингтон 14 сент., утро.

С успехом, привет. Ваш В. Кулешов
12 сентября

Я был обескуражен. Во время предыдущих бесед он и словом не обмолвился о возможности своего отъезда. Мне совсем не улыбалась перспектива, чтобы на моей защите председательствовал Н. И. Кравцов, о котором я столько всякого наслышался. Между тем именно он был замом, Пустовойта Кулешов назвал по небрежности, Пустовойт был не замом, а ученым секретарем.

Затем последовала еще одна неожиданность. Открывать работу Советов филологического факультета МГУ должна была защита Г. В. Москвичевой, объявление о которой появилось в «Бюллетене ВАК» раньше моего. Но она от этого категорически уклонилась: скрылась в Горьком так, что ее нельзя было найти. Так, честь иметь «Протокол № 1» перешла ко мне. Я, конечно, тоже предпочел бы защитить позже и под председательством Кулешова, но повести себя так, как моя предшественница, счел ниже своего достоинства. К тому же Кравцов всячески торопил дело: ему вероятно льстило, что именно он откроет работу Совета. Я согласился. Снова вспомнилась фраза из давнего разговора с Эткиндром: «Если не я, то кто же!» Говорил: не дадите докторскую степень — дайте по крайней мере медаль «За отвагу»!



В. И. Кулешов

Защита была назначена на 1 апреля 1977 года, как говорят, на День смеха. Прошла она необыкновенно быстро, без вопросов

диссертанту, без прений и столкновения разных точек зрения. Выступали только оппоненты. Создавалось впечатление, что члены Совета изначально знали и исход дела, и свою позицию. Но результат голосования был: 11 — за, 3 — против. Поскольку в голосовании большинства членов Совета усомниться было невозможно, считалось, что черные шары забросили фольклористы: Землянова, Соколова, кто-то еще. Мой друг Андрей Дмитриевич Михайлов говорил: Кравцов был так обаятелен и любезен, что невольно думаешь, не он ли проголосовал против... Это, конечно, была шутка: Кравцов так торжествовал, что ему довелось нежданно-негадано открыть работу Совета, что совсем не хотел скандала на первой защите.

Организуя свою защиту, я так набрался опыта, что даже получил возможность им делиться. Как раз в это время завершил работу над своей докторской Владимир Маркович Маркович, с которым мы тогда близко дружили. Он приезжал ко мне в Харьков, и я так его проинструктировал, что он прошел всю дорогу в Совет МГУ, как по ниточке. Он был от этого инструктажа настолько в восторге, что не знал, как его выразить. Когда я по какому-то поводу пожаловался на здоровье, он воскликнул: «Леня, твое здоровье — это наш общий капитал!»

Весть о моем успехе стала распространяться, и я начал получать первые поздравления. Во многих из них повторялись одни и те же слова: моя победа расценивалась как «торжество справедливости». Я думаю, разные люди вкладывали в них разный подтекст: для кого-то это, возможно, была победа еврея над государственным антисемитизмом, но большинство расценивало произошедшее как торжество ценностей подлинной науки.

Писем сначала по поводу защиты, потом по поводу утверждения меня ВАКом были десятки, и я ограничусь лишь несколькими цитатами из них. «Ваша диссертация неизмеримо превышает самые повышенные обычные требования» (Б. С. Мейлах). «Кто-то, а Вы уже давно заслужили степень доктора» (В. А. Мануйлов). «Человек Вы мужественный, если отважились на такое дело “в наше время, когда...”» (М. М. Гин). «В Вашем случае “за” — вся жизнь в науке» (А. А. Жук). «Завоеванное с трудом и при самых неблагоприятных обстоятельствах намного дороже легких удач» (А. А. Аникст). «Сердечно поздравляю молодого доктора! Главное для всех Ваших друзей — это Ваша радость — и справедливость случившегося» (П. А. Николаев). «Это один из редких случаев, ког-

да докторская степень полностью заслужена и соответствует уровню исследования и его научной ценности» (Е. Н. Пульхритудова).

Вернувшись из США, Кулешов сразу стал председателем Экспертного совета ВАКа. Он позвонил мне в Харьков 6 июня 1978 года, сообщил, что я утвержден, и немедленно взял меня в оборот. Я был не просто рецензентом, но как бы его «чиновником по особым поручениям». Он бросал меня на диссертации, в судьбе которых почему-либо оказывался заинтересованным. Мое первое оппонирование после утверждения в докторах было на защите Веры Аркадьевны Мильчиной. Ее отец был главным редактором издательства «Книга», так сказать, нужным человеком, и я, таким образом, оказался причастен к научному старту этой замечательной женщины, скоро ставшей ярким специалистом с громким именем. Направляя мне диссертации на отзыв, Кулешов никогда ни о чем не просил. Но я получал хорошие работы, преимущественно докторские. Иногда их авторы позднее входили в мой дружеский круг. Так случилось с Линой Хихадзе, близкой приятельницей или даже родственницей В. Э. Вацуру.

Кулешов много раз приглашал меня к себе домой, особенно когда я проходил четырехмесячную стажировку в МГУ, и мы оба жили практически рядом на университетской территории: он в преподавательском доме, я — в гостинице для стажеров. Эти вечера мне хорошо запомнились: он принимал гостей умело и настойчиво, и гости, естественно, тоже «принимали». «Я вижу, что этот коньяк вам не понравился, — говорил он, — сейчас я открою другой!»

Кулешов вызывал к себе у разных людей разное отношение. Мне случалось сталкиваться тем, что о нем говорят в пренебрежительном, а иногда и враждебном тоне, мою оценку считают завышенной, проистекающей не из его действительных качеств, а из той положительной роли, которую он сыграл в моей судьбе. Да будет дозволено и мне сказать, каким мне видится этот незаурядный человек.

Мне не довелось ни разу в жизни увидеть Г. А. Бялого, но я много слышал о нем, и преимущественно от Я. С. Билинкиса. Он говорил: «Самое малоинтересное в Бялом было то, что он писал. Его лекции были более яркими, но как собеседник он не знал себе равных, слушать его было одно наслаждение». Всякое сравнение хромает, а мое сравнение Бялого с Кулешовым, наверное, хромает на обе ноги. Но, проведя много времени в беседах с Кулешовым, я укрепился в убеждении, что он ярче и умнее своих работ.

Его понимание литературы и литературоведения меня восхищало и восхищает. Да, у него были слабости, и предъявлявшиеся ему упреки имеют под собой основание. Но как зорко и убийственно он видел слабости других! Это было в нем от Бога!

Я написал в свое время рецензию на его «Историю русской критики». Он понимал индивидуальность каждого из описанных в ней критиков так, как будто был с ними знаком. В этом мне видится ценность его книги, и я не отрекаюсь ни от одного слова своей рецензии. Но не могу не признать, что небрежность Кулешова, который, как я предполагаю, пользовался услугами недостойных доверия «помощников», привела к тому, что другие рецензенты (не я!) выявили в этой книге *горы* ошибок. Понятно, что такие вещи не могли пройти бесследно для научной репутации Кулешова.

Рыцарь литературной науки

Одним из самых близких людей, каких подарила мне судьба, был Андрей Леопольдович Гришунин. Он родился 29 октября 1921 года в Елатье Рязанской области, маленьком городке на берегу Оки, но покинул его в полторалетнем возрасте и подлинной своей родиной считал подмосковное Царицыно, где прожил три первых десятилетия своей жизни, окончил школу и в значительной степени сложился как личность.

«Сколько я себя помню, — я помню себя только в Царицыне, среди дворцов Баженова и Казакова, даже — в самих этих дворцах, в превосходном английском парке... Там прошла моя молодость. И я знаю, что это — важно; что годы молодости и юности имеют определяющее для жизни каждого человека значение; что без Царицынского дворца и парка я был бы совсем другим человеком»⁸², — такими словами начинается автобиографическая книга А. Л. Гришунина «Царицыно». Знакомство с ней оставляет неизгладимое впечатление — это и мемуары, и результат кропотливых исторических и краеведческих разысканий. Цепкая память автора вырвала из далекого и, казалось, забытого прошлого десятки имен и судеб людей, с которыми его в юности сводила судьба: одноклассников, соседей, мимолетных знакомых.

Обилие и достоверность собранного в этой книге материала предопределили ее удивительную судьбу. Оказалось, что некоторые из ее персонажей живы. Книга побудила их спустя десятилетия найти друг друга, восстановить прежние отношения. Мало того, в рамках серии «Сто фильмов о Москве» на ее материале был снят фильм, который называется «Сущий рай» (так отозвалась о Царицыне Екатерина II в одном из писем к Потемкину). Мы увидели на экране Андрея Леопольдовича, восьмидесятилетнего, но по-юношески подтянутого, элегантного, подвижного, страстного, полного энергии, доброты, юмора. Он вел нас по сегодняшнему Царицыну, воскрешая его богатую, во многом драматичную историю, частицей которой стала и история его молодости.

Из Царицына он ушел в армию, воевал на Ленинградском фронте, был командиром артиллерийского орудия, провел в городе-герое все 900 дней блокады, а завершил воинскую службу

⁸² *Гришунин А. Л.* (Андрей Виссор). Царицыно. Записки старожила. М., 2000. С. 3.

на последнем этапе войны в Хабаровске, на Втором Дальневосточном фронте. В армии его приняли в кандидаты ВКП(б), но членом ее он не стал никогда. В 1951 году он был уличен в инакомыслии, исключен и из партии, и из института. Это надолго отравило его последующую жизнь.



А. Л. Гришунин

Когда после смерти Сталина наступили более либеральные времена, ему дали закончить институт, но в аспирантуру он не был допущен, хотя прошел по конкурсу; работал в типографии корректором, а в секторе текстологии ИМЛИ лишь «на общественных началах». Его приход в науку оказался насильственно задержан. Как-то в нашем разговоре он с грустью процитировал применительно к себе слова из тютчевского «Цицерона»: «Я поздно встал». Действительно, когда в печати появилась его первая статья «Об использовании языковых дублетов

в целях атрибуции», ему было уже тридцать. Зато ее отметил и рекомендовал к печати такой взыскательный и не чуждый капризности авторитет, как академик В. В. Виноградов.

Вскоре Гришунина сделали младшим научным сотрудником, и с каждым годом стремительного творческого роста и реализации, его огромного научного потенциала приниженное положение, в котором его держали, выглядело вызывающим диссонансом. Я знаю, как возмущался этим Лихачев, своими глазами читал его гневное и ироничное письмо директору ИМЛИ, но прошло почти пятнадцать лет, прежде чем Гришунина удосужились перевести в «старшие». Намного позднее я узнал, что он стал лишь одной из жертв общей нездоровой обстановки в институте: с проявлениями несправедливости и дискриминации сталкивались и А. Д. Михайлов, и В. А. Келдыш, но ни к кому другому они не доходили до такого вызывающего уровня, как в отношении Гришунина. В 1963 году он защитил кандидатскую диссертацию («Очерк истории текстологии новой русской литературы») и лишь через восемнадцать лет — докторскую («Развитие исторического сознания в дореволюционном русском академическом литературоведении»).

Я познакомился с ним в августе 1970 года, мы собирались поехать вместе на Некрасовскую конференцию в Кострому, и, чтобы сговориться об этой поездке, я впервые побывал в его квартире на улице Вавилова. С той встречи мы сошлись настолько близко, что уже ни один из моих наездов в Москву не обходился без общения под этим гостеприимным кровом, а когда я уезжал, он, как правило, провожал меня на вокзал.

С большой симпатией относился я к его жене Валентине Александровне, а она, изучив мои вкусы, заботилась, чтобы к каждому моему приходу на столе было то, что я люблю. С его сыном Петей я общался мало, зато его дочь Аня, женщина редкого обаяния, сама стала моим другом и осталась им и после смерти отца. Об этом я в дальнейшем скажу еще несколько слов.

На упомянутую конференцию в Кострому мы с Гришуниным приехали уже друзьями, поселились в одном номере; а сколько раз впоследствии на многочисленных конференциях ни он, ни я не могли помыслить о другом соседстве, сколько я ночевал в Москве у него, а он в Харькове у меня, не скажу — спросите что-нибудь полегче! Именно в Костроме — как сейчас помню, во время обеда — он дал мне прочесть письмо, полученное им от Лихачева, который приглашал его войти в состав редколлегии серии «Литературные памятники». Кому случалось обращать на это внимание, подтвердит: в ее состав допускается только высшая академическая знать, и кандидат наук в ней — редчайшее исключение.

Но Лихачев знал, что делает. Не только потому, что Гришунин как ученый на голову выше многих докторов, но и потому, что, куда бы его ни направили, он везде был неутомимой рабочей лошадью. Автор этих строк включался во множество редколлегий и ни в одной из них пальцем о палец не ударил. Гришунин был не таков. Я знаю, что, помимо «Литпамятников», он входил в состав редколлегии журнала «Известия АН СССР. Серия литературы и языка». Я сотрудничал в обоих местах, и везде он и помогал мне, и в какой-то степени руководил мной.

Он был ответственным редактором всех четырех «памятников», которые я успел выпустить при его жизни, и мои обращения в «Известия АН», которые имели место после 1970 года, не обходились без его совета. С появления первого моего «памятника» (это были «Думы» Рылеева) сложилась традиция, которая не нарушалась до последнего: мы согласовывали и вместе решали, кому

дарить экземпляры, которые совместно и надписывали. Кроме этих, совместных, каждый, естественно, дарил, кому хотел. С радостью сознаю, что и я занимал большое место в его жизни, и он сам признавался, что считает меня самым близким из своих друзей. Одно из его писем заканчивалось словами: «Приезжайте, в Москве без Вас скучно!».

В апреле 1975 года он ездил в Калининград с докладом, для которого я оказался основным поставщиком материала. Доклад был посвящен теме «возвращения на родину» в русской поэзии. Эта тема активно разрабатывалась элегиками, и я ему понакидал столько «возвращений», что их не на доклад — на монографию бы хватило.

В конце 70-х Гришунин завершал и готовил к защите свою докторскую диссертацию, и я, как мог, передавал ему свой опыт. Ее предыстория и прохождение вместили немало драматизма. Я горжусь, что на подаренном мне экземпляре автореферата он сделал надпись: «...опытному лоцману в моем предзащитном “плавании...”». Знаю, что и в процессе защиты, и после нее были значительные трудности, но информация, которой я располагаю, отрывочна, и за достоверность поручиться не могу.

Мне известно, что Гришунин отказался от защиты в Москве, в своем институте, и перенес ее в Ленинград потому, что рассчитывал, что там его оппонентом выступит Лихачев. Лихачев то ли не смог выполнить обещанное, то ли передумал, но среди оппонентов его не было, и жертва, принесенная на этот алтарь, оказалась напрасной. Г. В. Краснов, С. А. Рейсер и Г. М. Фридендер — бесспорно авторитетные оппоненты, но таких же, а может быть, их же, он мог иметь и в Москве. Говорят, что Гришунину каким-то образом навредил или даже голосовал против академик М. П. Алексеев, ненавидевший Лихачева и переносивший эту ненависть на всех, кого считал и называл лихачевцами, в том числе и на Андрея Леопольдовича.

После успешной защиты диссертация попала в ВАК, и там ее мурыжили более двух лет, «изучали» грязную анонимку, в которой муссировалась давняя история с исключением автора из партии. Но на этот раз правда все же восторжествовала. С 1988 года он главный научный сотрудник, с 1997-го — профессор.

Когда пройден такой богатый и многосторонний творческий путь, то охватить его единым взглядом и выделить в нем главное, определяющее, непросто, и никто, в том числе автор этих строк, не застрахован от субъективизма и вкусовых предпочтений. Для

меня А. Л. Гришунин — прежде всего текстолог, образцовый текстолог, один из выдающихся текстологов нашего времени. Десятки его работ, посвященных общим и частным проблемам этой науки, выходили в свет на протяжении сорока с лишним лет, и особое место в этом ряду занимает его итоговая монография «Исследовательские аспекты текстологии», выпущенная в 1998 году. Я несколько не хотел бы умалить труды предшественников Гришунина — «Текстологию» Лихачева, «Палеографию и текстологию нового времени» Рейсера и многие другие. Но в том-то и дело, что, имея возможность критически осмыслить сделанное ранее, отобразить то, что выдержало испытание временем, Гришунин подготовил издание, на котором будут учиться, по которому будут сверять свою деятельность многие поколения текстологов.

Текстология, как известно, наука практическая, и сила обобщений, которые мы находим у Гришунина, в том, что они опираются на накопленный им огромный опыт публикаций и подготовки изданий не только классиков, но и писателей второго ряда. Он участвовал в подготовке академических собраний сочинений Герцена, Тургенева, Некрасова, Чехова, во многих изданиях серии «Литературные памятники», членом редколлегии которой состоял более 35 лет. Не побоюсь сказать, что каждое из таких изданий — это своего рода текстологическое пособие. Как я уже упоминал, Гришунин был ответственным редактором четырех книг, которые я выпустил в этой серии, и поскольку при подготовке каждой из них приходилось решать немало сложных текстологических проблем, я имел возможность и учиться у него, и в полной мере оценить глубину его взгляда, взвешенность подхода, аргументированность решений.

Из многих писателей, в изучение которых он внес определяющий вклад, первым должен быть назван Грибоедов. Выпущенные Гришуниным в «Литературных памятниках» два издания «Горя от ума» (первое — в 1969 году совместно с Н. К. Пиксановым, второе — в 87-м самостоятельно) — своего рода краеугольный камень грибоедоведения. А уж статей по отдельным вопросам жизни и творчества писателя десятки, нечего и пытаться их перечислить!

Когда в предвидении 30-летия Победы было принято решение нарушить неписанные законы, сложившиеся в серии «Литературные памятники» и не допускавшие издания в ней произведений советской литературы, и ознаменовать юбилей выпуском поэмы

«Василий Теркин», Лихачев поручил подготовку этой книги не кому-нибудь из многочисленных исследователей Твардовского, а человеку, который им до тех пор не занимался, — Гришунину. И Гришунин не только осуществил этот замысел, но и выпустил ряд работ о Твардовском, в том числе книги «“Василий Теркин” Александра Твардовского» (1987 и 2001) и «Творчество Твардовского» (1998 и 1999).

Уверен, что одним из самых знаменательных и памятных дней в жизни Гришунина был тот, когда дирекция Института мировой литературы АН СССР назначила его главным редактором академического полного собрания сочинений и писем А. А. Блока. Я был из первых, кому он рассказал об этом, и хорошо помню, каким он тогда был, каким-то необыкновенно сосредоточенным, проникнутым сознанием легшей на него огромной ответственности. Он ведь до того не состоял в штатных блоковедах, а тут предстояло уйти в иную эпоху, в иную стихию, формировать Блоковскую группу и шире — круг соратников, единомышленников, которых предстояло сплотить и повести за собой. А время было хуже некуда, шла коммерциализация книжного дела, издательства разваливались. Но он не отступил. Даже в последние годы, когда возраст и дефицит сил стали брать свое и от осуществления многих планов пришлось отказаться, он оставался полон решимости — все, что мог, все, что осталось, отдать Блоку. Увы, ему довелось лишь положить начало огромному делу: о выходе первых двух томов он сообщил мне в письме от 3 июня 1997 года.

Андрей Леопольдович был не только моим другом, но другом и покровителем моих учеников; у него сложились многолетние прочные разносторонние связи с Харьковом и с нашим университетом, в котором он достаточно регулярно бывал. Вспоминаю, как в 1973 году он приехал в Харьков вместе с А. Д. Михайловым, они встречались с представителями литературной и педагогической общественности, проводили в Центральном лектории вечер «Литературные памятники — вчера, сегодня, завтра», а Гришунин еще выступал с лекцией «Юрий Тынянов — писатель и ученый». А в 1980 году я организовал в том же помещении большой вечер, приуроченный к 100-летию рождения Блока. Нечего и говорить, что «изюминкой» и главным украшением этого мероприятия, ставшего событием в культурной жизни нашего города, было выступление Андрея Леопольдовича.

Когда моя студентка написала дипломную работу, в которой впервые обследовала и ввела в оборот списки комедии Грибоедова «Горе от ума», хранящиеся в отделе редких книг и рукописей Харьковской библиотеки имени В. Г. Короленко, мы отправили эту работу в Грибоедовскую группу Института мировой литературы АН СССР, которую возглавлял Гришунин, и, вероятно, единственный раз в истории на защите дипломной работы оглашался отзыв столь авторитетной инстанции.

Дважды он приезжал в наш университет и с большим успехом читал спецкурсы в наших аудиториях, был самым дорогим и желанным оппонентом на защитах моих аспирантов и докторантов. Особенно значительна роль, которую он сыграл в судьбе моей ученицы Елены Анатольевны Андрущенко. Когда она подготовила для серии «Литературные памятники» книгу Мережковского «Толстой и Достоевский», ответственным редактором выступил именно Гришунин.

Но еще до выхода этой книги я договорился с ним о том, что редколлегия доверит Е. А. Андрущенко куда более ответственную работу — подготовку для той же серии книги Мережковского «Вечные спутники». Вечер ее «зачатия» запечатлелся в моей памяти во всех деталях. После застолья в квартире А. Д. Михайлова мы шли от его дома на улице Качалова к метро «Библиотека имени Ленина» и обсуждали проблемы и трудности будущего издания. Надо признаться, ни он, ни я не представляли их себе тогда в полной мере. Но моя ученица взяла эту высоту. Гришунин должен был быть ее ответственным редактором, и текстологические основы книги закладывались при его активном участии и под его руководством. К сожалению, дожить до выхода этого совершенного, я бы сказал, в многих отношениях образцового, издания ему не довелось.

На протяжении нашей без малого полувековой дружбы мы с Гришуниним поддерживали постоянную и оживленную переписку. Незадолго до смерти он рассказал мне, что **ВСЕ** мои письма он сохранил и передал в РГАЛИ. Я же, небрежный растяпа, бóльшую часть их растерял. Из тех писем, которые я все-таки сберег, позволю себе привести здесь тексты, запечатлевшие, как мне кажется, живой отпечаток наших отношений.

Первое из них было написано в ответ на известие о том, что ВАК утвердил мою докторскую. Поздравлений пришло тогда много, но такое страстное — только одно.

Дорогой Леонид Генрихович!

Страшно рад! Веселюсь всем сердцем! От всей души по-здрави-
ля-ю!!! Не забывайте теперь друзей — тех, что еще не доктора. Дomo-
чадцы мои поздравляют тоже. Всего доброго всем Вашим близким.

Обнимаю сердечно!

Ваш А. Гришунин

10 июня 1978 г.

Второе письмо я получил за несколько дней до своего 50-ле-
тия. Эта круглая дата пришлось на время, когда в жизни Гришу-
нина случилась большая беда: скоропостижно скончался его друг
с фронтовых времен Е. Полтев. Жил он в Мурманске, я его нико-
гда не видел, но Андрей Леопольдович мне много о нем рассказывал
и любил повторять, что два самых близких ему человека — это Пол-
тев и я. Горестное известие застало его на отдыхе, в Юрмале, и он
прямо оттуда вылетел на похороны в Мурманск, отправив мне пе-
ред тем такое письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!

Я еще поздравлю Вас телеграммой поближе к Вашему дню,
а сейчас хочу обнять Вас на расстоянии и сказать Вам, что я Вас
люблю и очень дорожу нашей верной, хорошей дружбой. Мне ка-
жется, что за эти годы я многому у Вас научился. Вы относитесь
к жизни с чрезвычайной серьезностью и, кажется, рассчитываете
ее, как в шахматах. Я уверен, что Вы осуществите все свои планы,
но впереди еще много высот, которые Вам предстоит покорить.

Крепко Вас обнимаю.

Ваш А. Гришунин

Еще одно письмо, которое, на мой взгляд, показательно для
характеристики Гришунина. В конце минувшего века, когда мы
готовились отметить важнейшее событие культурной жизни —
200-летие со дня рождения Пушкина, — я выпустил книгу «Се-
минарий по Пушкину». Со времени выхода в свет последнего по-
добного издания прошло сорок лет, пушкиноведение за это время
так обогатилось, что необходимость дать современное представ-
ление о нем была прямо-таки кричащей. Признаюсь, что и сам
считаю его подготовку одним из главных дел, которые мне дове-
лось сделать.

Ни одна моя книга не далась мне так трудно, как эта. Дело не только в трудоемкости и ответственности самой работы. Мои надежды на то, что в преддверии 200-летия со дня рождения Пушкина удастся заполнить под эту идею какой-нибудь грант, не оправдались. Невомоверных хлопот и унижений стоило выпустить ее в свет. А пока она печаталась, развалилось и разорилось издательство, так что реализация тоже легла на мои не очень широкие плечи. И все-таки я доволен, что она существует. Возможно, из всех моих книг эта — самая нужная, ответившая на наиболее насущную потребность.

Она разошлась по миру, и на прием, который она встретила, жаловаться не приходится. Она сразу попала в Интернет и, если мне не изменяет память, была тогда там одной из всего лишь тридцати книг о Пушкине. Она превосходит все другие мои книги по количеству рецензий, появившихся в разных странах. Как правило, в этих рецензиях сочетались и высокая, порой, может быть, даже неумеренно высокая, оценка моей работы (не раз повторялось слово «подвиг»), и огромное количество разнообразных претензий, указаний на пробелы и т. п. В ряду полученных мной «критических писем» в моей памяти запечатлелись, наряду с письмом Гришунина, очень разумные, в хорошем смысле слова дотошные письма Л. С. Сидякова и Л. А. Шеймана. Вот что написал Гришунин:

Дорогой Леонид Генрихович!

Я книгу прочитал насквозь, с интересом. Рад за Вас: безусловно, это большое Ваше достижение и успех. Понравилось введение, где есть свежие мысли о размещении произведений. Замечательно — о неприязни властей к комментариям. Цитируется Л. Л. Домгерр, до писаний которого я никак еще не добрался. Я искал **книгу**, и из Вашего «Семинария» узнал, что материал напечатан в «Новом журнале» и др.

Думаю, что можно было точнее охарактеризовать издания Геннади, которые не были перепечаткой Анненкова, а существенным их ухудшением; сказать бы о споре Анненкова с Ефремовым, который — принципиален, п. ч. отражал непримиримость тенденций «эстетического» и «библиографического» направлений. Об издании «Лит. фонда» (морозовском) Вы не упоминаете. А далее — разговоркой, через запятые, сваливаете в кучу издание «Просвещение», дореволюционное академическое издание, каждый том которого по-своему поучителен, венгерский 6-томник.

Совсем вышла из поля Вашего зрения работа Модеста Гофмана (нет его даже в указателе). Между тем от него оттолкнулись и Томашевский, и Винокур, и Бонди...

Не сказано о критике 16-томного издания в специальном докладе Ю. Г. Оксмана (1957).

Во введении необходимо было сказать о «Пушкинском семинарии» Венгерова, который подготовил кадры пушкинистов — почти все оттуда. И о первых семинариях Пиксанова, особенно о его «Пушкинской студии» (1922).

В перечне справочной литературы (с. 111–112) как не упомянуть том «Пушкин. Итоги и проблемы изучения» (1966).

Собственно семинарская часть книги больших замечаний у меня не вызвала, за одним исключением: «Пушкин и религия» (с. 208–210). Эту разработку считаю просто несостоявшейся. Хотя в списке литературы и упомянуты митрополиты Анастасий и Антоний Храповицкий, мне показалось, что Вы их не прочитали. На Марьямове, Емельяне Ярославском и пошлой книжке 1963 года, выпущенной в ИМЛИ, далеко не уедешь. Жаль, что Вы не знакомы с трудами Б. А. Васильева, который тоже не упомянут в указателе; особенно с его книгой «Духовный путь Пушкина» (М., 1994).

Вообще одиозные имена: А. И. Гессен, М. Яшин, Т. Глушкова — встречаются слишком часто. О них бы вообще не говорить...

Но Дм. Зуев с его подделкой «Русалки» (и вообще тема фальсификации пушкинских текстов) — нужен. И хотя бы в связи с ним нужен Ф. Е. Корш. Но ни тот, ни другой в книге не присутствуют.

К недостаткам отношу отсутствие имен: В. И. Чернышева — исследователя языка и орфографии Пушкина, фольклора пушкинских мест; Н. Ф. Бельчикова (работы о стихотворении «Деревня», «С Гомером долго ты беседовал один...»)

Заслуживает внимания тема датировки у Пушкина. Я только что напечатал об этом большую статью в «Московском пушкинисте» (III). Учтите для 2-го издания.

Написано все энергично и хорошо, как Вы умеете. Но изредко встречается словечко «Борьба Пушкина...» (с. 105, 107), которое я расцениваю как советизм.

Опечатки на стр. 119 (Иезуитова), 178 (Кемерово), 273 (Б. Ф. Томашевский).

Издано хорошо. Хотя заставки и прочие детали оформления слегка шокируют некоей фривольностью, не вполне пушкинской.

В целом, конечно, это очень солидный Ваш труд, с которым я Вас от души поздравляю. <...>

Ваш А. Гришунин
3 июня 1997 г.

Последние годы жизни этого столь дорогого мне человека были омрачены тяжелым недугом: после инсульта он совершенно потерял речь. Он правильно реагировал на все, что я ему говорил: смехом, сочувственным покачиванием головы, но не мог сказать в ответ ни слова.

Я написал статью к его 80-летию. Хотя он не дожил до своей юбилейной даты, его дочь Аня успела ему ее прочесть и позднее рассказывала мне, что во время чтения у него в глазах стояли слезы. Знаю и о том, что я был первым, кому она сообщила о его кончине.

В мире бардов

Будущие историки, надо думать, не раз вернуться к осмыслению того факта, что в системе тотальных запретов, установленных советской властью, общество сумело пробить заметную дыру, которая именовалась самодеятельной, или авторской, песней. Высоцкий так и умер, не получив разрешение Госконцерта на исполнение своих произведений, а между тем не было дома, в котором не звучал бы его голос. Стихийно собирались никем не разрешенные, но многолюдные фестивали, на которых люди слушали и переписывали друг у друга не прошедшие цензуру песни. А о самодеятельных концертах в квартирах и говорить нечего.

Для людей моего поколения эти песни были отдушиной, в них мы слышали то, о чем не писали газеты, не сообщали теле- и радиопередачи. Как в любой массовой культуре, в авторской песне хватало хлама, но было там и подлинное, высокое искусство. Уже тогда, в 60–70-е годы прошлого века, выявились три вершины: Владимир Высоцкий, Булат Окуджава и Александр Галич. Все они были оппозиционны, но в разной степени. Наиболее открыто антисоветским поэтом был Галич. Как верно писала Валерия Новодворская, он видел советскую действительность через прицел автомата и расстреливал ее в упор. Не случайно он оказался единственным из этой великой тройки, кого вынудили уехать из СССР, и погиб в изгнании при не до конца выясненных обстоятельствах.

Я считаю Высоцкого и Окуджаву великими поэтами, второй из них стал темой моих исследований и публикаций, но Галич именно по причине яростно антисоветского характера его творчества был мне наиболее близок. При первых проблесках горбачевской гласности я стал предпринимать попытки изучения и популяризации творчества Галича. Сохранилось свидетельство очевидца, доцента Харьковского педагогического университета В.В. Юхта. Он пишет: «Переломная дата запомнилась с точностью до дня. 16 февраля 1988-го состоялось первое заседание Филологического общества. Инициатором его создания был, как нетрудно догадаться, Леонид Генрихович. А темой его дебютного доклада стала поэзия Александра Галича — “отщепенца, махрового антисоветчика, злопыхателя, эмигранта-НТСовца”. Выбор такого героя **там и тогда** свидетельствовал о недоужинной смелости исследователя. Горбачевская “перестройка”, напомним, воспринималась на местах специ-

фически: пусть все меняется, но так... чтобы ничего не менялось. Харьков проснулся лишь весной 1989-го, когда на выборах прокатили выдвиженцев партноменклатуры. А в начале 1988-го город был еще погружен в зимнюю спячку, бонзы долдонили про “социалистический выбор”... Кто мог знать, куда повернет колесо истории»⁸³.

Добавлю к этому, что лекции, которые я читал о Галиче, вызывали интерес; меня приглашали в вузы и НИИ. Эта деятельность привлекла к себе внимание первого отдела педуниверситета, в котором я работал, но до какого-то открытого нажима дело не дошло. Ситуация менялась быстро: запрещенное вчера сегодня оказывалось дозволенным. Вскоре его стихи стали появляться на страницах журналов.

По счастью, у меня сложились благоприятные условия для изучения и популяризации Галича. Почти все его многочисленные поклонники располагали лишь магнитофонными записями песен, а это не лучший материал для текстолога: в процессе исполнения автор вносил изменения, и неизвестно, какой вариант следует считать дефинитивным. Мне же удалось раздобыть ксерокопию последнего прижизненного сборника Галича «Поколение обреченных», изданного в Мюнхене.

Первую свою статью о Галиче я попробовал предложить журналу «Огонек», который считался тогда лидером демократической журналистики. Возглавлял его В. Коротич, кстати сказать, вместе с Е. Евтушенко именно от Харькова избранный в 1989 году в Верховный Совет. Но статью мою не приняли. Как и другие журналы, «Огонек» норовил печатать подборки стихов с краткими врезками, куда никакой серьезный анализ вместить было нельзя. Зато «Русская речь» напечатала статью «“Как оступившийся мистер” (О сравнениях в поэзии Галича)», что положило начало моему длительному сотрудничеству в этом журнале и дружеским контактам с редактором отдела «Язык художественной литературы» Ю.И. Семикозом. Появилось еще несколько публикаций: «Поэт о поэтах», «Вставная новелла как форма выражения авторской позиции в поэме А. Галича “Кадиш”», «Средства типизации в сатирических стихах Галича», «Необъявленная война».

Почувствовал себя в силах написать о Галиче книжку и намерение это осуществил. Мой многолетний друг и выдающийся исследователь авторской песни Анатолий Валентинович Кулагин,

⁸³ Юхт В. В. Многоликий талант // Наука и жизнь. Харьков, 2010. С. 88.

к разговору о котором я еще вернусь, проявил незаурядную и дорогую мне пронизательность, отозвавшись о побудительных мотивах этого замысла такими словами: «Ощутима и личная пристрастность автора, столь характерная для тогдашнего (не только Л. Г. Фризману присущего) желания после долгих десятилетий вынужденного молчания высказаться, объясниться в любви к поэту. Именно так мы понимаем булгаковский эпиграф к книге: “И я, которому никогда не суждено его увидеть, посылаю ему свой прощальный привет”. Вместе с тем эта книга — филологическая, в ней намечены перспективы изучения творчества поэта и начата их реализация»⁸⁴.

Писалась книга о Галиче быстро и радостно. Низкий поклон за понимание и поддержку брату покойного поэта Валерию Аркадьевичу и его жене Людмиле Георгиевне. Помогала мне и его родственница Нина Георгиевна Крейтнер, которая распоряжалась значительной частью его архива. Но с ней было нелегко, приходилось объяснять, что все, что я делаю, я делаю не для себя, а для увековечения памяти великого поэта и дорогого ей человека. Мои уговоры не были бесплодны, по ходу разговора она смягчалась, как-то теплела, и я добился почти всего, чего хотел. Лишь несколько фотографий, которые я выпрашивал для иллюстраций, так и не удалось получить.

Поскольку для меня всегда самым ценным в Галиче была его беспощадная приверженность истине о нашей истории, о нашем политическом строе, о всей нашей жизни, то я и назвал книжку строчкой из его песни: «С чем рифмуется слово ИСТИНА». Принес ее в издательство «Художественная литература», в котором был, как казалось, желанным автором: кроме двух сборников в серии «Русская литературная критика» и монографии «Декабристы и русская литература» здесь вышел подготовленный мной «Парнас дыбом»: первое издание стотысячным тиражом, а через год второе — трехсоттысячным. Намечавшийся редактор одобрил представленную рукопись, поддержал меня в том, что книга должна быть лишена какого-либо налета академизма или наукообразия, согласился с отсутствием в ней библиографических сносок. Но выпуск сорвался из-за финансовых неурядиц. Было межумочное время, когда государственные издательства разваливались, а частные еще не стали на ноги.

⁸⁴ Кулагин А. В. Барды и филологи. Коломна: МГОСГИ, 2011. С. 61.

С двухлетней задержкой и ценой немалых усилий мне все же удалось добиться ее выхода в свет. «Крышу» дало санкт-петербургское издательство «Орион», а реально тираж был отпечатан в Харькове. Встретили ее хорошо. «Литгазета» откликнулась хвалебной рецензией, а сотрудничавший с ней Г. Г. Красухин написал: «...Книжка Ваша по-новому раскрывает и Вас. Оказывается, Вы не только ученый литературовед» — и тут же предложил сотрудничество в рубрике «Точка зрения», которую он вел: «Я был бы рад, если бы колонка Вам удалась: мыслите Вы очень интересно». Вот отклик Б. Ф. Егорова: «Меня не удивила книга: ведь большинство из нас в нормальных условиях занимались бы современностью — и к ней всегда тянемся». Из США пришло письмо Юрия Дружникова: «Книжку Вашу о Галиче я прочитал сегодня ночью. О нем много написано, но это лучшее, что я знаю. Вы, помимо прочего, очень точный на слово эссеист». С. Б. Рассадин, хорошо знакомый с Галичем и примерно тогда же выпустивший о нем книжку мемуарного характера, написал: «...Благодарю Вас как внимательный и неизбежно придирчивый читатель. Всегдашний Ваш превосходный уровень, мне давно и хорошо знакомый, разумеется, выдержан и здесь, в материале, уж не знаю, то ли необычном для Вас, то ли неожиданном для меня. Вероятно, это прозвучит глупо, но все равно: я рад за покойного Сашу, так трагически недополучившего при жизни. Впрочем, и Вашу книгу он читал бы с радостью и недоверием: неужели это про меня? Да, слава богу, про него».

Так случилось, что с книжки о Галиче началась моя дружба с Бенедиктом Михайловичем Сарновым. Считаю его одной из самых выдающихся личностей, знакомство с которыми мне подарила судьба. Сколько я бывал в Москве на протяжении двадцати лет, отделявших наше сближение от его смерти, столько напрашивался в гости в его квартиру на улице Черняховского... А ведь в 1994 году я напал на него в печати! Опубликовал в «Литературной газете» статью «“Подлинный расцвет”, или О чем позабыл Бенедикт Сарнов». Думал, после этого он меня на порог не пустит.



Б. М. Сарнов

Но нет! Он не только не обиделся и не счел врагом, а пригласил в гости. Было товарищеское общение и бутылочка вина, и ушел я одаренный его книгой «Пришествие капитана Лебядкина (Случай Зощенко)» с надписью: «Леониду Генриховичу Фризману с благодарностью за понимание, что для литератора, как известно, дороже всего. Дружески Б. Сарнов». Согласитесь, что такой ответ на критику в печати встретишь нечасто, на это способен только духовно сильный человек.

Главным свершением Сарнова я считаю его четырехтомный труд «Сталин и писатели». Из остального ставлю выше всего книги «Маяковский. Самоубийство» и «Феномен Солженицына». Делаю над собой усилие, чтобы не продолжить этот перечень двухтомными мемуарами «Скуки не было» и некоторыми другими из его книг. Ничего не скажу о том, какой он был собеседник, потому что это не передать никакими словами. Читайте его и все поймете сами. Во время встречи, которой суждено было стать последней, Сарнов рассказал, что пишет книгу об Окуджаве. С каким наслаждением я бы ее прочел!

При каждой встрече я приглашал его в Харьков. Он побывал у нас дважды и оба раза не один: привозил Наума Коржавина и Владимира Войновича. Он умер в апреле 2014 года. Приехав в Москву в октябре на Лермонтовскую конференцию, я тщетно пытался сказать хоть несколько сочувственных слов его вдове Славе Петровне, но найти ее не сумел.

Как автора книги о Галиче меня стали приглашать на регулярные конференции, проходившие в Государственном культурном центре-музее В. С. Высоцкого на Таганке. Думаю, что, по крайней мере, первым из этих приглашений — на конференцию, прошедшую в апреле 1998 года и посвященную 60-летию со дня рождения Высоцкого, — я обязан моему другу Сергею Ивановичу Кормилову. Во всяком случае, это единственный член оргкомитета, с которым я был до того близко знаком.

...А познакомились мы в Тбилиси на очень интересной, представительной и памятной конференции по сонету, организованной К. С. Герасимовым (обаятельный человек, которого Гришунин называл первым интеллигентом Грузии) и украшенной такими участниками, как В. А. Сапогов и В. С. Баевский. Там мы с Кормиловым перешли на «ты» и отбросили отчества. Сегодня в Москве таких

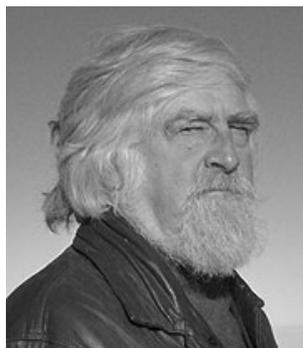
мне дорогих и любимых людей, как Сережа, меньше, чем пальцев на одной руке, и я хочу сказать о нем несколько слов безотносительно к бардам и авторской песне.

Отдаю себе отчет в том, что осведомленность моя односторонняя. Ничего не могу сказать о нем как о педагоге, лекторе, научном руководителе. Но точно знаю, какой он труженик и какой эрудит. Никогда не видел перечня его публикаций, но, судя по регулярности появления его имени в научной периодике, такой перечень должен быть более чем внушительен. В теме его докторской диссертации «Маргинальные системы русского стихосложения» ничего не смыслю. Но знаю, что его оппонентами были Гаспаров и Эткинд — и мне этого достаточно! Бывая у него дома, с уважительным удивлением рассматриваю горы его книг, не только стоящих на полках, но и лежащих горами по всему пространству комнат. Рассматриваю и мысленно развожу руками: мне и не снилось такое многообразие интересов.

Есть, однако, такая область его деятельности, о которой берусь судить уверенно: Кормилов как рецензент. Никто не написал столько рецензий на мои книги, как он, и я знаю: Кормилов — рецензент убийственный. Он никогда не ввяжется в полемику по дискуссионному вопросу, не скажет ничего, на что можно было бы возразить. Но он высмотрит все ошибки, неточности, даже опечатки. Такая зоркость обличает незаурядную эрудицию.

Самые теплые чувства вызывает во мне его семья. Не знаю, молчалива ли его жена по натуре или держится так в моем присутствии, но я смотрю на нее молчащую и люблю: такая интеллигентность светится во всем ее облике. А его дочка, можно сказать, выросла на моих глазах: я познакомился с ней, когда она только пошла в школу, теперь она и замужем, сама пишет книги, и ее отцу есть, что о ней рассказать.

Итак, когда я впервые появился на конференции, проходившей в Центре Высоцкого, ко мне подошел незнакомый человек и уверенно назвал меня по имени и отчеству. Это был Андрей Евгеньевич Крылов, заместитель директора по музейной и научной работе. Позднее мы с ним сблизились и подружились, и я смог



С. И. Кормилов

по достоинству оценить его разностороннюю одаренность. В осведомленности о творческом наследии Окуджавы, которого он хорошо знал при жизни, ему не было равных. Мне это раскрылось, когда я увидел, как он вдребезги разнес том, выпущенный «Новой библиотекой поэта».

Его книжки, которые он мне позднее дарил: «Галич-соавтор» и «Не квасом земля полита...» — неоценимый материал для будущих комментаторов Галича, притом такой, ценность которого со временем будет только возрастать. К тому же он был организатором от Бога, душой конференций, проводимых Центром Высоцкого, и изданий, вышедших по их следам. Его конфликт с Н. В. Высоцким, приведший к уходу из Центра, обернулся невосполнимой потерей и для дела, и для всех нас. Но это было намного позднее. А сейчас, сказав мне две-три дежурные фразы, он попросил пройти в зал, где шло заседание, в программе которого значился мой доклад.



С Кормиловым

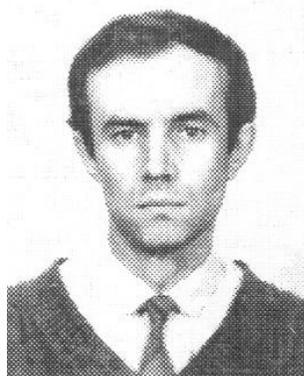
Войдя, я увидел, что ведет заседание не кто иной, как мой Кормилов. Сережа усмехнулся и приветливо кивнул мне своей огромной головой, украшенной роскошной шевелюрой, которая сводила с ума чувствительных женщин. Только я опустил в кресло, как предыдущий докладчик покинул кафедру, и Сережа предоставил слово... мне! Вот, оказывается, в чем был смысл его усмешки: я, сам того не зная, поспел аккурат к своему докладу.

Моя тема была обозначена строкой Окуджавы «Каждый пишет, как он слышит». Я говорил о том, что, характеризуя Окуджаву, Высоцкого, Галича, не уйти от их сопоставления и противопоставления. Чтобы лучше понять каждого из них, мы будем их

сравнивать, и от этого сравнения каждый из них останется в выигрыше. Я повторил другими словами сравнение, которое родилось, еще когда я писал свою отвергнутую статью в «Огонек», а позднее фигурировало в моей книжке. Окуджава — музыкант в поэзии. Музыкальность — это особая природа его стихов, и в ней большой ряд музыкантов: музыкант «целуется с трубой», «наигрывает вальс», «в руках сжимает черешневый кларнет». Высоцкий остается в поэзии актером, мастером перевоплощения: он конькобежец, пьяный хулиган и даже волк, и иноходец, и истребитель. А Галич — живописец, он несколькими мазками создает картину, которую нельзя забыть: «дом, где с куполом синим не властно соперничать небо»; «а за окнами снег, а за окнами белый мороз. Там бредет одноногая тень мимо белых берез». Мне несколько раз доводилось видеть ссылки на это наблюдение, но больше всего я горжусь тем, что его стали упоминать и без ссылок, т. е. признав как бы обезличенным общенаучным достоянием.

На конференциях в Центре Высоцкого я встречался с многими авторитетными специалистами и интересными людьми, но особо дорожу многолетней дружбой и общением с человеком, который, по моему мнению, внес в изучение авторской песни вообще и творчества Высоцкого в частности, вклад, не сопоставимый ни с чьим. Это уже упоминавшийся Анатолий Валентинович Кулагин.

Он живет в Коломне, а дружим мы с ним около тридцати лет. В 1999 году он защитил в МГУ докторскую диссертацию «Эволюция литературного творчества В. С. Высоцкого». Тема, я считаю, была выбрана прицельно: нет понимания Высоцкого без понимания его эволюции. Монография Кулагина, примерно так же озаглавленная, переиздавалась **трижды** и для каждого издания дорабатывалась, последнее из них вышло в 2013 году. Сколько своих книг он мне подарил, сразу не скажу, нужно считать. А их список занял бы добрую страницу. В книге «Высоцкий и другие», вышедшей в 2002-м, перечень публикаций Кулагина, появившихся уже к тому времени, включает



А. В. Кулагин



А. Е. Крылов

37 названий. В 2010 году он подарил мне интереснейший сборник своих статей «У истоков авторской песни», в который включены также отрывки из отзывов Кулагина на защитах докторских и кандидатских диссертаций по Высоцкому. Они свидетельствуют в числе прочего и о том, каким желанным он был оппонентом.

А последней из присланных им книг (насколько я знаю, Толя с недавних пор ослабил свое внимание к авторской песне и углубился в изучение поэзии А. С. Кушнера) стала книга «Барды и филологи. Авторская песня в зеркале литературоведения». Появление этой книги считаю событием этапным. Это первая книга не о Высоцком, не о Галиче, не об Окуджаве, а об их исследователях; первая книга, где в центре внимания автора не БАРДЫ, а БАРДОВЕДЕНИЕ. И написать ее мог (и должен был!) только Кулагин. Она логически выросла из цикла его статей, появившихся в «Новом литературном обозрении». Дарственная надпись на ней в моем восприятии *cum grano salis*: «Дорогому Леониду Фризману — филологу широкого диапазона, не забывающему и о бардах...» Так и должен был написать человек, отдавший жизнь изучению бардов, коллеге, который уделяет им внимание время от времени.

Эта надпись напомнила мне другую, сделанную выдающимся исследователем бардовской песни, автором первой (вышедшей в 1991 году!) книги о Высоцком «В союзе писателей не состоял» Владимиром Ивановичем Новиковым: «Дорогому и высокоценимому (во всех аспектах: элегическом, галичевском, парнасском (дыбом) и многих других) Леониду Генриховичу Фризману...».

Было у меня и такое соприкосновение с бардовской тематикой. Моя соискательница Инна Грачева написала и успешно защитила диссертацию о Юлии Киме. Насколько мне известно, этот популярный бард впервые стал предметом такого углубленного исследования. Когда ее работа подходила к концу, она попросила меня помочь ей написать и издать также книжку об этом поэте.

Надо сказать, что материал был ею собран не только в высшей степени добросовестно, но и умело. Как я мог убедиться, она ори-

ентировалась в Интернете гораздо свободнее и целесообразнее, чем ваш покорный слуга. Диссертация была существенно переработана, и в 2014 году сделанная нами в соавторстве монография «Многообразии и своеобразии Юлия Кима» вышла в свет.

С кем обменяться мнениями о ней, как не с Толей Кулагиным! Произведение наше он одобрил, но, будучи настоящим специалистом, сделал и несколько толковых замечаний. Вот письмо, которое я от него получил:

«Дорогой Леня, я побывал у Крылова и получил твою книгу о Киме. Поздравляю тебя еще раз с ее выходом и очень благодарен тебе за подарок. Замечательно, что теперь и у Кима есть “своя” монография — он ее, конечно, заслужил. Надеюсь, он сам об этом или уже знает, или скоро узнает. Сам я никогда о нем не писал и не считаю себя специалистом или знатоком, но и без того вижу, что ты и твоя ученица поработали на славу. Книга подробная, обстоятельная, охватывающая разные грани дарования героя. Хорошо, что и “кимовского” Путина не обошли! (Он — то есть Путин — тоже этого “заслуживает”.) Может быть, стоило побольше сказать о собственно художественной природе творчества Кима, об особенностях поэтики (по примеру, скажем, Льва Аннинского, который в свое время написал, что у Кима нет лирического героя в традиционном смысле слова, что у него царит иронико-пародийная стилизация и проч.); без этого интонация книги иногда становится несколько описательной. Конечно, нужна библиография и ссылки — почему их нет? Кстати, там, где вы пишете об отношениях Кима с Высоцким, можно было бы учесть интервью Кима, напечатанное в первом выпуске альманаха “Мир Высоцкого” (этот выпуск у тебя должен быть: его дарили на конференции в музее В.В. в 1998 году, на которую ты приезжал). Там Ким довольно подробно об этом рассказывает».

В заключение хочу сказать, что с докладами об авторской песне я выступал не только в Центре-музее Высоцкого, но использовал для ее популяризации все аудитории, какие мог. В Киеве состоялись доклады «Политический подтекст неполитических стихов Булата Окуджавы» и «Юлий Ким — диссидент XXI века», в Одессе — «Гражданственность Булата Окуджавы», в Люблине — «Ваше величество женщина», в Крыму — «На фоне Пушкина...». Пушкинские отзвуки у Галича и Окуджавы». Все они опубликованы.

Появились в печати также статьи «Ах, если б я знал это сам...». Поэзия безответных вопросов» и «Ах мил-сердечный друг...». Булат Окуджава в песнях и воспоминаниях Юлия Кима».

Понятно, что за истекшие десятилетия общественная функция авторской песни существенно изменилась. Она перестала быть выразительницей оппозиционных настроений. Но в значительно большей степени определилось ее место как органической части отечественной культуры.

В массовом сознании бытует представление, что Маяковский, Багрицкий, Антокольский, Твардовский, Бродский, Самойлов — это поэты, а Высоцкий, Галич, Окуджава как бы из другой категории, и ставить их в один ряд не принято. Я приведу сравнение, которое, конечно, хромает, но, надеюсь, поможет мне выразить свою мысль. На просьбу назвать великих поэтов XIX века каждый назовет Пушкина, Лермонтова. Некрасова, но вряд ли кто-то назовет Крылова. Между тем Крылов по своей популярности превосходил любого поэта XIX века, включая Пушкина. И у Николая I были основания считать его самым великим поэтом своего царствования. Выражения «демянова уха», «а ларчик просто открывался», «сильнее кошки зверя нет», «воз и ныне там», «хоть видит око, да зуб неймет» знают даже те, кто в жизни не прочел ни одной книги и понятия не имеет, кто автор приведенных строк. Почему же мы замалчиваем тот факт, что Высоцкий, которого слушали и любили и академики, и дворяне, и утонченные интеллектуалы, и спившиеся бедолаги, превосходил по своей популярности Ахматову, Пастернаку, Мандельштаму, Бродского и еще многих, кого мы относим к крупнейшим поэтам XX века?

Чем дальше будет уходить в прошлое представление о Высоцком и Галиче как о поэтах, которые только тем нам и дороги, что выражали запретные мысли, тем правильнее будет становиться представление о глубине идей, выразившихся в их стихах, о мощи их образов, об их художественном мастерстве и месте, принадлежащем им в истории литературы.

Дорогие мои томичи

Томск — это не только страница моей биографии, но и отрезок жизни, оставивший памятный след в душе. Все началось с Фаины Зиновьевны Кануновой. Я смолоду знал ее работы и ценил их обстоятельность и достоверность. Это касается и ее монографии о русской романтической повести, и статей о журналистике первой трети XIX века, и еще всякого-разного — печаталась она много. Что-то побудило меня ощутить в ней родственную душу; я послал ей свои «Северные цветы», выпущенные в серии «Литературные памятники», и получил такой ответ:

Глубокоуважаемый Леонид Генрихович!

Огромное спасибо Вам за «Северные цветы». С любовью просмотрела книжку и от души радуюсь за Вас и любимый мной альманах. Ему с исследователями очень повезло. Сейчас читаю Вашу статью с жадностью, потому что все это хоженные мной места и очень интересующие меня сюжеты. Ведь моя кандидатская диссертация посвящена «Московскому вестнику». Это, очевидно, во многом решило мою судьбу.

Еще раз: большое спасибо и искренне поздравляю Вас с выходом прекрасной книги! Новых удач Вам.

С искр. приветом,
Ф. Канунова

Фаина Зиновьевна была одной из тех счастливых женщин, которые до старости ощущают себя молодыми. Когда я впервые увидел Ф.З. (ее многие коллеги и ученики называли так за глаза), ей было под семьдесят, но она тщательно следила за своей внешностью и впечатлением, производимом ею на мужчин. Диссертантка, которая допустила, что я увидел Ф.З., когда она считала себя недопричесанной, получила за эту оплошность по первое число.

Но главное, что осталось в светлой памяти всех, кому посчастливилось ее



Ф. З. Канунова

знать, было, конечно, другое: ее самоотдача подлинного ученого, влюбленность в свое дело, которой она умела заразить окружающих — сотрудников, учеников, всех как-то причастных, — талант организатора, такого командира, который не говорит: «Вперед!», а говорит: «За мной!».

Ко времени нашего знакомства центром ее внимания, можно сказать, главным делом и ее жизни, и жизни тех, кого она сплотила вокруг себя, был Жуковский. Вы только подумайте: эта славная когорта отодвинула на вторые роли Москву и Ленинград и сделала далекий сибирский Томск столицей Страны Жуковского. И как невероятно вырос, как раскрылся новыми качествами сам Жуковский, как утвердилась его роль одной из ведущих фигур литературного процесса!

Само воссоздание библиотеки Жуковского было, по моему глубокому убеждению, подвигом. Я побывал в Томске несколько раз и слышал о том, как это происходило. Библиотека, приобретенная для Томского университета, по разным причинам оказалась раздроблена, некоторые книги попали в общее хранилище, в учебную библиотеку, в библиотеки кафедр. В процессе поисков пришлось прибегнуть к сплошному пересмотру старых фондов.

Работенка была еще та. По выражению Маяковского, «в грамм добыча, в год труды». Для выявления искомым книг, изучались дневники, переписка, воспоминания, после чего в обследованных книгах обнаруживались записи, пометы, сделанные характерным почерком Жуковского, и даже рисунки, выполненные поэтом. Таким образом удалось выявить и описать свыше 3100 экземпляров книг, принадлежавших Жуковскому. Нетрудно себе представить мое состояние, когда я ходил между этими шкафами, трогал книги, разговаривал с людьми, которые сделали это возможным.

Однако успехи поисков знаменовали не конец работы, а лишь создание предпосылок для ее начала. Предстояло подвергнуть изучению весь грандиозный объем добытого материала. Ведь Жуковский имел обыкновение на страницах книг оставлять свои тексты, в частности наброски переводов. А специалистам даже отчеркивания, подчеркивания, крестики на полях говорили о многом. Тогда и началась работа, которую фактически возглавила Ф.З. и которая увенчалась выпуском трехтомного сборника исследований «Библиотека В. А. Жуковского в Томске». Как совершенно справедливо отметила она в одном из своих интервью: «Исследование

библиотеки Жуковского определило главное направление в изучении не только русского романтизма, но и русской классической литературы в целом как направление человековедения»⁸⁵.

В 1990 году я узнал, что трехтомник «Библиотека Жуковского в Томске» выдвинут учеными Пушкинского Дома во главе с Лихачевым на соискание Государственной премии России, и получил просьбу направить свой отзыв в поддержку этой инициативы. У меня не сохранилась копия подготовленного мной довольно объемного отзыва, но позволю себе заверить, что отнесся к работе над ним со всей ответственностью, писал не только о заслугах членов редколлегии, но и характеризовал отдельные статьи. Я, конечно, понимаю, что моя роль в решении вопроса была нулевой, издание получило бы заслуженную им награду и без меня, но я сочинял этот документ с вдохновением, и у меня осталось удовлетворенное чувство от сознания, что представилась возможность исполнить свой долг и что я этой возможности не упустил.

Впрочем, все это было позже, а тогда вскоре после приведенного выше письма Канунова пригласила меня в Томск оппонировать ее аспирантке, защищавшей диссертацию на тему «Н. М. Карамзин — переводчик». Звали аспирантку Ольга Бодовна Кафанова, и о ней я в дальнейшем расскажу подробнее, потому что ни с кем из тех, кого я отношу к категории «дорогие мои томичи», не сблизился так, как с ней. Мы давно на «ты», и не только я ее, но и она меня называет по имени...

Всей подоплеки приглашения меня на защиту я не знаю; возможно, это было связано с тем, что у Олиной диссертации было два руководителя: не только Канунова, но и Юрий Давидович Левин, крупнейший специалист по англо-русским литературным связям, фактический заместитель академика М. П. Алексеева. Познакомила меня с ним Александра Львовна Андрес, которой я обязан знакомством с Эткиндо. Уже в пору нашей дружеской близости Левин был избран почетным доктором Оксфорда, чем совсем



О. Б. Кафанова

⁸⁵ *Канунова Ф.З.* Слово юбиляра // Жуковский и время. Томск: Изд. Томского ун-та, 2007. С. 7.

не чванился, а охотно над этим подшучивал. Ко мне он относился с симпатией и уважением, проявившимися, в частности, в письме от 27 мая 1980 года, в котором говорилось: «Пользуюсь случаем, чтобы сообщить Вам о том, что Ваше имя звучало в моем недавнем разговоре в Москве. Дело в следующем. Летом должна выйти моя книжка (первая — куда мне до Вас!) “Оссиан в русской литературе. Конец XVIII — первая треть XIX века”. Находясь в Москве, я зашел 19 мая в “Вопросы литературы” и беседовал с Е. А. Кацевой и Г. К. Львовой о том, что мне хотелось бы иметь рецензию на книжку в журнале. Обсуждая возможные кандидатуры рецензентов, Кацева назвала Вас и обещала написать Вам соответствующую просьбу, когда книга выйдет. Надеюсь, что Вы не откажетесь, а при Вашей феноменальной работоспособности это не отнимет у Вас много времени».

То, что именно Левин подсказал Кануновой мою кандидатуру в качестве первого оппонента, косвенно подтверждается тем, что второй оппонент был приглашен, несомненно, с его подачи. Это была работавшая, как и Левин, в Пушкинском Доме сотрудница отдела русской литературы XVIII века Наталья Дмитриевна Кочеткова. Не хотел бы сплетничать, но раз начал говорить правду, куда от нее денешься... Подозрения относительно близких отношений Левина с Кочетковой возникли еще при жизни его первой жены М. И. Дикман, а когда вскоре после ее смерти Левин сообщил мне, что женился вторично, я и спрашивать не стал, на ком. «Вы ее вычислили?» — усмехнулся в разговоре со мной Я. С. Билинкус. Я подтвердил. По всему по этому я и думаю, что Юрий Давидович, симпатизировавший Оле Кафановой, которая, надо думать, не меня одного впечатляла красотой и обаянием, подобрал ей обоих оппонентов.

Так, в декабре 1981 года я впервые попал в Томск. Стояли сорокоградусные морозы, и мы видели сквозь иллюминаторы, что к нашему самолету не могут подогнать трап, поскольку не удавалось разогреть его замерзший мотор. Но, как я убедился, когда в ясный день светит солнце и воздух столь неподвижен, что ни одна веточка не шелхнется, то на сибирском морозе чувствуешь себя намного лучше, чем на пронизывающем и холодящем душу ленинградском ветру.

Прочитав Олину диссертацию, я оказался способен не только оценить эту работу, но и провидеть будущее ее автора. Я ощутил,

что передо мной птица высокого полета и что она не ограничится получением кандидатской степени. Для меня также не подлежало сомнению, что влияние на нее Левина превышало влияние Кануновой.

Олина защита была неинтересной. Ее диссертация настолько превосходила обычный для подобных работ уровень, что не оставляла места для дискуссий. Приезжая в Томск в последующие годы, я проводил время не с теми, кому оппонировал, а с ней. Гуляли, сидели на берегу речки Томь. И позднее встречались, где удавалось: в Москве, в Ленинграде.

Именно с ней сложились особенно доверительные и прочные отношения. В моей памяти живы ее рассказы об отце, который открылся мне как значительная, я бы сказал даже необыкновенная, личность. В нелегкой атмосфере последних десятилетий мы с Олей продолжали тянуться друг к другу и стремились не упустить возможности увидеться. Каждый ощущал в другом человека, с которым можно поделиться сокровенным, а в случае нужды обратиться за помощью... Петербург — столица в сравнении с Харьковом. Оля это понимала и стремилась сообщать мне то, что меня могло интересовать.

С той первой поездки я полюбил Томск и томичей. Тогда я познакомился с людьми, которые не только стали моими друзьями, но вызвали и продолжают вызывать мое восхищение. Первыми из них хочу назвать Александра Сергеевича Янушкевича и его жену Ольгу Борисовну Лебедеву. Безоговорочно признавая их обоих специалистами экстракласса, позволю себе считать, что соотношение мест, принадлежащих им в науке, не было неизменным.

Александр Сергеевич был старше Ольги Борисовны почти на десять лет. Хотя он лишь незадолго до нашего знакомства был утвержден в звании доцента, а докторскую защитил пять лет спустя, за версту чувствовалось, что этот человек обладал значительным авторитетом и научным весом, что он при Кануновой в положении кронпринца. Правда, он сменил ее в должности заведующего кафедрой лишь в 1991 году, но уже раньше появились такие определяющего значения его книги, как «Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского» и «В. А. Жуковский. Семинарий». Обе они стоят на моей книжной полке с сердечными и лестными дарственными надписями. Но важнее, несопоставимо важнее то, что он возглавил издание 20-томного «Полного собрания сочинений»

Жуковского. Оно, конечно, не дошло до Харькова; я имел возможность с ним познакомиться лишь в Москве, и то весьма бегло. Можете сколько угодно укорять меня в чрезмерной эмоциональности, но убежден, что такое издание да такого автора, как Жуковский, который никогда прежде не издавался как следует, издание, задуманное с таким размахом и осуществленное на таком профессиональном уровне, — это бессмертие.



А. С. Янушкевич

К сожалению, бессмертие не убеждает от смерти. 26 ноября 2016 года на 73-м году жизни Александр Сергеевич стал жертвой автомобильной катастрофы. Он, самый осторожный человек на свете, не способный не то что правила нарушить, а совершить необдуманное движение, погиб такой нелепой смертью! Как рассказывали люди, знакомые с деталями происшествия, в его автомобиль врезалась огромная «тойота», и он скончался на месте. Бесстрастный Интернет регистрирует место трагедии — 62-й километр автомобильной трассы Томск — Колпашово.

Два слова о личном. Я всегда буду вспоминать Александра Сергеевича с глубокой благодарностью за помощь, которую от него получил. В середине 80-х годов я работал над монографией «Декабристы и русская литература», в которой был обстоятельный раздел, где анализировалось отношение Жуковского к декабристам. Один из наиболее авторитетных специалистов по Жуковскому Раиса Владимировна Иезуитова, человек непростой и на похвалы не щедрый, сделала в одной из своих статей сноску, в которой говорилось, что после написанного по этому поводу в моей книге, тему можно считать закрытой и возвращаться к ней в будущем нет необходимости. По мне, такая сноска стоит рецензии. Но не видать мне подобной оценки, если бы, работая над разделом, я не находился в постоянном контакте с Александром Сергеевичем и не пользовался его помощью!

В отличие от Янушкевича научный взлет его жены Ольги Борисовны Лебедевой происходил на моих глазах. Он защитил кандидатскую задолго до моего появления в Томске, а докторскую намного позже, и у меня нет ни того, ни другого его автореферата,

зато от Ольги Борисовны я получил оба, причем надписи на них отразили эволюцию ее отношения ко мне. Кандидатский был надписан: «...с глубоким уважением и благодарностью за прекрасные работы», а докторский: «...с невыразимыми чувствами». Первая ее защита проходила за год до нашего знакомства, а когда назревала вторая, она попросила меня об отзыве. Придерживаясь мнения, что невыразимых чувств не бывает (да простит меня гениальный автор стихотворения «Невыразимое!»), я постарался выразить свое мнение о защищаемой диссертации и вроде в этом стремлении преуспел: как написала Ольга Борисовна, после оглашения отзыва зал «взорвался аплодисментами». Может быть, стоит упомянуть, что защита происходила в Новгороде, а это город мне не чужой, и с вожаком новгородского литературоведения Вячеславом Анатольевичем Кошелевым меня связывают многолетние самые что ни есть невыразимые, но вполне выразимые чувства...



О. Б. Лебедева

Но то, что я в Ольге Борисовне оценил уже после того, как нас разлучила судьба, и поездки в Томск перешли в категорию сладких воспоминаний, было вызвано потоком — другого слова не подберу — потоком авторефератов диссертаций, подготовленных под ее руководством. Справедливости ради упомяну, что приходили подобные невысказанные просьбы и от учеников других томских профессоров: ее мужа А. С. Янушкевича, И. А. Айзиковой, О. Б. Кафановой (Ю. Ю. Афанасьева, А. С. Барбачаков, А. Э. Еремеев, Н. Ж. Ветшева, В. М. Костин, Л. И. Крекнина, А. И. Куляпин, Е. Е. Лопатина, Н. К. Россошанская. И. А. Поплавская и др.), но диссертации, подготовленные под руководством Ольги Борисовны, впечатляли неожиданностью тематики и оригинальностью постановки проблем, как ничьи другие. Она, благодаря меня и, возможно, желая несколько польстить, писала, как дорожат моими отзывами, как спрашивают перед защитой, есть ли отзыв Фризмана. Должен признаться, что во многих случаях передо мной оказывались работы, о которых я был не вправе судить по причине неосведомленности в материале. Но темы, темы-то эти придумывала она! Я, который сам собаку съел в подготовке аспирантов, хорошо понимаю, что широта тематики

руководимых ею диссертаций отражала широту эрудиции их руководителя. И по этому показателю Ольга Борисовна, как мне кажется, превосходила даже своего глубокоуважаемого супруга.

Уезжая из Томска после Олиной защиты, я не думал, что приеду туда скоро. Но случилось так, что ко мне обратилась Алла Александровна Жук, которой я не мог отказать ни в чем. Когда получил просьбу выступить на защите ее ученицы Натальи Юрьевны Тяпугиной по диссертации на тему «Эволюция русской эпиграммы в первую треть XIX века», вопрос решился мгновенно. Работа была интересной, но сделанной, на мой взгляд, торопливо и потому уязвимой. Я постарался щедрой рукой отдать должное ее достоинствам, но к недостаткам отнесся безжалостно, не просто критиковал, но и высмеивал их. В завершение сказал примерно следующее: все необходимые слова о том, что диссертация Тяпугиной соответствуют предъявляемым требованиям, а автор заслуживает присуждения искомой степени, в моем отзыве написаны. Но, учитывая характер ее темы, не стану их повторять, а завершу свое выступление иначе — завершу его эпиграммой:

Соль, желчь и едкость эпиграммы
Всегда рождали ссоры, драмы,
Обиды, ярость и испуг.
А вот теперь кричим «Ура!» мы
И рады, что из эпиграммы
Родится кандидат наук!

Аплодисменты не умолкали все время, которое я шел от кафедры к своему месту. От пересказа всего, чего я наслушался в тот день, воздержусь. Краем уха слышал, как Янушкевич, который был вторым оппонентом, сказал кому-то о моем отзыве: «Да дело не только в содержании. Как это было исполнено!»

Наталья Юрьевна, которая, если называть вещи своими именами, была мной прилюдно высечена, не только не обиделась, а осталась в совершенном восторге, и он, как оказалось, не утихал и в последующие годы. Шестнадцать (!) лет спустя она защищала докторскую о поэтике символа в творчестве Достоевского и прислала мне автореферат, в который было вложено такое письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!

Благословите меня во второй раз! Откликнитесь, пожалуйста, вновь на мой труд! Мечтаю получить от Вас отзыв на мой авторе-

ферат — в любой форме! Можно — лично от Вас (имя известное!), можно от кафедры Вашей, — одним словом, как Вам будет удобно.

Понятно, что я не мог отказаться. Текст автореферата оставил у меня хорошее впечатление, а то, что из трех оппонентов двух — А. П. Ауэра и А. А. Слинько — я давно знал, укрепляло в убеждении, что диссертация достойная.

Через год после защиты диссертации об эпиграмме меня снова зазвали в Томск, на оппонирование диссертации Светланы Дмитриевны Титаренко «Сонет в русской поэзии первой трети XIX века». На этот раз работа была сделана очень тщательно, что я — не в меньшей степени, чем самой диссертантке, — склонен ставить в заслугу и ее руководителю Александру Сергеевичу Янушкевичу.

После того озорства, которое я позволил себе, завершив отзыв эпиграммой, я понимал, что без сонета меня не отпустят, а в нем не обойтись от упоминания об Александре Сергеевиче, элегантная бородака которого была неотъемлемым элементом его имиджа. В моем сонете она была отражена так:

Суровый ВАК не одобрял сонетов.
Он ненависть к ним лютую питал,
И до сих пор ни разу не звучал
Сонет на заседаниях Советов.

Но только занялась сонетом Света,
В ее трудах он дивно воссиял.
Мудрец брадатый с чувствами поэта
Нашел в ней аспирантки идеал...

Живо помню, как Света провожала меня в аэропорт; на моей книжной полке стоит подаренный ею сборник «Русский сонет»; с удовольствием виделся с ней время от времени после ее переезда в Санкт-Петербург.

И вот что хочется сказать в заключение. С конца 70-х до начала 90-х годов мне довелось поездить немало: оппонировал и в Поволжье, и в Грузии, и в Узбекистане, но Томску принадлежит в моем сердце особое место, это настоящий научный университетский центр, с которым не сравнятся ни Ташкент, ни Тбилиси, ни Ростов.

Валик и Верочка

Из моих друзей, живших вне Харькова, самыми близкими были Андрей Леопольдович Гришунин и Валентин Иванович Коровин. Отношения с этими двумя людьми, полагаю, обусловили и то, что Валентина Александровна Гришунина и Вера Яновна Коровина воспринимались мной не как жены друзей (как это было сплошь и рядом в других семьях!), а как и мои друзья тоже. В жизни Андрея Леопольдовича был период сильного увлечения другой женщиной, он меня с ней знакомил, и она всеми силами стремилась меня к себе расположить, но я оставался в убеждении, что если он Валентину Александровну на кого-нибудь променяет, то я его примеру не последую. О возможности подобной ситуации у Коровиных можно сказать только знаменитой чеховской формулой «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».



В. И. и В. Я. Коровины

Мы с Валентином Ивановичем, которого я всю жизнь называл не иначе как Валиком, впервые увидели друг друга в мае 1972 года на Лермонтовской конференции, проходившей в МГУ. Если память мне не изменяет, главной целью того разговора было размежевание наших докторских тем. Узнав, на каком уровне готовности находится моя «Элегия», он скорректировал свои планы и, как мне кажется, сделал это удачно. Его тема стала масштабней, дающей материал для более широких обобщений.

Окидывая сейчас ретроспективным взглядом сорок пять лет наших отношений, не могу не признать, что они были в каком-то смысле улицей с односторонним движением. Он сделал для меня неисчислимо много, а я для него... И на ум ничего не приходит. Я, приезжая в Москву, жил у него много раз, а он лишь один раз приехал в Харьков за консультацией по поводу мучившего его радикулита.

Такого труженика, как он, днем с огнем не сыскать. Я не знаю, сколько книг он выпустил, но знаю, что под его руководством были выпестованы 71 кандидат и 16 докторов наук. Куда ни пойдешь, его учеников найдешь. Приезжаю к нашим соседям в Белгород: харьковский и белгородский университеты устраивали общими силами конференцию «Два века русской критики», посвященную 200-летию со дня рождения Белинского. Встречает меня декан тамошнего филфака В. В. Липич и представляет: «Я аспирант Валентина Ивановича и докторант Валентина Ивановича!» Мне осталось только признать, что в моих глазах лучшей рекомендации не существует.

Работа — сквозная тема его писем. «Я, как обычно, в трудах. Рылеева закончил (нового), и сейчас он рецензируется Ю. В. Манном. Потихоньку пишу Пушкина — книжка на 8 листов, взгляд и нечто. Словом, все Жомини да Жомини, а об водке ни полслова. Пить почти разучился и из дому не выхожу. Осточертело, но никуда не денешься, да потом и делать нечего. Сижу дома, чтоб не пропасть совсем, читаю и пишу. Но ведь бывает и хорошо. Ты лучше меня знаешь, как сладко, если что-то удастся». Из другого письма: «Я все работаю, а работа — благо душевное и исцеляющее. Не столько время, сколько труд. Тут многое забываешь, особенно, когда удается. Сдал статью в ИМЛИ, закончил давнюю компиляцию о “гении” и пр. и пр.».

Находил Валентин Иванович время и для рецензирования моих книг, притом не абы каких, а главных — монографии «Декабристы и русская литература», «Семинария по Пушкину». Но больше всего я дорожу тем, что, когда в 2005 году готовился сборник статей «Предварительные итоги», выпущенный к моему 70-летию, он написал к нему обстоятельное предисловие, озаглавленное словами из письма Твардовского «Писать Вы можете...».

Он не только работал сам, но и меня обеспечивал работой. Именно с его подачи я впервые переступил порог издательства «Детская литература», которое выпустило в 1980 году сборник декабристской лирики «Высокое стремленье»; и еще до начала 90-х, когда все государственные издательства развалились, он позна-

комил меня с Н. М. Кожемякиной, с которой и благодаря которой вышел двумя изданиями сборник «Бородинское поле. 1812 год в русской поэзии». После нас подобных изданий навывпускали как собак нерезаных, но наше, хотите — верьте, не хотите — проверьте, было первым. До нас существовал только один сборник подобного рода — «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году», составленное в начале XIX века В. А. Жуковским.

Всегда буду вспоминать с благодарным чувством, что составители фундаментального издания «А. С. Пушкин. Школьный энциклопедический словарь» В. И. Коровин и В. Я. Коровина привлекли в авторский коллектив и Л. Г. Фризмана. И не просто привлекли, но дали развернуться. Я написал для него 78 статей, в том числе такие, как «Декабризм», «Историзм», «Реализм», «Пушкин-журналист», «Пушкин-издатель», «Современник». Не уверен, что был хоть один автор не москвич, перед которым были бы так распахнуты двери, как передо мной. Есть основания думать, что я составителей не подвел. Выдающийся американский пушкинист Томас Шоу, уж не знаю, за какие заслуги ко мне благоволивший и приславший мне том за томом свое собрание сочинений, после ознакомления с коровинским словарем написал, что восхищен (enjoyed) моими статьями.

В последние годы я стал реже бывать в Москве и уже не имею о научной и издательской деятельности Валентина Ивановича такого представления, как в прежние времена. Думаю, не менее пяти-сот публикаций в его активе. А три фундаментальных тома стоят на моей книжной полке: «Поэт и мудрец. Книга об Иване Крылове», Дон-Аминадо «Наша маленькая жизнь» и «Россия и Запад в болдинских произведениях А. С. Пушкина». Первые две из них писались, можно сказать, на моих глазах. Как сейчас вижу первый зал Российской государственной библиотеки, стремительными шагами идет между столами мой Валик с слегка растрепанной шевелюрой, на животе болтаются очки, которые он имел обыкновенные держать на привязи, чтоб сподручнее было сбрасывать, а в руках несколько десятков карточек, издали похожих на каталожные, но на самом деле покрытых мелким почерком сделанными заметками, которым предназначена роль кирпичиков, — из них вырастет здание, возводимое многоопытным зодчим... А третья книга, подзреваю, писалась дома ночами, бывшими его любимым рабочим временем. Это книга не разысканий, а размышлений и обобщений,

материал для нее накапливался на протяжении предшествующих десятилетий. И от сделанной на ней совсем простой, обыденной, прямо-таки типовой надписи «Моей жене, Вере Яновне Коровиной посвящаю» на меня повеяло всей прожитой жизнью.

Вера Яновна, для меня Верочка, профессиональный методист; с ее научным творчеством я, конечно, и знаком хуже, и понимаю в нем меньше, чем в том, что пишет ее муж, но что-то все-таки понимаю: я ведь проработал школьным учителем тринадцать лет. Поэтому оценить своеобразие, оригинальность, прицельную выдумку, которые характеризуют подготовленную ею книгу «Пушкин в школе», способен.

Господи, сколько я перевидал таких книг! Кажется, наперед известно, что в них найдешь... Кто подумает так о книге «Пушкин в школе», ошибется. Пушкин сказал, что один план «Ада» есть плод высокого гения. Я часто и по разным поводам вспоминаю эту его мысль. Не потому, уверяю вас, что, по моему мнению, такие, как Данте, часто встречаются, а потому, что не только «Ад», а именно «*один план*» может заключать в себе открытие, идею, открывающую нечаянные перспективы, словом, быть «плодом высокого гения». План Веры Яновны состоял в том, чтобы не писать книгу «Пушкин в школе», а составить ее из всего лучшего, что написано, и писать лишь тогда, когда написанное прежде не удовлетворяет. Это не хрестоматия, это особо умелое использование возможностей хрестоматии. Учитель не может рыскать по бескрайнему полю пушкиноведения, выискивая, кто лучше всех написал об «Онегине», а кто — о «Цыганах». Составительница проделала эту работу за него. И, опираясь на свой колоссальный опыт, отобрала не просто лучшее, а наиболее пригодные для подготовки к уроку варианты литературоведческих статей и методических работ за 100 лет существования методики. В приватном письме Л. Я. Гинзбург очень высоко оценила этот труд. А книжек и статей Верой Яновной написано тоже немало. Среди них школьные учебники для 5–9-х классов.

Я не знаком с докторской диссертацией Веры Яновны, но знаком с научно-методическим творчеством ее оппонента Володи Маранцмана, знаю об отношениях этих двух людей и считаю не просто удачей, а благословением судьбы то, что они нашли друг друга.

Вера Яновна — женщина строгая, у-у-у! какая строгая! она строго следит за тем, чтобы ее муж ел вовремя и ел то, что ему предписано. Когда я попадал в ее дом, она строго осматривала меня

и требовательно оценивала, как я одет, и строго указывала на то, что не так... Я не раз слышал, как она говорит о людях в их отсутствие, но никогда не бывало в ее словах ни осуждения, ни даже стороннего безразличия. Чаще всего сочувственные слова о том, что кому-то почему-то плохо, что кто-то обижен, что кто-то нуждается в помощи. Такая вот у нее строгость. После того как Валик написал предисловие к сборнику моих статей, она сердито сказала: «Да он весь список твоих работ изучил!» Что было в ее словах? Упрек? Недовольство? Расскажите это кому-нибудь другому.

Я видел Валика и Верочку в последний раз в 2014 году, когда приезжал в Москву на конференцию, посвященную 200-летию со дня рождения Лермонтова. Был там недолго и до такой знакомой, такой родной мне квартиры на улице со странным названием «26 Бакинских комиссаров» не добрался. А за это время произошло столько и такого, что вспоминать об этом нет ни малейшего желания. Мне не нужно обсуждать эти события с моими друзьями, чтобы знать, как они их воспринимают. Я никогда не забуду, как в сумятице начала 90-х в Москве появился вздорный слух, что на Украине бьют евреев, и как Валик мне позвонил и кричал в трубку: «Сейчас же приезжай и живи у меня!» Не беспокойся, мой дорогой, мне ничто не угрожает, и спасать меня не надо. Мне надо только, чтобы мы как можно дольше были друг у друга.

Янковский и Бураго

В конце 1972 года я получил от незнакомого мне человека письмо, которое начиналось словами, полностью соответствовавшими истине: «Обо мне как о славянофилеводе или просто о литературоведе Вы, конечно, никогда не слышали...». Далее следовала одобительно-уважительная оценка моей статьи, напечатанной в «Вопросах литературы» тремя годами ранее в ходе дискуссии о литературной критике ранних славянофилов, и сообщение, что автор письма также занимается этой тематикой, недавно издал в Киеве книжку «Из истории русской общественно-литературной мысли 40–50-х годов XIX столетия», посвященную социально-исторической сущности и литературно-критической программе славянофильства, и хотел бы установить со мной контакты.

Я о существовании этой книжки ничего не знал, и не диво: когда я попал в киевскую квартиру ее автора, доцента Киевского педагогического института Юрия Зиновьевича Янковского, то увидел, что весь или почти весь тираж лежит в нераспечатанных пачках под окнами, прикрытый занавеской. Знакомство наше произошло довольно скоро: в 1973 году меня направили в Киев на курсы повышения квалификации, и я прожил там четыре месяца. Я позвонил ему и оказался у него в гостях.

К этому времени он был уже тяжелым инвалидом: у него прогрессировал рассеянный склероз, который в среде филологов часто называют болезнью Тынянова. Как он позднее объяснял, эта болезнь как бы поднимается в человеке снизу вверх, постепенно омертвляя организм. Не знаю, как сейчас, но тогда медицина была безоружна в борьбе с этим недугом. Но Янковский, уже зная, что обречен, на ранней стадии своего заболевания успел съездить в Москву и собрать в тамошних библиотеках и архивах материалы для своей книжки о славянофилах, которую намеревался превратить в докторскую диссертацию.

Он контактировал там с В. И. Кулешовым, который сам занимался этой темой и в 1976 году выпустил книгу «Славянофилы и русская литература». Случилось так, что эта книга вышла во время длительной, растянувшейся почти на год поездки Кулешова в Соединенные Штаты, а после возвращения он подарил ее мне с надписью: «Дорогому Леониду Генриховичу Фризману с сердечным поздравлением по поводу блестящей защиты докторской

диссертации в МГУ в апреле 1977 года от автора». В разговоре со мной Василий Иванович уважительно отзывался о Янковском и сказал, в частности: «Кругло пишет». В его устах это была весьма высокая похвала.

Как только я узнал о планах Янковского, у меня сложилось скептическое отношение к ним. Я считал, что славянофильство — это проблема, вызывающая столь разноречивое отношение к себе, что связывать с ее решением получение ученой степени — значит идти на необдуманный и неоправданный риск. Бросил тогда кому-то мимоходом: «Чтобы писать докторскую на такую тему, нужно быть племянником Брежнева». Эта копеечная острота получила такую популярность, что Янковского стали называть племянником Брежнева.

В моей памяти Янковский остался одной из самых привлекательных и оригинальных личностей, с которыми мне довелось общаться; я понимаю и разделяю чувства моего коллеги и друга Владимира Яновича Звиняцковского, который издал свою книгу «Николай Гоголь. Тайны национальной души» с посвящением «Светлой памяти моего учителя Юрия Зиновьевича Янковского». Если бы мне предложили назвать главное качество Янковского, я бы сказал: чувство юмора, которое не покидало его никогда и светилось в его отношении ко всему и ко всем. Чтобы ощутить этот юмор, не читайте изданные Янковским книги, а вытащите из Интернета цикл его юмористических миниатюр. Прикованный к креслу, лишенный возможности даже встать на ноги, он иронизировал над своей беспомощностью и вставлял в свои письма такие выражения: «я по-прежнему служу в авиации...», «сохранил свою обычную грациозную походку...» и т. п. Его квартира именовалась «завидением», а ее хозяин — «дилектором». На дверях красовался украденный с какого-то столба плакатик с черепом и скрещенными костями и надписью «Не влезай — убьет!», на кухне — «Лаборатория», на кабинете «дилектора» — «Приемные дни: завтра и послезавтра». У него постоянно были гости, проводившие там много часов. Они считались сотрудниками «завидения», и «дилектор» придумывал им должности. Сережа Бурого был «главный специалист», а я — «эксперт по ножкам». Не могу не признать, что, определяя меня именно так, «дилектор» проявил нешуточную проницательность.

В этой книге есть очерк, который называется «Влюбленность». Те, кто прочли, знают, что речь там идет о моей влюбленности.

А если бы меня спросили, чувствовал ли я где-нибудь чужую влюбленность в себя, то единственное место, которое я мог бы назвать, это «завидение». Прежде всего это относится к «директору». Сначала были настойчивые просьбы: «Приходи как можно чаще!» Потом он начал предлагать, чтобы я к нему переселился. Это было соблазнительно. Я жил в общежитии, расположенном, по тогдашним представлениям, на краю Киева, недалеко от Выставки достижений народного хозяйства, а он — на улице Горького, буквально в двух шагах от Института иностранных языков, где я проходил стажировку, даже ехать не нужно было, только перейти на соседнюю Красноармейскую. Я долго уклонялся, но он давил на меня постоянно и настойчиво, и в конце концов я не устоял. А когда срок моей стажировки истек, и я решил провести в Киеве еще неделю, чтобы показать этот красавец-город моему десятилетнему сыну, то мы с ним поселились у Янковских вдвоем и прожили там эти дни, окруженные заботой, ухоженные и обласканные.

Такое же отношение к себе я видел и со стороны постоянных гостей Янковского — а гости эти имели обыкновение проводить у него целые дни, по существу, там жили, только ночевать уходили домой. И дружба, которая завязалась там, на многие годы пережила хозяина квартиры. Три имени не могу не назвать: Женя Шкляревский, Таня Громова и Сережа Бураго. Когда, бывало, я сидел у Юры, а кто-нибудь из них звонил по телефону, он, желая заманить их в гости, воркующим голосом говорил: «А у нас Леонид Генрихович...». И, представьте себе, это действовало безотказно!

Женя Шкляревский специализировался по журналистике, дважды брал у меня интервью и печатал их в своей газете. Сохранилось письмо, посланное в ответ на отправленные ему «Думы» Рылева: «Книга получилась очень и очень хорошей. Она должна стать (а может быть, уже и стала) событием. Хорошо подготовленные издания — большая редкость, даже среди литпамятников редкость, хотя эти издания являются академическими, часто этот академический принцип остается только претензией. В Вашем издании прекрасный аппарат, статья также хороша. Текстологическая работа на недостижимой высоте. От всей души поздравляю Вас с большой удачей». Однажды я ехал в Венгрию, и у меня в Киеве была пересадка. Мы с Женей так засиделись за столом, что я чудом не опоздал на поезд. Подобных случаев у меня было только два в жизни, и они послужили мне уроком умеренности в потреблении алкоголя.

А с Таней Громовой у меня был, можно сказать, платонический роман. Она из Херсона и приехала в Киев, где предстояла защита ее диссертации о Капнисте. Во время очередного застолья у Янковских заговорили о том, где должно стоять ударение в фамилии писателя. Таня ответила уверенным тоном специалиста: «Сам он говорил “Капни́ст” и рифмовал со словом “сви́ст”, а теперь говорят “Ка́пнист”». Юра спросил без тени улыбки: «И с чем рифмуют?»

По Таниной просьбе я добыл ей первого оппонента. Им согласился стать Илья Захарович Серман. Но ей этого показалось мало: она попросила, чтобы вторым оппонентом выступил я. Только человек, бесконечно далекий не только от антисемитизма, но и от понимания того, какое место он занимал в советской идеологической системе, мог себе представить такую пару оппонентов, как Серман и Фризман. Пришлось ей объяснить, что это было бы *embarrass de richesse*. Я предрек также, что по прошествии времени она скажет мне то же, что когда-то сказала по другому поводу ее тезка:

В тот страшный час
Вы поступили благородно.
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

После защиты она стала заведовать кафедрой в Херсонском пединституте. Как только я защитил докторскую, еще не был утвержден, а она уже организовала мне приглашение в Херсон прочесть спецкурс и ухаживала за мной, как могла. У меня сохранилось много ее писем, причем сквозной их темой были уговоры переехать в Херсон. «Помни всегда о Херсоне, — взывала она. — Я бы отдала тебе с огромным удовольствием кафедру (выполняла бы для тебя всю черную работу — расчеты, отчеты и т. д.). В общем, напиши мне о своих планах на будущее, только откровенно, как хорошему другу».

Вернусь к Янковскому. Хотя состояние его необратимо ухудшалось, он работал много и продуктивно. Выпустил хорошую книгу «Человек и война в творчестве Л. Н. Толстого». Пек, как блины, явно для заработка, популярные книжки на украинском языке о Неруде, о Мериме, еще о ком-то. Сам отзывался о них пренебрежительно и мне не дарил, стеснялся. С маниакальным упорством продолжал бредить докторской защитой. Дожить до нее ему было не суждено, но в 1981 году московское издательство «Художествен-

ная литература» выпустило его монографию «Патриархально-дворянская утопия. Страница русской общественно-литературной мысли 1840–1850-х годов». В основу ее была положена его книга 1973 года, но значительно доработанная, примерно вдвое увеличенная в объеме и, главное, дошедшая до читателя и сделавшая имя автора известным во всех концах страны.

Для ее издания необходимо было решить непростую проблему, состоявшую в том, что выпуску такой книги обязательно предшествует работа автора с редактором издательства, а в данном случае автор был абсолютно нетранспортабелен. Поскольку у меня к тому времени в «Художественной литературе» вышли две книги, и я стал там вроде как своим человеком, мне удалось убедить их войти в сложившееся положение, и один из лучших, самых опытных редакторов Г. Соловьев поехал в Киев, где они с Янковским сняли все вопросы. На подаренном мне экземпляре автор к посвящению «Татьяне Евгеньевне Янковской — заботливой жене и неутомимой помощнице — посвящаю эту книгу» дописал от руки: «а также Лене Фризману Л. Г. и евойной Наташе». Когда у него спрашивали, что это за «евойная Наташа», он (это же Янковский!) отвечал: «Ну должна же у него быть какая-нибудь Наташа!»

Для меня не подлежит сомнению, что постигшая его болезнь и ранняя кончина не дали ему реализовать и малой доли того, что в нем было заложено. Остался нереализованным его потенциал как ученого. Я обсуждал с ним много научных вопросов, советовался по поводу собственных творческих планов, и меня впечатляли его кругозор и цепкость мысли, он мгновенно улавливал и суть проблемы, и наиболее рациональный путь ее решения.

В меньшей степени могу судить о нем как о педагоге: не слушал ни одной его лекции, не присутствовал ни на одной консультации. Поэтому передам слово его бывшему студенту, ныне доктору наук, уже упоминавшемуся Владимиру Яновичу Звизняцковскому: «Ю.З. — мой ГЛАВНЫЙ учитель, я был студент пединститута, м. б. и не без способностей, но вообще не понимавший, каким боком приступить к литературоведению, которое меня стихийно, неудержимо влекло — и только. Он научил меня всему: от азов до таких виртуозных вещей, какими сам владел и какие только я мог перенять, а главное — он научил меня мужеству, которое, дай Господь, чтобы в такой степени не пригодилось, как пригодилось ему, но которое, как пример, я всегда вспоминаю, если вдруг наступает ну не черная

(все — в сравнении!), а всего лишь серая полоса: “Не ной, — говорю я себе, — не ной, а хохми, как хохмил Ю.З., когда ему было уж наверно хуже — в тысячу раз хуже! — чем тебе”».

Этот отзыв представляется мне тем более ценным, что он характеризует Янковского не только как педагога в узком, точнее конкретном, содержании этого понятия, но и как личность. Он принадлежал к числу тех подлинных педагогов, которые не только вкладывают в своих учеников определенную программой сумму информации, но УЧАТ ЖИТЬ, делают человека не таким, каким он был прежде. Те, кому посчастливилось иметь на своем веку таких педагогов, знают, что те продолжают их учить еще долго после того, как судьба разлучает их навеки.

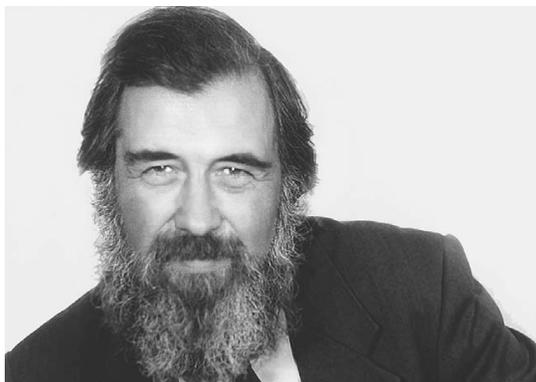
Я уже упоминал, под кровом Янковского произошло мое знакомство с Сережей Бурого. Судьба подарила мне возможность относительно непродолжительного, но очень близкого общения с этим замечательным человеком. Когда скончался Добролюбов, Некрасов написал обращенные к нему слова: «...и высоко вознесся ты над нами». Я, конечно, не имею намерения сравнивать Добролюбова с Сережей и эту некрасовскую строку напоминаю совсем с другой целью. Сережа был человеком, лишенным и тени какой-либо аффектации, скромным, тактичным, даже несколько застенчивым. Может быть, поэтому истинный масштаб его творческой личности открылся многим, лишь когда его не стало.

Мы с ним очень сердечно, по-хорошему дружили. Наиболее тесное и систематическое наше общение выпало на время моей киевской стажировки. Он тогда смотрел на меня вроде как на учителя. Я таковым не был, но опыта у меня имелось больше, и я ему всячески помогал, в частности в организации его кандидатской защиты. С моей подачи к нему приехал тот же первый оппонент, который шестью годами раньше оппонировал мне, — Алексей Владимирович Чичерин. Я их познакомил, а он познакомил меня со своим вторым оппонентом — Леонидом Константиновичем Долгополовым, с которым я до тех пор не встречался.

Действительным Сережи учителем был Янковский, который с его острым умом и неподражаемым юмором существенно повлиял на становление Сережи и как ученого, и как личности. Как я недавно убедился, это не только мое мнение. В томе, выпущенном к 70-летию со дня его рождения, я прочел воспоминания Л. Н. Гра-

бовской об отношениях этих двух людей, и написанное ею даже в деталях совпадает с тем, что отложилось и в моей памяти. Хотел бы попутно заметить, что вся подборка мемуарных материалов в книге «Набег язычества на рубеже веков» очень хороша, но особенно теплым чувством и глубоким пониманием проникнуты воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи и вкрапленное в них Сережино письмо.

В первый же день, когда я увидел Сережу, Янковский мне сказал: «Этот юноша может стать гордостью нашей науки. Станет ли, не знаю, но может!» Представляете себе, сколько раз впоследствии я вспоминал этот разговор, когда высказанное им как возможность стало реальностью! Сережа был на десять лет моложе меня, но мне казался еще более юным. На будущую бороду тогда, в 1973 году, и намека не было. На защите он был очень хорош, даже мелкие оговорки, вызванные естественным волнением, только повышали градус симпатии, которую он вызывал у собравшихся. Я, готовя своих аспиранток к защитам, постоянно их учил: обсуждается не вопрос, заслуживаешь ли ты присуждения ученой степени, обсуждается проблема, поставленная в твоей диссертации. В этом смысле Сережа держался и выступал образцово: он был весь проникнут Блоком, взволнован Блоком, он защищал Блока, а не Бураго. Вполне разделяю то ощущение, которое запечатлено в воспоминаниях и других присутствовавших: защита проходила в обстановке не то чтобы неприятия, но явно ощутимой антипатии к диссертации и диссертанту, и, если бы не участие в ней таких именитых оппонентов, бог его знает, каким был бы ее исход.



С. Б. Бураго

На моей книжной полке стоит книга Сережи с надписью «...на память о наших давних прогулках по Киеву». Да, дорогой Сережа, я их хорошо помню. Помню и о том, при каких обстоятельствах я общался с тобой в последний раз, за считанные месяцы до твоей смерти. Дело было так. Докторская диссертация моей ученицы Елены Анатольевны Андрущенко наткнулась на остревенное сопротивление одной твари, заседавшей в Экспертном совете ВАКа (фамилию ее называть не буду — противно!), которая написала разгромную рецензию: дескать, это не диссертация, а только материалы к диссертации и т. п. Ситуация сложилась угрожающая, и я мобилизовал «своих» киевлян на борьбу за ее благоприятный исход. Сережа был из первых и, естественно, обещал сделать все, что будет в его силах. Удалось ли ему найти средства воздействия, я не знаю, но диссертация была утверждена, и ее автор за истекшие с тех пор семнадцать лет так доказала свое право на докторскую степень, как это удается немногим.

Сережа был основателем ежегодных конференций «Мова и культура», самых представительных филологических форумов на Украине, да и за ее пределами не знающих себе равных, а также журнала «Collegium». Благодаря неистощимой энергии его сына Дмитрия Сергеевича оба эти начинания не канули в вечность, а продолжают оплодотворять нашу культуру. Традиционно конференции «Мова и культура» проходят в третьей декаде июня, а потом на протяжении чуть ли не целого года выходят один за другим сборники с публикациями докладов. Это просто счастье, что Дмитрий Бураго не только организатор этих конференций, но и основатель издательского дома, завоевавшего себе заслуженный авторитет.

На конференциях «Мова и культура» я присутствовал редко, а по-настоящему активным участником был лишь однажды — в 2004 году, когда отмечалось 200-летие со дня рождения Максимовича, которым я в то время занимался. Я привез в Киев внушительную делегацию моих учеников, а сам руководил секцией. Приглашение, мною тогда полученное, где рядом с общей подписью «Оргкомитет конференции» — автограф Дмитрия Сергеевича, храню как своего рода реликвию. Зато мои аспирантки ездили на эти конференции регулярно, и я не сочту, сколько защит состоялось благодаря наработанным там публикациям.

Слово о Марке Теплинском

Несколько раз он застенчиво, но настойчиво говорил мне, что я ему самый близкий человек на земле. Близких людей трудно выстроить в очередь, но чувство, которое он вкладывал в это признание, мне было очень понятно, потому что и я чувствовал то же.

Мое заочное знакомство с Теплинским состоялось задолго до того, как я увидел его впервые, — когда я прочел его монографию об «Отечественных записках». Основательность и фундаментальность этого труда обеспечили ему долгую жизнь. Я и сегодня, спустя почти полвека после его создания, склонен ставить книгу Теплинского выше всего, что было написано в дальнейшем об этом знаменитом журнале. Она сделала бы честь любому столичному ученому, но написать ее в Южно-Сахалинске, за тридевять земель от научных центров, библиотек, архивов, — это был подлинный подвиг.

Почитал его и как некрасоведа: вместе с М. М. Гином и А. М. Гаркави они составляли тройку ведущих специалистов по Некрасову. Я не написал очерка «В кругу некрасоведов», хотя круг такой в моей жизни, конечно, существовал. Но и Скатов, и Краснов, и Теплинский были для меня как бы шире одного лишь некрасоведения, а собственно некрасоведами мне виделись Моисей Михайлович Гин и Александр Миронович Гаркави.

С Гаркави я познакомился на Некрасовской конференции 1971 года, на которой впервые увидел Лебедева и Скатова, а с Гином — на пути туда, в вагоне поезда Москва — Кострома. Было это так. Вдруг в купе, в котором ехали Гришунин, Усок и я, вошел незнакомый человек и назвал меня по имени и отчеству. Помедлив и оценив мой ошалелый взгляд, он разрешил недоумение, произнес одно слово: «Гин!». Острая на язык Ираида Ефимовна позднее не раз надо мной посмеивалась, вышучивая мою мнимую «известность» и «знаменитость». С Гаркави мы, насколько я помню, после 1971 года не виделись, но переписывались и обменивались книгами



М. В. Теплинский

и оттисками статей. Он приглашал меня к сотрудничеству в калининградских изданиях, а когда этого высоко одаренного и обаятельно скромного человека не стало — умер он совсем молодым, в 58 лет, — его вдова прислала мне выпуск «Ученых записок», изданный в его память.

Оба они ценили мои работы. Гаркави писал о «Северных цветах на 1832 год»: «Перелистываю и оторваться не могу», «Статья Ваша отличная. Прочитал с живым интересом». А Гин так откликнулся на посланные ему «Литературно-критические работы декабристов»: «Спасибо Вам, дорогой Леонид Генрихович, за внимание и очень хорошую книгу. Сделали Вы ее прекрасно, потребность же в такой книге я почувствовал лет 30 тому назад, когда работал над критикой Некрасова. Впрочем, сейчас тоже работаю над нею: готовлю том критики для акад. ПСС Некрасова». В том же письме он интересовался, закончилась ли моя «ВАКХаналия, или, как иные говорят, “хождение по ВАКа́м”».

Не диво ли, что я столько лет поддерживал такие регулярные контакты с некрасоведами, жившими в Петрозаводске и Калининграде, а Теплинский, находившийся здесь, неподалеку, на Украине, оставался для меня именем, обозначенным на книжных переплетах?



С М. В. Теплинским

Познакомились мы в середине 80-х и уж тут-то наверстали упущенное: сразу после знакомства наши отношения приобрели ту меру близости, которую сохраняли до его смертного часа. Он обнимал меня при встречах, первым предложил отбросить отчества и перейти на «ты». Сначала мы виделись большей частью на защитах в Институте литературы имени Т. Г. Шевченко. В те добрые времена Совет возглавляла незабвенная Нина Евгеньевна Крутикова, для которой оба мы были самыми желанными оппонентами. Не единожды Теплинский оппонировал моим аспирантам, и смею верить, память об этом они хранят свято.

Не могу не вспомнить и о таком факте. В 1990 году Марк издал вузовский учебник «История русской литературы». И надо ж такому случиться: только министерство официально допустило книгу в качестве учебного пособия, как Украина стала независимым государством. Немедленно обнаружилось стремление максимально дистанцироваться от России, а тут, как на грех, появляется книга по истории русской литературы... Мера растерянности, которую испытало министерство, выразилась в неслыханном решении — отправить книгу на отзыв. Не рукопись, готовящуюся к печати, что было бы естественно, а уже вышедшую книгу! И на отзыв она попала ко мне. Конечно, я такой отзыв подготовил и должным образом утвердил на заседании кафедры. Хорошо понимая природу министерских эмоций, я соответственно расставил все акценты, подчеркнул, что книга, выпущенная издательством «Вища школа», не может быть заменена аналогичными изданиями, вышедшими в Москве, что в ней уделено особое внимание связям русских писателей с Украиной и украинской культурой, и, чуя, куда ветер дует, разыгрывал уверенность, что учебнику М. В. Теплинского суждена долгая жизнь, что он выдержит много изданий и многим поколениям выпускников педагогических вузов поможет прийти в классы украинских школ хорошо подготовленными к преподаванию русской литературы XIX века. Но, как хорошо известно, опасения, которыми была продиктована эта деланая уверенность, оправдались в полной мере, больше учебные пособия по русской литературе в Украине не издавались. И Марк Вениаминович, и его рецензент вынуждены были выпускать книги с невнятным названием «Литература».

С 1990 года, когда Владимир Павлович Казарин стал созывать в Крыму форумы русистов Украины, мы были неизменными их участниками, а Марк Вениаминович — самым любимым

докладчиком. Жили мы если не в одном номере, то в соседних. Он обыкновенно просил меня будить его по утрам, и как разбужу — так и не расставались до «спокойной ночи». И обедали за одним столом, и на заседаниях старались сидеть рядом. Когда здоровье стало ограничивать его подвижность, он сохранял живой интерес к происходившему на форумах. Последний состоялся за месяц до его смерти, и хотя он уже чувствовал себя — цитирую его письмо — «не плохо, а очень плохо», он востребовал у меня детальный отчет: кто приехал, кого не было, кто с чем выступал.

Большинство писем, которые мне довелось от Марка получить, к сожалению, не сохранилось, но два я хотел бы здесь привести. В 2005 году исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося текстолога и замечательного литературоведа Соломона Абрамовича Рейсера, с которым меня связывали сердечные отношения, мы любили друг друга, и я решил к этой дате выпустить книгу о нем (подробнее об этом в очерке «Поэт фактов»). Естественно, одним из первых, кому я отправил экземпляр, был Марк. И вот письмо, которое он прислал мне в ответ:

Дорогой Леня!

Только что получил твою книгу о Рейсере и сразу же хочу сказать, что ты сделал очень важное, нужное и благородное дело. Впрочем, раздел из книги я уже читал в сборнике, посвященном Абрамовичу.

Сказано: «Узок круг этих литературоведов, страшно далеки они от народа». Так оно и есть, но мы-то, литературоведы, должны быть внимательны друг к другу («взаимно вежливы!»), понимать и ценить то, что делаем по мере сил и возможностей. Прочитал я и твое послесловие, написанное очень тактично, справедливо и взвешенно. Книга твоя — это поступок, за который многое тебе должно проститься — ежели нужно тебя за что-то прощать.

Боюсь, что оппонента я тебе не найду. Среди моих учеников (в судьбе которых и ты принимал немалое участие) нет ни одного, который мог бы в официальной бумаге перечислить несколько работ, хоть как-то связанных с темой твоего аспиранта.

О себе писать нечего. Цитата по памяти. Хлестаков: «Бывало, часто говорю ему: “Ну, как, брат Пушкин?” — “Да так как-то все...” — отвечает. Большой оригинал!» Вот и я оказываюсь большим оригиналом, т. к. кроме невнятного восклицания «Да так как-то все»

ничего написать и не в состоянии. Настроение, честно говоря, плохое, что объясняется авитаминозом, концом учебного года, синдромом хронической усталости (есть такой официальный диагноз!), а также сознанием того, что с сегодняшнего числа день начинает уменьшаться. Резонные причины?

Какой же ты молодец! Завидую работоспособности и душевной устойчивости ко всяким передрягам.

Крепко обнимаю и целую. Неизменно твой Марк
22 июня 2005 г.

Вскоре он получил от меня еще одну книгу — сборник моих избранных статей, который назывался «Предварительные итоги», и откликнулся на нее так:

Дорогой Леня!

Книгу я получил в целости и сохранности и прочел ее с должным вниманием. Книга получилась очень хорошая, толковая, нужная. Так уж случилось, что добрую половину твоих статей я ранее никогда не читал. С одной стороны, это не делает мне чести, а с другой — дает мне возможность судить об эволюции в твоём творчестве. Впрочем, как я понимаю, никакой эволюции у тебя не было. Ты сразу начал как зрелый и уверенный в себе литературовед, каковым и остаешься. Поражает необыкновенно широкий диапазон. Это ведь не каждому дано столь убедительно написать и о «Манифесте Коммунистической партии», и о Пушкине, Лермонтове, Рылееве, Баратынском, Некрасове, и о «Парнасе дыбом», и о Чичибабине, Галиче, Окуджаве... И все это очень вдумчиво, в лучших традициях классического литературоведения, без суетных попыток, «задрать штаны, бежать за комсомолом», ежели под комсомолом понимать младоструктуралистов и им подобных.

С этой точки зрения название одной из твоих статей «За научную объективность» мне представляется точным определением самого характера всей твоей Работы. Ибо пафосом научной объективности пронизаны по существу все твои статьи и книги. Это большой урок для нашей науки вообще и для молодых литературоведов в частности. А если к этому добавить и твой несомненный талант публициста, то картина получается очень впечатляющей.

Поздравляю тебя, дорогой Леня, с выходом прекрасной книги! Что касается меня, то в последнее время я, к сожалению, чувствую

себя неважно. Гипертония. Помутнение хрусталика (в сентябре собираюсь в Одессу в институт Филатова делать операцию). Все это очень противно, и писать об этом не хочется. Впрочем, писать вообще ни о чем не хочется. Вот уже несколько месяцев я и не пишу.

Еще раз — ты умница и молодец! Будь здоров. Береги себя.

Крепко целую,

Марк

3 июня 2005 г.

Упоминание о «несомненном таланте публициста» появилось в этом письме потому, что Марк очень сочувственно следил за этой частью моей деятельности. Время от времени мои статьи появляются в газете «2000», а там дело поставлено так, что в Интернете материалы появляются раньше, чем на печатных страницах. Марк вылавливал их оттуда и немедленно сообщал мне свои впечатления. Обыкновенно отклики были такие: «полностью согласен», «готов подписаться под каждым словом», «с нетерпением жду публикации»... Так он отозвался и о последнем материале, который прочел перед самой смертью.

Он постоянно помогал людям и сделал на своем веку несчетно много добра, но добряком его не назовешь. Когда ему доводилось видеть проявления невежества, научной недобросовестности, он обрушивался на авторов подобных работ с такой язвительной и убийственной критикой, что от них летели пух и перья. Естественно, не все питали к нему симпатию, иные и зубами поскрипывали.

Он обладал необыкновенным, очень своеобразным чувством юмора. Иронизируя, он сохранял такое серьезное выражение лица, что насмешку не сразу и уловишь. Этим он всегда напоминал мне Юрия Михайловича Лотмана. Тот тоже имел обыкновение прятать иронию в свои пышные усы, оставаясь вроде невозмутимым. Но смешное и в окружающем, и в окружающих они оба улавливали очень тонко.

Марк становился нетерпимым, сталкиваясь с натужным наукообразием, когда скудость мысли пряталась в зарослях новомодных словечек, всяких «концептов», «дискурсов», «хронотопов» — того, что Бенедикт Сарнов язвительно и метко назвал птичьим языком. Теплинский даже посвятил этому доклад, сделанный на Форуме русистов. Внешне он звучал благопристойно и дружелюбно, но был пронизан сарказмом от заглавия до последнего слова. Сам Теплин-

ский, разумеется, подобными излишествами не грешил и писал просто, как писали наши с ним общие предшественники и учителя: Томашевский, Гуковский, Эйхенбаум, Рейсер, Макогоненко.

Я знаю, может быть, лучше многих, сколько тягот да и хворей выпало на его долю. И все же я думаю: он прожил большую и счастливую жизнь. Дай Бог каждому — оставить о себе такую память, какую оставил он.

О Мише Гиршмане — ученом, человеке, друге



М. М. Гиршман

Я не знаю, кому представители Донецкой филологической школы отводят в ней главенствующую роль. Мой взгляд — со стороны. Но в моем восприятии ее, может быть, негласным, необъявленным, но подлинным лидером, самой значимой фигурой был Михаил Моисеевич Гиршман. Не знаю, кто мог бы сравниться с ним по авторитету, по известности за пределами страны. Филологов такого масштаба, по моему глубокому убеждению, на Украине было и есть меньше, чем пальцев на одной руке.

Не знаю, кто мог бы сравниться с ним как педагог, как пестун научных кадров, воспитавший таких ученых, которые несли полученное, впитанное от него вдаль и вширь, и скоро сами становились центром собственного научного созвездия. Огромная значимость и ценность его деятельности сочетались в нем с отсутствием и намека на какую-либо аффектацию, с какой-то обаятельной скромностью, похожей на застенчивость, что ли. Мы сблизились с ним в начале 70-х, сблизились сразу накрепко и, кажется, ни разу в жизни не назвали друг друга по отчеству. Понятно, что и сейчас я это делаю через силу.

Мне запомнилась научная конференция, организованная им в октябре 1977 года, посвященная проблемам целостности художественного произведения, запомнилась и тем, что она была одной из самых представительных в моей жизни. Гляжу на нее с высоты прошедших с тех пор почти четырех десятков лет, и она видится мне неким Съездом советских литературоведов. Какое там было созвездие имен! М. Гаспаров, Б. Корман, Э. Паперный, Л. Гинзбург, М. Поляков, Г. Белая, В. Сапогов, Л. Цилевич, Г. Краснов, Р. Громяк, В. Котельников, В. Курилов, В. Хализев, Д. Медриш, В. Тюпа, Р. Назарьян, И. Альми, М. Гольберг, К. Пахарева, С. Бройтман, В. Баевский, А. Кошелев, М. Соколянский, Л. Бельская, Л. Левитан, Ю. Чумаков, И. Волисон, Р. Поддубная, А. Слюсарь, С. Бройтман... Я называю только тех, с кем был лично близок, кто тогда или позднее входил в мой дружеский круг. Иначе этот перечень полу-

чился бы намного больше. И всех их собрал невысокий худенький юноша, все они приехали к нему, откликнулись на его зов.

В памяти остался не только высокий научный уровень докладов, но и необыкновенная атмосфера товарищества и сотрудничества, сблизившая многих до тех пор незнакомых людей. Эта атмосфера породила рой эпиграмм, к которому был причастен и аз грешный. Большинство их забылось, но две приведу.

В докладе Гаспарова «К анализу композиции лирического стихотворения» использовался никому, кроме докладчика, не ведомый термин «интериоризация». А вот вызванная им эпиграмма:

Это осень. Это стаи. Это птицы. Не из стай.
Это сцена перед нами. Кто на сцене? Отгадай.

Дон Кихота вариация. Раздает идеи даром.
Склонен к интериоризации. Угадали? Он

Тема доклада Сапогова — «“Незаконченные” произведения. К проблеме целостности художественного текста». И его юмористическое эхо:

Вы слышите: грохочет Сапогов.
И целостен незавершенный взгляд.
И женщины глядят из-за столов.
Вы поняли, куда они глядят!

Мне посчастливилось побывать и на конференции, проходившей в 2006 году и посвященной 40-летию Донецкой филологической школы. Конечно, она была поскромнее в силу неизбежных причин. Распалась прежняя страна, для многих возможных участников поездки в Донецк затруднились да и подорожали. Но дух ее остался прежним, гиришмановским. Если я правильно помню, Михаил Моисеевич уже не заведовал кафедрой. Зато каков оказался строй возвращенных им учеников! Я оглядывал их и думал: а ведь на Украине нет филологической школы, сопоставимой с Донецкой, и неоспоримым главой ее остается он. И по-прежнему тянутся к нему те, кто хочет делать настоящую науку.

На этой конференции я эпиграмм не оглашал, но мой доклад был обращен к слушателям, не лишенным чувства юмора. Он назывался «Об одной державинской традиции в русской поэзии XX века»

и был посвящен отзвукам, вызванным стихотворением «Евгению. Жизнь Званская», где описан стол, а на нем «разных блюд

Цветник, поставленный узором.
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
Там щука пестрая: прекрасны!»⁸⁶

Стихи Самойлова, Кушнера, Винокурова, Рейна, Галича, Окуджавы, Заболоцкого, Чичибабина и других поэтов были классифицированы по разрядам: еда как закуска или еда как сопровождение выпивки, выпивка как таковая, еда на столе, еда на продуктовом прилавке, еда как символ жизни, приготовление еды, а в некоторых случаях внутри разрядов обозначались подразряды. В перерыве между заседаниями Миша сказал: «Те, кто успел позавтракать, конечно, получили удовольствие от твоего доклада, но пришедших на пустой желудок ты не пощадил!»

Изредка он наезжал в Харьков, оппонировал на защитах в нашем Совете. В одну из таких встреч он оказал мне услугу из тех, которые не забывают. Я пригласил его прооппонировать моей соискательнице, и, прочтя ее диссертацию, Миша выловил в ней плагиат. Был он, в сущности, копеечным, не сравнимым с теми скандальными историями, которые позднее разыгрывались на наших глазах одна за другой, и после которых истинные хищники выходили сухими из воды. Но меня-то: человека, к которому и в бывшем ВАКе, и в нынешнем аттестационном отделе министерства питали патологическую ненависть, проистекавшую из зависти, — меня бы сожрали и костей не выплюнули. Миша, только и именно он, спас меня от этой участи. Конечно, мы с моей подопечной в два счета подчистили все сомнительные места, но я перестраховался и перенес ее защиту в другой Совет, где она благополучно получила искомую степень.

Переписывались мы редко, предпочитая телефонную трубку, но, когда почта доставила Мише сборник моих статей, который назывался «Предварительные итоги», он отозвался тоже по почте:

⁸⁶ *Державин Г.Р.* Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1947. С. 240.

Дорогой Леня!

«Предварительные итоги» — очень, очень впечатляющие. Поздравляю тебя с выходом прекрасного сборника и большое спасибо, что ты мне его прислал, спасибо за память и дружбу. Будь здоров и благополучен, и вообще — Будь!

С любовью.

Твой М.

И еще одно воспоминание, относящееся к недавнему времени. В декабре 2012 года моя аспирантка защищала диссертацию о Каролине Павловой. Я знал, что у Миши нелады со здоровьем, просить его об отзыве на автореферат не решился, а обратился к его дочери Элине Михайловне. И вдруг она мне отвечает: «Папа заинтересовался этой работой и вызвался написать отзыв сам».

Как вы понимаете, аз грешный, подготовивший множество докторов и кандидатов наук, начитался в своей жизни отзывов на авторефераты, но такого, как этот, не припомню. Конечно, формально он был положительный, и все необходимые слова о том, что соискательница заслуживает степени, были в нем написаны. Но вообще он был не о диссертации, а о Каролине Павловой — размышления об ее поэзии. При всей несомненной доброжелательности (иначе и быть не могло!) отзыв был убийственный. Я читал его и думал: какое счастье, что это отзыв на автореферат, а не выступление официального оппонента, на которое нужно отвечать... Потому что он не оставлял никаких возможностей для ответа — настолько все было неоспоримо и аргументировано.

И для характеристики Миши этот отзыв в моих глазах стоит в ряду с лучшим и наиболее значительным из всего, что я читал из им написанного. Да, он, конечно, не работал над ним так, как над своими книгами и фундаментальными статьями. Но в этом отзыве выявился весь он, с зоркостью его научного взгляда, абсолютной выверенностью каждого довода и каждого слова.

Я знал, что в последние годы Миша тяжело болел. Хорошо представляю себе, как он переживал все происходящее и в стране, и на Донбассе. Были основания опасаться за него. И все же его кончина оказалась внезапной, так остра была потеря. Узнав о смерти Байрона, Пушкин написал: «Мир опустел...» Я не Пушкин, а Миша не Байрон. Но мир опустел.

Служили два товарища

Служили они в Харьковском университете, были преподавателями одной и той же кафедры истории русской литературы. Поскольку оба они, как и я, были коренными харьковчанами, принадлежавшими как бы к одному миру, знакомы были, можно сказать, всю жизнь, я помню обоих с школьных лет.

Один из них, Марк Владимирович Черняков, был знаком с моим отцом с довоенных времен, их дружба перешла ко мне как бы по наследству. Литературовед и поэт, доцент названной кафедры, на которой считался лучшим лектором, Черняков был человеком с нелегкой судьбой. В самом начале войны был тяжело ранен и до конца дней прожил практически без правой руки. Попал в мясорубку борьбы с «безродными космополитами», был выгнан из Союза писателей, снят с работы, схлопотал по партийной линии особый «идеологический» выговор. Спас его тогдашний ректор ХГУ неслышимый Иван Буланкин, который наплевал на всех и взял его к себе. Сначала он, скомпрометированный предшествующими гонениями, преподавал на факультете журналистики, работа на котором почему-то считалась менее ответственной, потом был переведен на филфак, с которым связал свою жизнь на тридцать с лишним лет.

Я сблизился с Марком (буду так его называть, потому что все другое в моих устах звучало бы фальшиво) в начале 50-х и сегодня могу похвалиться самым длительным стажем нашего знакомства и дружбы. Он был, на мой взгляд, посредственным поэтом, рядовым литературоведом, но обладал качеством, в котором ему не было равных. Он был уникальным учителем и воспитателем студенческой молодежи. Дипломники проводили в его кабинете несчетное количество часов, и многие потом говорили, что за все годы учебы не получили и не узнали столько, сколько за время написания дипломной работы. Он руководил дипломниками так, как этого не делал никто другой. На это время они становились как бы его детьми. Он разговаривал с ними не только о науке, но и о жизни, учил жить, разбираться в людях, участвовал в решении личных и бытовых проблем, прививал навыки жизненного опыта. С ним делились интимными переживаниями, и он утихомиривал ревность влюбленных, улаживал семейные «негоразды». Если у дипломницы заболел ребенок, он занимался его лечением, привлекая к этому свою

невестку, которая была первоклассным врачом. Даже в день отъезда в отпуск он продолжал «накачивать» своих подопечных, пока не надо было ехать на вокзал. Близкие пошучивали: последняя консультация — в купе! Время неумолимо, и его бывших дипломников остается все меньше, но у тех, кто живы, загораются глаза, когда они вспоминают об этом замечательном человеке.

Я дипломником Марка не был, но меня он и учил дольше, и научил большему, чем других, хотя бы по причине доверительности и близости наших отношений. Он был «режиссером» моей кандидатской защиты. Научного руководителя у меня не было, так что все свалилось на его плечи. В силу разных обстоятельств я столкнулся с бóльшим количеством проблем, чем это бывает обычно, и больше препятствий должен был преодолеть.

Одним из них было ожидаемое сопротивление со стороны тогдашнего заведующего кафедрой М. П. Легавки. По совету Марка я обратился за помощью к Лихачеву и привез от него письмо, в котором он просил Легавку оказать мне содействие. Результат превзошел все ожидания. Главную роль здесь сыграл, конечно, Лихачев, но идею-то подал Марк! И сколько было таких идей, сколько раз он загодя указывал, где таится угроза и как ее избежать...

Зато когда через несколько лет я готовился к докторской защите, то держал его в курсе дел, но уже не советовался и никаких рекомендаций не получал. Его зоркость, предусмотрительность, способность мгновенно реагировать на изменение ситуации — все это уже было во мне, и я сам принимал решения, которые, как думаю, подсказал бы он. И сколько раз позднее я передавал эти качества моим ученикам, а они и не знали, и до сих пор не знают, чьим наследством я с ними делюсь!

Я хорошо представляю себе круг людей, с которыми общался Марк, и уверенно могу сказать: его любили. От него исходила такая мера обаяния, которой трудно было противостоять. Даже отпетые подонки и зоологические антисемиты тянулись к дружеским отношениям с ним. Но, хотя внешне он был доброжелателен со всеми,



М. В. Черняков

он никогда не забывал, кто есть кто. Никогда не простил тем, кто в черные времена конца 40-х предавал, выслуживался, участвовал в погромах. Вспоминая об этом — а помнил он все в деталях! — он как-то глубже ввинчивался в свое кресло, в глазах загорался недобрый огонек и губы сжимались в саркастической улыбке.

Очень важным качеством, влиявшим на близость наших отношений, была его способность меняться. В первое время нашего общения нас очень разводила его советскость, приверженность официальным догматам, я же с молодых ногтей был оппозиционером и вольнодумцем, и он, бывало, реагировал на эти мои качества раздраженно и агрессивно.

Такой факт. В 1955 году была проведена первая массовая отправка студентов в колхозы. Позднее подобные мероприятия стали регулярными, нормализовались, можно сказать, вошли в быт. Но тогда это было сделано с бездумным азартом и нахрапом, присутствующими всему, что делал Хрущев. Институт на месяц закрывается, ректорат переезжает в районный центр, студенты всех курсов и факультетов рассылаются по колхозам этого района... Естественно, одни возмущались, другие искали возможности уклониться, третьи говорили, что это не метод решения проблем сельского хозяйства. Марк слышать ничего не хотел, он бушевал! С конца войны прошло всего десять лет. Перед его мысленным взором, видно, все еще маячил плакат «Родина-мать зовет!». И каждый, кто не хотел убирать бураки, был в его глазах изменником и дезертиром.

Как-то еще в студенческие годы угораздило меня написать в одном из попавших к нему опусов, что Ленин недоброжелательно относился к Маяковскому. Я, конечно, исходил только из известной ленинской фразы: «Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта...»⁸⁷ Но Марк был неумолим. Для него Ленин был бог и Маяковский был бог, и не мог один бог недоброжелательно относиться к другому. Рассудило нас время. Вскоре вышел том «Литературного наследства» «Новое о Маяковском», где было столько материала об отношении к нему Ленина, что Марк, поскрипев зубами, больше к этой теме не возвращался.

Надо признать, что в последние годы жизни от его былой приверженности советским и коммунистическим догмам и следа не осталось. Это проявлялось, в частности, в его отношении к стихам Галича, которые он узнавал большей частью от меня. Надо

⁸⁷ В. И. Ленин о литературе и искусстве. М.: Гослитиздат, 1957. С. 406.

было видеть, с каким энтузиазмом воспринимал зрелый Марк самые злые, огненно-антисоветские выпады великого сатирика.

Из того, что характеризует его собственный вклад в науку, я бы поставил на первое место подготовленный им в соавторстве со вторым героем этого очерка Моисеем Горациевичем Зельдовичем семинарий по Добролюбову. В обширном семействе книг этого жанра он самый объемный и сделан с хорошей научной дотошностью. Рукопись прошла рецензирование самого крупного советского специалиста по Добролюбову — С. А. Рейсера. Марк показывал мне его рецензию и обсуждал пути реализации сделанных замечаний.

В последние годы жизни он работал над новой книгой, которую собирался назвать «Долголетие стиха». Но ее издательские перспективы были смутны, а сбои в здоровье давали о себе знать все чаще. Он грустно поглядывал на толстую стопку печатных страниц, лежавших на письменном столе, и говорил: «Лесик, а что будем делать с вот этим?» Я тогда уже был доктором и выпустил в Москве несколько книг, но решение этой проблемы мне было в ту пору не по силам. Лишь с наступлением горбачевских времен ситуация облегчилась, и какие-то части его посмертной рукописи напечатал журнал «Русская литература».

Убежден, что как литературовед Марк сделал меньше, чем мог, и не только из-за болезней и относительно ранней кончины, но прежде всего потому, что он страстно и неустанно вкладывал себя без остатка в воспитание своих питомцев. И в их памяти он остался не как автор книг и статей, а как личность. Есть приписываемое Чехову полуполюгендарное высказывание о Горьком: «Его творения будут забыты скоро, сам он не будет забыт никогда». Со всеми необходимыми поправками, в которые я не буду углубляться, рассчитывая на ум моего читателя, что-то подобное я хотел бы сказать о Марке Чернякове.

Второй герой этого очерка Моисей Горациевич Зельдович, умерший в почти девяностолетнем возрасте, намного пережил Марка, и его вклад в литературную науку несравненно более весом. Он был из породы людей, которых называют трудоголиками, он не просто много



М. Г. Зельдович

работал, но любил свое дело и вкладывал в него полную меру сил. Пятьдесят лет жизни, с 1948 по 1998 год, он отдал преподавательской деятельности в Харьковском университете, с 1969 года он доктор филологических наук, с 1972-го — профессор.

В 60-е годы, когда я защищал кандидатскую диссертацию, а Зельдович — докторскую, объем таких работ не был ограничен. Моя кандидатская составляла около 450 страниц — толще, чем докторская, которую позднее пришлось укладывать в установленные нормы. Но Зельдович представил к защите диссертацию **в четырех томах**, выйдя за все мыслимые рамки. Разумеется, беспрецедентный объем его работы стал предметом насмешек, иронически отозвался о нем в одной из своих статей и Б. Ф. Егоров. Но я думаю, что, хотя Зельдовичу и отказало чувство меры, здесь выявилось сокровенное качество его природы — установка на полную самоотдачу.

Переехав в 80-летнем возрасте к сыну в Польшу, он оказался не в состоянии вести жизнь нормального пенсионера. Он работал и там, причем работал полноценно, не только писал статьи, но и читал лекции. Всю жизнь он следил за научными новинками, за литературоведческой периодикой. Он много знал, а то, что знал, знал точно и держал в голове, на его сведения можно было положиться.

Зельдович издал несколько монографий, но еще бóльшую ценность представляли собой, на мой взгляд, его учебные пособия. Об одном из них — «Н. А. Добролюбов. Семинарий» — я уже говорил: оно было написано совместно с Черняковым. Еще выше я ценю его хрестоматию критических материалов «Русская литература XIX века», соавтором которой был коллега Зельдовича по кафедре Лев Яковлевич Лившиц. Выпущенная первоначально в Харькове, она затем трижды переиздавалась в Москве издательством «Высшая школа» и послужила всем студентам-филологам бывшего Союза. У меня есть и харьковское, и московское издания, много полезного я из них почерпнул. У меня не было с Зельдовичем личных, а тем более дружеских отношений, но я испытывал к нему уважение, по своей инициативе написал статью о нем в «Украинскую литературную энциклопедию».

Вместе с тем были у Зельдовича два качества, две черты, характеризующие его творческую личность, которые вызывали у меня удивление. Это был литературовед, которого не интересовала литература и который не занимался ее изучением. Википедия так определяет круг его научных интересов и тематику работ: эстетическое

наследие классиков марксизма-ленинизма, русские революционные демократы, теория, история и методология литературной критики. Это чистая правда. Он опубликовал около десятка книг, сотни статей, рецензий, заметок, но вы не найдете среди них ни одной даже маленькой статьи, которая была бы посвящена анализу рассказа, повести, пьесы, стихотворения. Художественное произведение существовало для него только как объект критики. Перед смертью он подготовил двухтомное итоговое издание своих избранных работ, осуществленное его сыном. Название «Творческое поведение» снабжено честным подзаголовком: «О феномене литературной критики, логике ее развития в русской культуре середины XIX века и общих принципах подобных штудий».

Скажу и о большем. По моим впечатлениям, у него критика с годами все более очевидно отрывалась от литературы, становилась некоей вещью в себе, и ее изучение обрело нарастающий привкус схоластики. Особенно показательна в этом отношении последняя изданная им перед отъездом в Польшу книга «В поисках закономерностей. О литературной критике и путях ее изучения», написанная каким-то натужным, вымученным языком, где даже немудреные, элементарные положения упрятаны в лесу псевдонаукообразных словес.

Простая и понятная мысль, что постановка проблемы ведется от общего к частному, выражена так: «...от общеметодологических вопросов к теоретико-методологическому разделу о параметрах и модели критического произведения, а затем — к теоретическому анализу одного из параметров — программности критики по отношению к художественной литературе и к самой критике (без такого анализа вообще невозможно конкретно уяснить ее функционирование)»⁸⁸.

Вот еще один перл: «Параметры критической статьи можно определить в первом приближении как устойчивые, хотя и вариативные по своей значимости, удельному весу, структурной организации и роли, существенные особенности компонентов и их внутренней соотнесенности в системе относительно замкнутого критического произведения»⁸⁹.

Знаете ли вы, что такое МКС? Может, думаете, что Международная космическая станция? А вот и нет. Это модель критической

⁸⁸ Зельдович М.Г. В поисках закономерностей. О литературной критике и путях ее изучения. Харьков: Изд. при ХГУ, 1989. С. 3.

⁸⁹ Там же. С. 46.

статьи, которая, по утверждению М. Зельдовича, «проясняя структуру и механизмы связей в рамках статьи и более или менее обширных совокупностей их <...> уже в этом обнаруживает свою продуктивность, скрытые в ней возможности дальнейшего исследования проблем теории и истории критики <...> вместе с тем МКС позволяет выявлять не только сходства и не одни сходства, но и различия по существенным признакам и отдельной статьи, и наследия критика в целом, и направлений в критике: сходство и различия уясняются как слагаемые единого целого, которое как раз в их единстве обнаруживает свою специфику»⁹⁰.

Воздержусь от каких-либо оценок приведенных цитат (таким языком написана вся книга) и предоставляю моему читателю составить о них собственное мнение. Замечу только, что, несмотря на озлобленное отношение ко мне, которое он не скрывал и высказывал многим, оценивая мои работы по критике, он проявлял способность возвыситься над своими предубеждениями. Ознакомившись с моим сборником «Литературно-критические работы декабристов», сказал Марку, что книга сделана «на настоящем, докторском уровне».

Причины враждебности Зельдовича мне неизвестны. Но я а priori исхожу из того, что какие-то основания для испытываемой им антипатии у него были, ибо для меня не подлежит сомнению истинность известного высказывания Ларошфуко, что наши враги в суждениях о нас ближе к истине, чем мы сами.

В разговорах со мной он на сей счет никогда не высказывался, а те предположения, которые мне доводилось слышать, не вызывают доверия. Многие считают, что он мне завидовал. Но чему, позвольте спросить? Кому из нас выдался более тернистый путь? Кто столкнулся с большей дискриминацией из-за своего еврейства?

Он сразу после демобилизации, еще не имея кандидатской степени, стал преподавателем литературы в университете. А я тринадцать лет прогорбатил школьным учителем, около года вообще был безработным, а когда, уже кандидатом наук, пробился в вуз, то попал на кафедру иностранных языков и, лишь написав докторскую диссертацию, был переведен на кафедру литературы, и начал работать по специальности.

Да, у меня всегда было много учеников, а у него — нет. Но ведь таков был его сознательный жизненный выбор. Он не только без

⁹⁰ Зельдович М. Г. В поисках закономерностей. О литературной критике и путях ее изучения. Харьков: Изд. при ХГУ, 1989. С. 63, 64.

стеснения, но с гордостью говорил Марку и не ему одному, что все время, все силы намерен потратить только на собственную научную работу, и неукоснительно следовал этому принципу. За сорок лет работы на кафедре, из которых примерно тридцать — доктором наук, под его руководством была защищена ОДНА кандидатская диссертация!

Я же стал научным руководителем, еще будучи ассистентом кафедры иностранных языков, и ко времени открытия в нашем институте Совета по защитах подготовил более десятка кандидатов, защищавших, где придется: не только в Киеве, но и в Москве, Ленинграде, Саратове, Свердловске. А когда наш Совет открылся, на первом же заседании рассматривались две «мои» диссертации. Как я позднее узнал, Зельдович, входивший в состав Совета, намеревался сорвать одну из этих защит, но не решился, потому что оппонентом на ней выступал Б. Ф. Егоров, которого он побаивался.

Зато через год он учинил скандал, запомнившийся всем присутствовавшим. Защищала моя ученица Елена Анатольевна Андрущенко, тогда ее фамилия была Плоскоконенко. Сегодня у нее громкое имя и авторитетная репутация. Она уже двадцать лет как доктор наук, издала в России десяток книг, в числе которых два литературных памятника, но и ее кандидатская диссертация, написанная в 24 года, отнюдь не была детским лепетом. Посвященная изучению комедии «Недоросль» в функциональном аспекте, она с опорой на большой архивный материал воскресила сценическую историю пьесы, ее постановки в столичных, провинциальных, вольных и крепостных театрах; Андрущенко показала многообразие сценических трактовок, проанализировала «эхо» фонвизинской комедии, подражания ей как печатные, так и рукописные, ввела в научный оборот более десятка рабочих экземпляров фонвизинской комедии, обнаруженных ею в фондах Ленинградской государственной театральной библиотеки имени А. В. Луначарского и позволяющих не только оценить сценическое мастерство Щепкина, Мартынова и других корифеев русского театра, но и установить места, на которых они располагались на сцене.

Эту диссертацию Зельдович вознамерился угробить. Вел он себя неприлично, не задавал вопросы со своего места, как это принято, а подбегал к диссертантке и ругал ее, стоя прямо над ее головой, вынудил председателя Совета Михаила Федосеевича Гетманца единственный раз на моей памяти обратиться к дебоширу

со словами: «Делаю вам замечание», — после чего обрутал и Гетманца. Яростно набросился на оппонента Вадима Соломоновича Баевского, самого сдержанного, воспитанного и интеллигентного человека на свете и к тому же нашего гостя — он приехал на защиту из Смоленска.

Никакого влияния на исход голосования эти истерические выходы не оказали, но когда он после заседания обратился ко мне как ни в чем не бывало, то получил ответ: «Я не хочу с вами разговаривать». Присутствовавший при этом Игорь Яковлевич Лосиевский, выступавший на защите вторым оппонентом, позднее мне сказал: «Ты правильно ему ответил. О чем после этого можно разговаривать?» Этот эпизод дал Зельдовичу повод говорить о якобы произошедшей между нами ссоре. Не думаю, что это наиболее правильное определение.

Все это помня и беря в расчет, признаюсь с полной мерой откровенности: в моей памяти об этом человеке положительное перевешивает отрицательное. Не могу не уважать его как самоотверженного труженика, отдавшего все силы любимому делу.

Многоликий профессор

Говорят, что однажды в руки английской королевы попала книга Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Королева пришла от нее в восторг и приказала принести ей все сочинения этого автора. Каково же было ее изумление, когда ей доставили кучу книг, посвященных проблемам высшей математики. Оказалось, что очаровавший ее автор был оксфордским профессором, а сама книга сложилась во время его прогулок с тремя маленькими девочками.

То же могло случиться и с нами после знакомства с сборником «Парнас дыбом», с которого ведет свое начало история советской литературной пародии. Более половины пародий, включенных в сборник, принадлежит Александру Моисеевичу Финкелю, профессору Харьковского университета. И пожелаем мы познакомиться с его наследием, нам бы принесли монографию «Производные причинные предлоги в современном русском литературном языке», вузовский учебник «Современный русский литературный язык», выдержавший 19 изданий школьный «Учебник русского языка», «Грамматику русского языка» для школ слепых и еще свыше полутора ста книг и статей по вопросам общего языкознания, лексикологии, фразеологии, стилистики и других лингвистических дисциплин.

Он родился в 1899 году и любил шутливо говорить: «Мы — люди XIX века...» В 1924-м окончил институт, затем учился в аспирантуре, а с 1928-го началась его сорокалетняя педагогическая деятельность, почти полностью связанная с Харьковским университетом. Здесь он работал доцентом, позднее заведовал кафедрой. В годы Отечественной войны служил в инженерном батальоне, а после демобилизации — снова работа в вузе, сначала в Педагогическом институте иностранных языков, а потом до конца жизни — в университете. К слову сказать, и сам Институт иностранных языков скоро влился в университет.

Его учебник современного русского языка с добрым юмором называли «Финкеля грамота», но то была превосходная книга, неоднократно переиздававшаяся и у нас, и за рубежом, не утратившая своей ценности по сей день. Я был тогда студентом филологического факультета. Порыскав по учебнику, усмотрел в нем какие-то шероховатости, разноречивой в формулировках, неудачные примеры и, напросившись в гости к мэтру, представил ему перечень своих



А. М. Финкель

замечаний. Тот все тщательно записал и отозвался примерно так: невнимательно, дескать, читали, можно было бы и побольше недостатков найти.

Его строго организованный научный ум не воспринимал таких выражений, как «дух произведения», «дух образа». Об авторе какой-то работы, которая пестрела ими, пренебрежительно сказал: «Неинтересно. Все о духах да о духах». Запомнился мне такой эпизод. В середине 60-х я задумал статью «Образ в языке “Манифеста Коммунистической партии”» и, поскольку в ней присутствовал лингвистический анализ, поделился этими планами с Александром Моисеевичем. Он отнесся к ним резко отрицательно и предрек, что ничего путного у меня не получится. Когда статья была напечатана в «Известиях Академии наук», меня не было в Харькове, но он, прочтя ее и не дожидаясь моего возвращения, позвонил моей маме и сказал, что он ошибался и что знакомство с работой побудило его изменить свое прежнее мнение. Если учесть, кем был тогда он, а кем я, и какая дистанция нас разделяла, нельзя не признать, что такой поступок дорого стоит.

Но вернемся к «Парнасу дыбом». То, что будущий ученый филолог на заре своего творческого пути отдался написанию этих шуточных стихотворений, — факт не только объяснимый, но и полный глубокого смысла. По постановке идея изучения примет индивидуального стиля писателей разных стран и эпох была вполне серьезной, но по форме изложения результатов такого изучения — весьма озорной. Моделировать, как разработали бы один и тот же сюжет Гай Юлий Цезарь и Анатолий Франс, Шекспир и Волошин, Симеон Полоцкий и Вергинский, Крылов и Надсон, Гомер и Некрасов, Данте и Демьян Бедный.

Позднее Финкель так характеризовал побуждения, руководившие создателями «Парнаса дыбом»: «...Мы не были и не хотели быть пародистами, мы были стилизаторами, да еще с установкой познавательной. То же, что все это смешно и забавно, — это, так сказать, побочный эффект (так нам, по крайней мере, казалось). Од-

нако эффект оказался важнее нашей серьезности и для издателей и читателей совершенно ее вытеснил»⁹¹.

Потешные разработки популярных сюжетов «У попа была собака», «Жил-был у бабушки серенький козлик» и «Пошел купаться Веверлей» завоевали невероятную популярность. Первые «Парнас дыбом» вышел в харьковском издательстве «Космос» в 1925 году, а на протяжении последующих двух лет переиздавался еще трижды. Известно, что Маяковский, будучи в Харькове, услышал о выходе сборника, где были пародии и на него, и, прочитав его, сказал: «Молодцы, харьковчане! Такую книжицу не стыдно и в Москву с собой прихватить!»

Современные пародисты обычно норовят предпослать своим произведениям своеобразные эпиграфы — несколько строк пародируемого автора. Чтобы читатель заранее знал, что подлежит пародийному утрированию, над чем ему предстоит посмеяться. Применительно к «Парнасу» такая попытка была бы обречена на полную неудачу. Его авторы не обыгрывали какое-то выражение, а улавливали и воплощали то, что определяло индивидуальность стиля. Они изучали то, что было предметом их внимания, широко и непредвзято, не выискивали слабые и уязвимые места, а проникали в сам авторский облик, в его реализацию в слове, в строении сюжета, в поэтической интонации. Результаты своих исследований «парнасцы» воплотили в произведениях, которые удачно и точно назвали научным весельем.

Дальнейшая судьба книги оказалась нелегкой. На шестьдесят с лишним лет она попала в немилость советских цензоров. То ли неблагонадежными выглядели иные из пародируемых авторов, такие как Гумилев, Волошин, Цветаева, Ремизов, то ли вызывали отторжение еврейские фамилии пародистов, то ли и то, и другое. Как бы то ни было, переиздать «Парнас» мне удалось лишь в 1989 году. Сборник был существенно дополнен произведениями, сохранившимися в архиве уже покойного к тому времени Финкеля. Если в первом издании было 37 пародий, то ныне их стало 69. Стоит ли говорить, что почти полумиллионный тираж мгновенно исчез с книжных прилавков...

Другим направлением научной и творческой деятельности Финкеля, прошедшим сквозь всю его жизнь, была теория и практика

⁹¹ Паперная Э.С., Розенберг А.Г., Финкель А.М. Парнас дыбом. М.: Худож. лит., 1989. С. 122.

художественного перевода. Первую статью на эту тему он опубликовал еще студентом, в 1922 году. За ней последовало еще два десятка работ, среди которых была книга «Теория и практика перевода». Выпущенная в 1929 году, она по сей день не утратила своей ценности. Множество оригинальных мыслей и ярких примеров, собранных в ней, представляют интерес и для современных переводчиков. Автор стремился, по его собственному признанию, не столько устанавливать нормы и правила, сколько осознать проблему и поставить ее в рамки возможного и желательного.

Кандидатскую диссертацию он защитил на тему «Квитка-Основьяненко — переводчик собственных произведений». Его интересовали как русские переводы украинских писателей, так и русская поэзия в украинских переводах. Были написаны статьи об Иване Франко как переводчике Некрасова, о русских переводах «Заповіта» Шевченко.

В последние годы жизни Финкель работал над новой книгой, в которой стремился разработать и обосновать объективные критерии, на основе которых следует определять качество художественного перевода. Этот вопрос, писал он в одной из последних, не опубликованных при жизни статей, «до сих пор нельзя считать решенным. Его решению мешает по крайней мере два обстоятельства. Первое — это использование таких невыразительных и субъективных понятий, как “дух произведения”, “торжество духа над буквой” и т. п., при этом обычно упускается из виду, что дух этот не бесплотен, а находит свое воплощение в проявлениях конкретных и охватываемых разумом: в лексике, в семантике, в синтаксисе и т. д. Поэтому сводить оценку переводов к эмоционально насыщенным словам, не конкретизируя их в фактах лингвистических и литературных, значит наперед закрыть себе путь к познанию и обречь себя на голый субъективизм. Другое не менее негативное обстоятельство — это подмена оценки перевода как пересоздания чужого произведения оценкой его как чего-то самостоятельного, якобы не зависящего от оригинала. Между тем это далеко не одно и то же. Оценивать перевод и сравнивать разные переводы без наложения на оригинал совершенно неправомерно»⁹².

Стремясь избежать этих ошибок и установить объективные критерии оценки перевода, ученый скрупулезно сопоставлял ра-

⁹² Цит. по: *Фризман Л.Г.* Вчений, поет, перекладач // *Іноземна філологія*. Вип. 25. С. 151–152.

боту многих переводчиков разных эпох. Он опубликовал статьи «66 сонет Шекспира в русских переводах», «Лермонтов и другие переводчики “Еврейской мелодии” Байрона», подготовил к печати работу о русских переводах «Ночной песни странника» Гёте.

Он не только анализировал переводы, он переводил сам, применял разработанные им теоретические принципы к творческой практике. Переводил Байрона, Бехера, Верлена, Превера. Но самым значительным его поэтическим свершением был полный перевод на русский язык всех 154 сонетов Шекспира — четвертый в многолетней истории русской шекспиристики. Однако публикация этих переводов столкнулась со значительными трудностями: никто не решался посягнуть на монополию Маршака.

К 1968 году, когда Александра Моисеевича не стало, ни одно стихотворение не вышло в свет. И тогда проблемой их публикации занялся я. В 1971-м подборку из десяти сонетов с моей вступительной заметкой удалось опубликовать в алма-атинском журнале «Простор». Спустя год с небольшим во Львове, в сборнике «Іноземна філологія» появилась моя статья «Ученый, поэт, переводчик», которая сопровождалась текстами еще четырех переводов. В ней был приведен отзыв М. Ф. Рыльского. Он писал: «А. М. Финкель — известный теоретик переводческого дела — создал новый перевод сонетов, основанный на глубоком изучении оригинала и построенный на тех переводческих принципах, которые он не раз высказывал в своих работах. Я познакомился с переводами А. М. Финкеля, позволил себе сделать — в меру моих скромных знаний — некоторые замечания, часть которых тов. Финкель использовал. Глубоко убежден, что публикация переводов тов. Финкеля — очень желательна, она внесет свое, принципиально новое в сокровищницу русской переводческой литературы»⁹³.

Как «интересный, вдумчивый труд» оценил переводы Финкеля и такой выдающийся филолог, как Б. В. Томашевский, отметивший, что они «порою точнее передают смысл оригинала»⁹⁴, и также высказавший пожелание, чтобы они были опубликованы. Но куда я ни совался, всюду наткнулся на препятствия. В «Новом мире» не захотели печатать из-за близких приятельских отношений Твардовского и Маршака.

⁹³ Там же. С. 152.

⁹⁴ Там же. С. 153.

Лишь спустя почти десять лет благодаря поддержке выдающегося советского шекспириста А. А. Аникста мне удалось добиться того, что переводы всех сонетов появились сначала в сборнике «Шекспировские чтения», а затем прочно приобрели права гражданства и переиздавались не раз — и полностью, и частично.

Но мне хотелось большего — пробить издание переводов Финкеля в престижной серии «Литературные памятники». Несмотря на то что я там успешно сотрудничал и завоевал уважительное отношение к себе, эти попытки долго оставались безуспешными. Но вот свершилось! И хотя издание это подготовлено не мной, считаю, что и мои многолетние усилия не пропали даром. В вышедшей книге читатель найдет английские оригиналы, пять полных переводов сонетианы, в том числе и выполненных Финкелем, что дополнительно подтверждает его место в ряду лучших переводчиков сонетов Шекспира.

В сопровождавшей первую публикацию сонетов заметке А. А. Аникст писал: «...При всей огромной талантливости С. Маршака его переводы не передают в полной мере своеобразия лирики Шекспира. <...> Индивидуальность переводчика всегда накладывает печать на его труд. Публикуемые здесь переводы <...> читаются, пожалуй, не так легко, как переводы Маршака, но это не следствие неумения, а неизбежный результат стремления А. Финкеля как можно полнее передать всю многосложность шекспировской лирики. Поэтическая форма в предлагаемых здесь переводах, сложные образные построения приближаются к художественному своеобразию подлинника. Знакомство с печатаемыми здесь переводами читателю, которому недоступен подлинник, помогает узнать какие-то новые грани лирики Шекспира»⁹⁵.

Экземпляр сонетов, находившийся у Рыльского и имеющий его пометы, которые он каждый раз помечал своими инициалами М.Р., был передан мне вдовой переводчика Анной Павловной Финкель, и по нему я готовил первую публикацию, а позднее передал в отдел рукописей Харьковской библиотеки имени В. Г. Короленко. Это чрезвычайно интересный документ, позволяющий нам увидеть обоих участников этого заочного диалога: М. Ф. Рыльского, внимательного, зоркого, требовательного, чуткого к смыслам и даже к фонике слов, и А. М. Финкеля, мастерски находящего лучшее, может быть, единственное решение задач, которые ставила перед ним критика Рыльского.

⁹⁵ Шекспировские чтения-1976. М.: Наука, 1977. С. 217–218.

В сонете 8 первая строфа была переведена так:

Ты — музыка, но почему уныло
Ты музыке внимаешь? Отчего ж
Ты с радостью встречаешь, что не мило,
А к радости невесело идешь.

Рыльский пишет рядом с «отчего ж»: «*Ж* явно только для рифмы». И переводчик устраняет указанный недостаток:

Ты — музыка, но почему уныло
Ты музыке внимаешь? И зачем
Ты с радостью встречаешь, что не мило,
А радостному ты не рад совсем.

В том же сонете заключительное двустишие сначала выглядело так:

Тебе поет гармонии поток:
«Сойдешь на нет, коль будешь одинок».

Замечание Рыльского: «Не прозаично ли?» Окончательный вариант:

Тебе поет гармонии поток:
«Уйдешь в ничто, коль будешь одинок».

Первая строфа 12-го сонета:

Когда часов гляжу я быстрый ток
И вижу: день проглочен мерзкой тьмой;
Когда гляжу на вянущий цветок,
На смоль кудрей, серебримых сединой...

Рыльский отмечает: «Искусственно звучит это архаическое “ток”. Ток часов». И дефект устраняется:

Когда слежу я мерный ход часов
И вижу: день проглочен мерзкой тьмой;
Когда гляжу на злую смерть цветов,
На смоль кудрей, серебримых сединой...

Сонет 25 кончался двустишием:

Но счастлив я: люблю я и любим
И неразлучен с счастьем своим.

Конечно, Рыльский не оставил без внимания эти три согласные подряд («неразлучен с счастьем...») и написал: «Фонетически тяжело». Финкель согласился с этим:

Но счастлив я: люблю я и любим
И от любви своей неотделим.

В сонете 30 первая строфа:

Когда на суд безмолвных дум своих
Вспоминанья прошлого зову я,
Вздыхаю я о горестях былых
И об утратах прежних вновь тоскую...

Рыльский фиксирует это «зову я — тоскую» пометой: «Рифма не очень сонетная». Вот окончательный текст:

Когда на суд безмолвных дум своих
Вспоминанья прошлого влеку я,
Скорбя опять о горестях былых,
О дорогих утратах вновь тоскую...

В 11-м и 12-м стихах того же сонета:

Страданьям старым счеты подвожу,
Сейчас по ним уплачиваю снова —

Рыльский подчеркнул все буквы «с» и написал: «Много “с”. Вряд ли умышленная аллитерация». Финкель переделал и это место:

Страданьям давним счеты подвожу.
За что платил, уплачиваю снова.

Сонет 70 начинался так:

Тебя бранят, но это не беда,
Злословие всегда на красоте,
И клевета на прелести всегда,
Как черный ворон в светлой высоте.

Подчеркнув «на» и «в», Рыльский просит полного совершенства: «Хорошо, если б один и тот же предлог». И переводчик добивается требуемого результата:

Тебя бранят, но это не беда
Красу извечно оскорбляют сплетней,
И клевета на прелести всегда,
Как черный ворон на лазури летней.

Не одобрил Рыльский и заключительное двестишестое:

Когда б извет не омрачал лица,
Царицей б ты была во всех сердцах.

Он подчеркнул «царицей б ты» и написал: «Тяжело». Устраняется и этот недостаток перевода:

Когда б извет не омрачал лица
То были бы твоими все сердца.

Присматривайтесь к этим строкам, переводчики, поэты, исследователи переводческого мастерства! Учитесь чуткости к поэтическому слову и мастерству обращения с ним.

Таким он был, этот многоликий профессор-лингвист, оставивший заметный след во многих областях своей науки, педагог, взрастивший не одно поколение студентов и аспирантов Харьковского университета, переводчик и поэт. При всей разносторонности творческих устремлений и талантов главным делом его жизни была наука, неизменно определявшая и другие направления деятельности. Как в «Лире» каждый вершок был король, так в Финкеле каждый вершок был ученый. И смешные стихи из «Парнаса дыбом», и переводы шекспировских сонетов были реализацией в поэзии того, что возникло, утвердилось и прошло проверку в научной лаборатории. В этом особая ценность его стихов, в этом своеобразие их места в нашем культурном наследии.

Не могу завершить этот очерк, не сказав хотя бы несколько слов о жене Александра Моисеевича Анне Павловне Финкель. Пока он был жив, я общался с ней мельком и, в сущности, совсем ее не знал, она была для меня его женой, и только. Все богатство ее замечательной личности открылось мне, только когда его не стало.

Решив продать часть книг из его библиотеки, она пригласила меня, подвела к книжным полкам и предложила взять себе то, что я для себя выберу. Она отдала в мое полное распоряжение его творческий архив: рукописи сонетов с собственноручной правкой переводчика, стихи, которые Александр Моисеевич продолжал писать для «Парнаса дыбом». Без ее помощи я, конечно, не смог бы издать ни сонеты, ни дополненное издание знаменитого сборника. Я был и остаюсь бесконечно ей признателен за честь, которую она оказала мне, передоверив роль как бы душеприказчика покойного мужа. Она же, напротив, постоянно благодарила и чуть ли не боготворила меня за усилия по публикации его наследия. Не могу забыть, какими ласковыми глазами она на меня смотрела!

Параллельно со мной и также в тесном сотрудничестве с Анной Павловной изданием работ Александра Моисеевича занимался известный московский лингвист, одно время научный редактор газеты «Русский язык» и мой добрый знакомый Сергей Иосифович Гиндин. Как и я, формально он не был учеником Финкеля, но считал его своим учителем. Мы с ним определенно и, я думаю, удачно разделили обязанности: он сосредоточил усилия на публикации научных работ и напечатал какое-то количество статей нашего покойного наставника, я же занимался только «Парнасом» и переводами.

У меня много оттисков, подаренных Александром Моисеевичем, но только один я получил от Анны Павловны. Это был выпуск «Вестника Харьковского университета» с некрологом Финкеля и списком его основных лингвистических трудов. Анна Павловна сделала на нем такую надпись: «Дорогому Лесику в знак глубокого сердечного расположения. А. Ф. 19.1.70». Кроме нее, мне довелось знать только одну вдову, с которой у меня после смерти ее мужа установились такие длительные и сердечные отношения. Это Мария Илларионовна Твардовская.

Осталось у меня в памяти и то, какой заботливой, я бы сказал, влюбленной матерью была Анна Павловна. Виталий Александрович Финкель, которого и она, и я называли Виталиком, регулярно приходил к ней в перерыв, и она кормила его обедами. Как напряженно она его ждала, как радовалась каждый раз, услышав его звонок в дверь!

Анна Павловна пережила мужа более чем на два десятка лет. Конечно, она слабела с годами, у нее дрожали руки и губы, но она сохраняла безупречную ясность ума, и память ей не изменяла. Я всегда восхищался ее высокими душевными качествами.

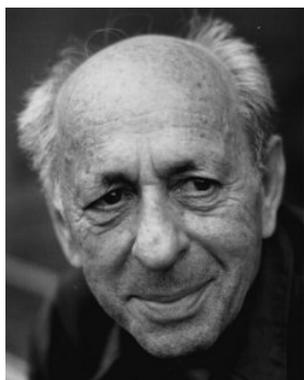
Полвека в «Воплях»

«Вопли» — это шутовское, озорное, но исполненное симпатии именованное, которое сразу после своего возникновения получил журнал «Вопросы литературы», долгое время бывший главным периодическим литературоведческим изданием в нашей стране. Оно имело широчайшее распространение и не сходило с уст и работников редакции, и авторов, и читателей.

Когда журнал отмечал свой полувековой юбилей и публиковал подборки статей, заметок, писем, посвященных этому событию, выяснилось, что немногие сотрудничали в нем так продолжительно, преданно и активно, как ваш покорный слуга. По неполным подсчетам, я под своей фамилией и под разнообразными псевдонимами опубликовал в нем более сорока материалов и оказался одним из «ветеранов», которых тогдашний главный редактор Лазарь Ильич Лазарев одарил увесистым томом — указателем ««Вопросы литературы» за 50 лет».

С апреля 1957 года, когда начал выходить журнал, он стал частью моей жизни и по своей значимости для меня не сопоставимым ни с каким другим периодическим изданием. Едва услышав о возможности подписки на него, я ее немедленно оформил. Еще бы! Я учился тогда на филологическом факультете, и это был единственный журнал по моей специальности: «Русская литература» и «Филологические науки» начали выходить позднее. Поскольку первый номер был выпущен в апреле, в 1957 году их вышло девять, а с 1958-го он стал нормальным ежемесячным изданием. До сих пор на моей книжной полке стоят годовые комплекты за 35 лет — до начала 90-х, когда Москва и Харьков в одночасье сделали друг для друга границей, и по воле новых украинских властей отчуждение от России, изживание русского языка, русской культуры, контактов с российскими специалистами, научными учреждениями, органами печати принялось набирать силу.

В 1961 году я впервые «постучался» в журнал — отправил туда рецензию на книжку о Баратынском, который к тому времени сделался главным предметом моих научных занятий. Письмо, полученное мной в ответ и извещавшее, что рецензия принята, датировалось 12 апреля 1961 года — днем, когда Юрий Гагарин отправился в космос. Так начался наш, с позволения сказать, совместный полет. Той же осенью я впервые побывал в редакции, находившейся



Л. И. Лазарев

тогда на Ново-Басманной, 19, и познакомился с автором присланного мне письма — Ниной Николаевной Юргеновой, которая стала моим верным, преданным другом и покровителем: все, что делалось потом, делалось с ней, во многом благодаря ей, и я не могу не сказать о ней несколько благодарных слов.

Эта удивительная женщина проработала в редакции «Воплей» 55 лет, со временем она стала единственной сотрудницей, которая работала в журнале со дня его основания. Во время одной из моих с ней последних встреч она подарила мне групповую фотографию, на которой она, совсем юная, сидит рядом с Н. К. Гудзием.

Нина Николаевна рассказывала, что к литературе ее пристрастил Георгий Николаевич Мунблит, известный драматург, прозаик, литературный критик, соавтор Евгения Петрова после смерти Ильфа. Он был старше ее почти на двадцать лет, но она оставила первого мужа ради того, чтобы соединиться с ним. Коллеги по редакции восхищались тем, как самоотверженно она ухаживала за Георгием Николаевичем, дожившим до 90 лет, но от нее я никогда не слышал от ни одной жалобы на связанные с этим трудности. Если говорила о домашней ситуации, то немногословно и с легким юмором, который был ей свойствен.

Она была первоклассным редактором и пользовалась несравненным авторитетом. Такие постоянные авторы «Воплей», как Д. С. Лихачев, Ю. В. Манн, В. И. Коровин, предпочитали иметь дело только с ней. Очень высоко ее ценил скупой на похвалы Б. М. Сарнов. Они жили рядом в писательском «городке» на улице Черняховского и «дружили домами». Она ушла из жизни совсем недавно, 5 декабря 2016 года. В некрологической заметке редакции журнала я прочел фразу, врезающуюся в мою память: «В ней было человеческое достоинство какого-то иного времени».

Мои отношения с ней стали со временем очень близкими. Она вела больше моих публикаций, чем кто-либо другой, была единственным человеком в редакции, которая знала о болезни моего сына, которого оперировали и пытались спасти в Москве, в знаменитой клинике им. Бурденко, а когда до нее дошла весть о его смер-

ти, позвонила мне в Харьков, чтобы сказать слова, которые еще никому не приносили утешения.

С упомянутой рецензии, напечатанной в первом номере за 1962 год, началось мое регулярное сотрудничество в журнале; где я печатал статьи, рецензии, хроники, информации об архивных находках. Редакция меняла адреса, и куда она, туда и я. Помню и подвальчик на Пушечной, и чертоги на Большом Гнезниковском, где в хорошие времена она занимала весь десятый этаж.

Понятно, что за такой долгий срок сменилось несколько главных редакторов, при каждом из которых журнал как-то менялся, но в основном, определяющем, сохранял свое лицо — не только потому, что вокруг него всегда группировались лучшие литературоведческие силы, но и потому, что ему удавалось оставаться прогрессивным — в хорошем, серьезном значении этого слова.

Он не был оппозиционным в том смысле, в каком был «Новый мир», но и от погромных кампаний неизменно держался в стороне. Это особенно очевидно, если сравнить проводимую им линию с тем, что творил А. Б. Чаковский на страницах «Литературной газеты», которая в неумном стремлении выслужиться вечно бежала впереди паровоза. Страшно вспоминать, какие потоки брани и клеветы она изрыгала на Солженицына или деятелей Пражской весны. «Вопросы литературы» себе такого никогда не позволяли.

Более того, в той мере, в какой это было возможно для журнала, абсолютно лояльного к тогдашнему режиму, «Вопросы литературы» стремились делать предметом обсуждения вопросы, где в самом деле есть реальные различия точек зрения и предпосылки для их обсуждения. Такой была проведенная в 1969 году дискуссия о славянофилах. Напомню, что к тому времени не было еще книг Ю. З. Янковского и В. И. Кулешова, коллективной монографии, подготовленной ИМЛИ, появление которых в немалой мере само стало следствием этой дискуссии и выявленных в ее ходе проблем.

Дискуссия открылась статьей А. Янова. В ту пору мало кому известный молодой человек, он далеко еще не имел того имени, которое приобрел в эмиграции. Но редакция усмотрела в нем начинающего вольнодумца и именно его выставила на затравку, не без основания рассчитывая вызвать всплеск страстей. В те времена у советских цензоров было в ходу такое понятие — «неконтролируемый подтекст». Он-то и просматривался в выступлениях участников дискуссии, в том числе и в моей статье.

Как человек, прошедший школу «новомирского» воспитания, я не раз писал о явлениях прошлого с намерением натолкнуть читателя на сопоставление их с явлениями настоящего, о которых нельзя было говорить открыто. И когда я критиковал славянофилов за то, что художественные произведения приобретали в их глазах цену лишь постольку, поскольку они служили средством распространения их идей, за их нетерпимость к инакомыслию, убежденность в своей непогрешимости, за их готовность пренебрегать мерой таланта писателя, правдивостью изображаемых им жизненных явлений, ставя во главу угла верность своим идеологическим догматам, можно было догадаться, в кого я в действительности метил.

И я был и услышан, и понят. В письме, полученном тогда от А. В. Чичерина, были такие слова: «Давно хочу сказать, что мне очень понравилась Ваша славянофильская статья. Я обращал на нее внимание многих. Не своим прямым, а своим косвенным содержанием, которое звучит до того зычно... но не придерешься, и не придрались. А Кожин выказывался в полсвиста, приглушенно, и естественно, что его заклевали».



С. И. Машинский

Не могу не сказать еще несколько слов в память двух людей, с которыми я сошелся в «Вопросах литературы» и которые со временем из только редакторов превратились в близких и дорогих друзей: у них я бывал дома, выпивал, чаевничал, ночевал, с ними гулял и общался в самой разной обстановке... Это Белла Львовна Маргулис и неоднократно упоминавшийся ранее Семен Иосифович Машинский.

Белла Львовна, выпускница легендарного ИФЛИ, была всеобщей любимицей, ее нежно называли Белкой. Она вела отдел хроники, где я печатал информации о своих архивных находках и отчеты о конференциях. А крупные материалы: статьи, обзоры, рецензии шли через отдел, которым заведовал Машинский и в котором работала Юргенева. Приведу одно из писем Машинского, содержащее их оценку. Предыстория этого письма такова.

В 1977 году мне попался на глаза сборник статей Машинского «Слово и дело», вышедший двумя годами ранее. Я прочел книгу, она мне понравилась, и я написал на нее рецензию, которая появилась в «Известиях Академии наук. Отделение литературы и языка», которые в разговорах часто называли попросту: ОЛЯ. Машинскому я по этому поводу ничего не сообщал, содержание рецензии, которая при общей положительной оценке книги включала и критические «уколы», никоим образом с ним не согласовывал и вообще писал не столько для того, чтобы ее оценить, сколько для того, чтобы выразить кое-какие собственные мысли. Через некоторое время от него прибыло такое письмо:

Дорогой Леонид Генрихович!

Дело было так. На банкете у фохтовской аспирантки Тамары (по случаю ее защиты) они оба мне сообщили о необыкновенно умной рецензии, появившейся в ОЛЯ. То было более недели тому назад, а только сегодня, в редакции у нас, я раздобыл это самое ОЛЯ, кое я не выписываю и читаю нерегулярно. Прочитал и подивился: до чего здорово Вы написали. Это, вероятно, пятая или шестая на сию книгу рецензия. Но Ваша — самая! Действительно самая и умная, и просто она талантливо написана. Дело не в оценках книги, разумеется, а именно в том, как отлично написано все: очень свободно, по-своему, без риторики и удивительно искусно. Я давно знаю Ваши рукописи для нашего журнала, сколь точное у Вас письмо, и как верно ложится Ваша фраза на бумаге и энергично пульсирует в фразе мысль. Все это мне с особой силой почувствовалось в рецензии, кою прочитал, не скрою, с удовольствием и завистью.

Сердечно говорю Вам разные слова.

Крепко жму руку и сулю новых Вам успехов на ниве нашего многострадального литературоведения.

Ваш С. Машинский. 21 ноября 1977 г.

Когда я дописал докторскую диссертацию, но не мог найти Совет, который согласился бы ее рассмотреть и поставить на защиту, Маргулис и Машинский занимались моими делами, как своими собственными, и использовали все свои связи и возможности, чтобы помочь. Белла Львовна с горячностью, которая была так свойственна ее натуре, вникала во все детали, наводила для меня разнообразные справки, взвешивала достоинства и недостатки предполагаемых

оппонентов. Хорошо помню, что кандидатура Н. В. Фридмана была окончательно решена в ее квартире, и я договаривался с ним с ее телефона. Мудрый и опытный Машинский держал под контролем весь процесс. Никогда не забуду выражение его лица, когда он сидел на защите, — напряженный, сосредоточенный. Так выглядит режиссер на премьере поставленного им спектакля.

А когда пришло время ждать решения ВАКа, он, чтоб отвлечь меня от тревожных мыслей, предложил поработать для «Вопросов литературы» над большим обзором, который получил название «Русский романтизм: проблемы, споры, перспективы». Этот материал вызвал шквал самых разноречивых отзывов, много было претензий и обид, но признание он получил и даже был переведен за границу. Увы, инициатору создания этого материала не довелось увидеть его в печати. В том же одиннадцатом номере за 1978 год, где был опубликован мой обзор, помещен и некролог С. И. Машинского.

Судить о том, какую роль сыграли «Вопросы литературы» в литературном процессе, я не возьмусь, но думаю, не погрешу против истины, сказав, что за минувшие полвека журнал внес неоценимый вклад в повышение уровня литературоведческих исследований. Многие сотни рецензий, напечатанных в нем, имели преимущественно критический характер, и, читая их, все мы учились на чужом опыте и старались в будущем избегать допущенных огрехов. Были рецензии, обзоры, полемические статьи, написанные на грани памфлета и вызывавшие восхищение блеском разящих суждений. Вспоминаются такие материалы, как «Кто изящней: верблюд или лошадь?» Л. Баткина, «...И где опустишь ты копыта?» Б. Сарнова, рецензия Л. Тимофеева на книгу Ю. Борева о «Медном всаднике» (помню, как высоко ее оценил скупой на похвалы М. Л. Гаспаров), рецензия А. Гришунина и Д. Николаева на статью (!) Ф. Н. Боронина «Цензурные условия литературы XIX века» и многие, многие другие.

Конечно, бывают рецензии, которые по своей изначальной установке не рассчитаны на разоблачительный характер. Окидывая мысленным взглядом собственные материалы, могу назвать «Уроки Жирмунского» — рецензию на новое издание его монографии «Байрон и Пушкин», ориентированную на усвоение опыта, который могут воспринять нынешние литературоведы у своего великого предшественника, или «Современность русской классики», где

была сделана попытка подвести итоги творческого пути Д. Д. Благого. Но в большинстве своих рецензий я старался следовать уставке на критику, принятой редакцией журнала и мной безоговорочно и искренне разделяемой.

Навлекало ли это на меня гнев рецензируемых авторов? Не без того. Моя рецензия на книги М. И. Гиллельсона «Молодой Пушкин и арзамасское братство» и «От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей» так его обозлила, что он чуть ли не перестал со мной здороваться. Между тем рецензия вовсе не была отрицательной. Я щедро отдал дань достоинствам обеих книг, но посмеялся над их слабыми местами. Кстати, в одном из писем ко мне Машинского была такая фраза: «Прочел Гиллельсонов. Вполне хорошо».

Уверен, что на уровень литературоведческих работ благотворно повлияла серия блистательных статей Ямпольского, в которых он на протяжении нескольких лет методично и настойчиво выявлял многочисленные фактические ошибки, обнаруженные им в книгах, статьях, учебных пособиях по литературе: «Сигнал неблагополучия» (1973), «Еще раз о точности» (1975), «И снова о точности» (1978), «Не верь глазам своим» (1981). Лично для меня обнаруженные им факты не были откровением: я все это время постоянно общался с Исааком Григорьевичем, он обсуждал со мной материалы, которые готовил к печати, и не раз использовал в своих статьях сюжеты, что я ему подбрасывал. Но я видел, какой резонанс имели эти публикации в литературоведческой среде, как испуганные коллеги бросались исправлять ошибки в цитатах, проверять приводимые даты, в общем, неожиданно осознали, что безответственность не всегда проходит безнаказанно. Его тогда называли «Гроза всех путаников». Среди таковых оказалось немало именитых авторов, которые не на шутку обижались, пытались защищаться, писали ответы, но безуспешно. Точность самого Ямпольского неизменно была на высоте.

Не погрешу против истины, если скажу, что на протяжении всех истекших уже почти пятидесяти лет я был в «Вопросах литературы» желанным автором. Однако из песни слова не выкинешь, и картина моих отношений с журналом была бы односторонней, если бы я не привел примеры противоположного свойства. Обе неприятные истории, которые я хочу рассказать, связаны с одним и тем же сотрудником редакции — А. М. Кузнецовым.

Году в семидесятом он забраковал и вернул мне статью о стихотворении Лермонтова «Есть речи — значенье». Я переправил ее в «Филологические науки», где она была напечатана и встретила хороший прием: А. В. Чичерин даже называл ее моим шедевром. А в «Воплях» появилась другая статья о том же стихотворении, написанная сотрудником журнала С. В. Ломинадзе, называлась она «Из пламя и света». Никакого плагиата, разумеется, не было, но, согласитесь, странное совпадение: за 130 лет ни одной статьи об этом стихотворении, и вот... Когда я рассказал об этом моему другу Лене Баткину, который сам был вхож в «Вопли» и всех там знал, он, человек очень жесткий в этическом плане, задумчиво произнес: «История на грани порядочности. На самой грани...» Что произошло в самом деле, я не знаю. Отказывал ли мне Кузнецов, чтобы расчистить дорогу своему приятелю, или имел место сговор какого-то иного рода — бог весть... Но буквально через несколько месяцев он опять преградил мне дорогу.

Я написал рецензию на книгу В. В. Кожина «Как пишут стихи», выпущенную издательством «Просвещение». Рецензия не была чисто отрицательной. В ней, в частности, говорилось: «Написанная человеком, горячо влюбленным в поэзию и хорошо знающим ее, книга учит других понимать, ценить и любить стихи... Автор не уходит от самых сложных, самых спорных проблем стиха, но стремится сказать о них так, чтобы его голос был услышан каждым. Такая простота требует большого мастерства, и в этом мастерстве В. Кожиннову отказать нельзя». Довольно подробно и, как мне казалось, аргументированно сказав о том, что меня в книге не удовлетворяло, я в последних строках выражал убеждение в том, что никто не сочтет, что это «произведение серое, неоригинальное, повторяющее избитые приемы анализа и затасканные мысли. Нет, это талантливая книга, написанная свежо, умно и умело. В ней много верных и интересных наблюдений. Эта книга принесет пользу самому широкому кругу читателей. Но лишь при условии критического отношения к ней».

Главное, что вызывало у меня «критическое отношение», — это то, что у Кожина не сходятся концы с концами, и он на каждом шагу противоречит сам себе. Например, он пишет, что неправы те, кто видит в поэзии «некую речь». Цитата из моей рецензии: «Мы согласились бы с В. Кожинным, если бы он предлагал видеть в поэзии речь необычную, специфически организованную, имеющую лишь ей присущие функции. Но он говорит иное: стихо-

творение не есть “некая речь”, иными словами, это не речь вообще. Стоит ли в таком случае обвинять А. Вознесенского, что в его произведениях “ни на минуту не возникает ощущения естественной речи”. “Нет, все дело в том, что перед нами не речь”, — мог бы возразить В. Кожин. Как же не речь? А разве стихотворение “Я вас любил: любовь еще, быть может...” не названо “речью”? И разве не говорит в связи с ним наш автор совершенно правильные слова, показывающие, что и в его глазах стихи — это особая речь, которая в то же время является искусством: “Русская речь как бы сама, естественно, произвольно, без усилий вылилась в строгую и музыкальную ритмическую форму! Но на самом деле это совершило несравненное искусство Пушкина”.

Далее В. Кожин утверждает, что далеко не вся поэзия — поэзия. Есть подлинная поэзия и есть “стихотворная беллетристика”. За деятелями первой предлагается оставить название “поэтов”, прочих именовать “стихотворцами”. “Критика просто не имеет эстетического права смешивать тех и других...” — заявляет В. Кожин. Я продолжаю: “Постараемся не смешивать. Но как их различать?” С помощью определения, которое тут же предлагает В. Кожин. Приводим его полностью: “Стихотворец схватывает насущнейшие сегодняшние настроения и выражает их осязаемо для всех. Он говорит то, что в данный момент у каждого просится на уста. И пусть его слово живет недолго — оно за свою короткую жизнь может сделать очень много, может облететь целый мир. У поэта другая цель. Он идет, а не бежит. Он вслушивается в неясные подземные гулы, он говорит людям то, что без него не только бы не было выражено в слово, но и осталось неосознанным”.

По этой классификации Маяковский — не поэт. Он ли не “схватывал насущнейшие сегодняшние настроения”? И Есенин не поэт, потому что выражал эти настроения “осязаемо для всех”. А Пушкин в “Клеветникам России” и “Бородинской годовщине” “шел” или “бежал”? Неужто, если поэту внятны “неясные подземные гулы”, это мешает ему “говорить то, что в данный момент у каждого просится на уста”, а его слову — “облететь целый мир”? А если он “схватывает насущнейшие сегодняшние настроения”, то ему уже не дано “говорить людям то, что без него не только бы не было выражено в слове, но и осталось бы неосознанным”? Должен признаться, что я не знаю ни одного поэта, которого можно было бы определенно отнести к какой-либо из указанных Кожинскими категорий».

Последовал следующий приговор Кузнецова:

Многоуважаемый Леонид Генрихович!

К сожалению, Ваша рецензия получилась неудачной. В ней нет спора по существу. В ней «присутствует» только одна сторона — Вы сами, в то время как автор — интересный исследователь — остался как-то в стороне. У В. Кожина, безусловно, могут быть непоследовательности и противоречия, но их следовало бы вскрыть в корректной и глубокой полемике, а у Вас, на мой взгляд, больше придира и ожесточения. Не обижайтесь, но это, увы, так.

Возвращаю рецензию. Всего доброго.

А. М. Кузнецов

Спустя много времени я, любопытства ради, показал свою рецензию и это письмо Льву Озерову. Он отозвался так:

Дорогой Леонид Генрихович!

С интересом прочитал присланную рецензию. Она убедительна, спокойна. Ничего некорректного в ней нет.

Дело не в Вас и не в рецензии Вашей. Просто редакции хотелось сего автора похвалить. Во всяком случае погладить по головке (без «против шерсти»).

Так вот и живем.

А Вы говорите: ли-те-ра-ту-ра.

Всего доброго. Лев Озеров

1 октября 1974 г.

Впрочем, он, как оказалось, погрешил, обвинив редакцию. Когда об этой истории узнала Белла Львовна Маргулис, она изругала меня в пух и прах и сказала, что если бы я показал свою рецензию Л. И. Лазареву, она, безусловно, была бы напечатана. Но было поздно. Подтвердилась старая истина: кто не хочет, когда может, когда захочет, не сможет.

Отшумели торжества по поводу 50-летия «Вопросов литературы», и грянула беда. Тяжело заболел и вскоре скончался главный редактор журнала Лазарь Ильич Лазарев. Он умер 29 января 2010 года, через два дня после того, как ему исполнилось 86 лет. Он пришел в «Вопли» в 1962-м и все годы своей работы был там самым авторитетным человеком, можно сказать, душой журнала.

Всеми лучшими своими качествами, всем, что мы в «Воплях» ценили, они прежде всего обязаны ему.

Менялись редакторы, а его все держали в заместителях главного редактора. Уж, казалось бы, и ничем не запятанный, безупречный коммунист, и участник, и инвалид Отечественной войны, а не могли простить Лазареву, что его фамилия Шиндель. Должна была рухнуть советская власть, а вместе с ней политика государственного антисемитизма, чтобы в 1992 году еврея пустили за редакторский стол, и эти восемнадцать лет стали золотым веком в истории «Вопросов литературы».

Лишь одного не сделал Лазарь Ильич: не подготовил себе достойного преемника. Его место занял И. Шайтанов, который, как острили в редакции, быстро оправдал этимологию своей фамилии. Начался погром, в результате которого был выгнан блестящий журналист и критик, человек с большим талантом и опытом, автор десятка книг Геннадий Григорьевич Красухин. Нина Николаевна Юргенева, работавшая в «Воплях» с самого их основания, уволилась сама. Бенедикт Михайлович Сарнов, на мнение которого я полностью полагаюсь, сказал мне о Шайтанове: «Что вы хотите, он не журналист», — а потом добавил: «И вообще негодяй». Надо ли говорить, что тем был поставлен крест и на моем полувекном сотрудничестве с «Воплями»?

Дружба с Дружниковым

Хотя мне ни разу в жизни не довелось увидеться с Юрием Ильичом Дружниковым, я считаю его одним из самых душевно мне близких людей из всех, кого я знал. Пишу это с горькой усмешкой и представляю себе, сколько знакомых, особенно из числа пушкинистов, в кругу которых прошла почти вся моя жизнь, скрипнули бы зубами, прочтя это признание, да, может быть, не захотели бы иметь со мной ничего общего: ведь он вызывал такое раздражение, такую острую, можно сказать, истерическую неприязнь. Сколько раз мне говорили: «Да как вы можете! Да он же нерукопожимаемый!» Но никто никогда не сказал мне ничего, что могло бы поколебать мое преклонение перед этим человеком. И бесполезны попытки от меня этого добиться. Следуя завету Мандельштама, я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых.

Дружбой с Дружниковым я обязан человеку, о котором не могу не сказать несколько благодарных и сердечных слов, — Марку Григорьевичу Альтшуллеру. Сейчас он и его жена Елена Николаевна Дрыжакова — профессора Питтсбургского университета, но я-то с ними сдружился за много лет до того, как они стали помышлять об эмиграции. Для меня они были и остаются Марком и Леной, не раз я бывал в их ленинградской квартире на улице, носившей имя моего «любимого» исторического персонажа Матроса Железняка.

Уехали они из Союза неожиданно и стремительно; как мне рассказывали, по настоянию Лены, которая хотела во что бы то ни стало избавить своего сына от призыва в армию. При этом имел место занятный и характерный для нравов того времени эпизод. Марк подготовил в сотрудничестве с Н. В. Королевой превосходный литературный памятник, принадлежащий к лучшим образцам, вышедшим в этой прославленной серии, «В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи». Когда книга была уже в производстве, выяснилось, что один из подготовителей предательски покидает дорогое советское отечество. Как можно печатать труд подобного негодяя?! Но Альтшуллер спас Кюхельбекера. Он отправил в редколлегию письмо, извещавшее, что издание это он вовсе и не готовил, а делал это В. Д. Рак. С этим «подпоручиком Кижее» литпамятник и вышел в свет.

После падения коммунистического режима Марк и Лена были в числе тех, кто регулярно приезжал на свою прежнюю родину, я с ними несколько раз встречался: на конференциях, организуе-

мых Фондом Достоевского в Подмосковье, на Грибоедовской конференции в Крыму. Когда моя аспирантка написала диссертацию о Герцене, Лена украсила ее защиту своим отзывом, а Марк принял участие в сборнике «Сквозь литературу», выпущенном к моему 80-летию, напечатав в нем блестящий памфлет, где на одном, казалось бы, мелком, но мастерски подобранном примере демонстрировал и высмеивал лживость и лизоблюдство советской литературы. Конечно, я очень ему благодарен: мало у кого из моих коллег в подобных сборниках принимали участие авторы из девяти стран.



М. Альтишллер и Е. Дрыжакова

Марк сообщил мне адрес Дружникова и посоветовал послать ему какие-нибудь из моих книг. Его ответ и положил начало нашей переписке, о которой я в дальнейшем постараюсь дать определенное представление, но прежде о другом. Мне кажется, что отношение Дружникова особенно проявилось в той щедрости, с которой он снабжал меня своими книгами. Он не только делал это сам, но и подключал живущую в Москве дочь, с которой вывел меня на прямую связь. «Ленка — мой полпред в Московии», — любил он повторять.

Благодаря ему и его «полпреду» на моей полке стоят шеститомное собрание его сочинений и не менее десятка отдельных изданий других вещей, а также книга В. Д. Свирского «Проза Юрия

Дружникова», сборник «Феномен Юрия Дружникова», где есть и моя статья о нем, и кое-что еще. Не думаю, что многие могут похвастаться такой коллекцией.

Свою книгу «Смерть изгоя» — завершающую часть его пушкинской «трилогии» — он прислал мне в рукописи и опубликовал в доработанном виде с учетом моих замечаний. Я ценил его блистательный дар полемиста — умение убедительно, язвительно и хлестко развеивать мифы, столь обильно создававшиеся советскими литературоведами.

Но выше всех я ставлю книгу, в которой, на мой взгляд, в наибольшей степени проявилась личность автора, его политическая и этическая позиции. Это «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова». Сейчас уже мало кто представляет себе тот мир лжи, в котором жили люди при советской власти, и воплощением которой был культ Павлика Морозова, какие усилия прилагались, чтобы уберечь миф о нем от малейших сомнений. Принимались специальные меры, чтобы посетители его музея не встречались с местными жителями, от которых могли бы узнать хоть крохи правды о жизни и смерти этого «героя». Дружников, к этому времени уже исключенный из Союза писателей, находился под особенно пристальным наблюдением соответствующих органов и рисковал больше, чем кто-либо другой. Но это его не остановило. Он сумел найти выживших свидетелей и по крохам их показаний восстановить целостную картину совершенного преступления, проанализировать ее и, написав об этом книгу, выпущенную в 1990 году в Лондоне, навсегда сделал установленную им правду достоянием истории. Я считаю это подлинным гражданским подвигом, который не может быть забыт и не должен быть замолчан. Можно оспаривать художественные достоинства беллетристических произведений Дружникова, того же романа «Ангелы на кончике иглы», можно счесть необубедительными отдельные аргументы, приводимые в пользу того, что у Пушкина были планы побега за границу, но как можно оспаривать непреходящую заслугу Дружникова как разоблачителя сталинского мифа о Павлике Морозове!

Чтобы не оставить своим противникам никаких возможностей для возражений, автор этой великой книги, установив убийц «героя-пионера» и заключив их в клетку неоспоримых аргументов, не стал называть их имен, а предоставил сделать это читателю.

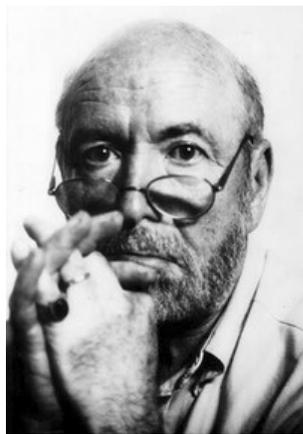
Книга на этом ничего не потеряла, потому что главное — разоблачение всего мира лжи, порожденного коммунистической идеологией и советской властью, — не было поколеблено ни на йоту.

Я разговаривал об этом с профессором Леонидом Шуром, умным, порядочным человеком, эмигрировавшим из СССР в Израиль, а потом переехавшим во Францию, много мне помогавшим во время моего пребывания в Париже. Озлобленный ненавистник Дружникова, он, говоря о нем, прямо-таки брызгал слюной, но ни одного вразумительного аргумента, способного не то что подорвать, но хоть поколебать мое уважение к этому человеку и преклонение перед свершенным им низвержением мифа о Павлике Морозове, я от него не услышал.

Конечно, с Дружниковым можно спорить. Человек эмоциональный и даже страстный, он способен на преувеличение и заострение, но если уж спорить, то так, как это делает Лев Аннинский, написавший послесловие к сборнику полемических эссе Дружникова «Дуэль с пушкинистами» и взявший на себя роль секунданта в этой дуэли. В конце его статьи есть такие слова: «...в пушкинистике всегда должно быть место Дружникову, который будет звать пушкинистов к барьеру. А они — его»⁹⁶.

Жаль, конечно, что «дуэль» в подлинном смысле этого слова не состоялась. Ведь она предусматривает наличие двух участников. Но статей, которые разили бы Дружникова с той же остротой, с которой он разил пушкинистов, не нашлось. А если нет у них другого оружия, кроме помянутых Маяковским «перержавленных перышек», то это факт, стоящий того, чтобы над ним задуматься.

А теперь о Дружникове, каким он встает со страниц полученных от него писем. Первое из них датировано 23 августа 1999 года. Оно было ответом на мою бандерольку, в которой было что-то из моих книг, в том числе сборник публицистических этюдов «Эти семь лет», «С чем рифмуется слово ИСТИНА. О поэзии А. Галича», «Борис Чичибабин. Жизнь и поэзия».



Ю. И. Дружников

⁹⁶ Дружников Ю. Дуэль с пушкинистами. М.: Хроникер, 2001.

23 августа 1999 г.

Дорогой Леонид Генрихович,

тронут Вашим письмом и докладом. Предполагаю, что дело тут не только в научном интересе, но и в Вашем диссидентском характере (судя по Вашей писательской книге о Галиче, публицистике и статье о Вас в сборнике к 60-летию), что нас и сближает. Как человек битый ценю Ваше внимание вдвойне. Статья «Веники и бюсты в каждом абзаце» (прилагаю ксерокс из «Книжного обозрения», она перепечатана была в «Русской мысли» и в журнале «Время и мы»), когда я председательствовал на Пушкинской конференции в Станфордском университете, куда пригласили и сотрудников Пушкинского Дома, вызвала протесты и возмущение петербуржцев. А, на мой взгляд, хорошо бы аспирантскую молодежь не запугивать моими книгами, а, наоборот, дать им делать современные диссертации, чтобы воспитывать в них критицизм.

Ваш Ю. Д.

Доклад, которым Дружников был, по его признанию, «тронут», я делал в сентябре 1999 года на Международных пушкинских чтениях в Гурзуфе. Тема его звучала так: «Мифы и факты: пушкиноведческие расследования Юрия Дружникова». Познакомив аудиторию с содержанием нескольких статей, которые были ей недоступны, я сформулировал мысль, которую эти и подобные им статьи внедряют в наше сознание: чтобы сделать незнакомое и неведомое известным и знакомым, «совсем не обязательно совершать сенсационные архивные находки, достаточно прочесть и сопоставить лежащие на поверхности, давно опубликованные источники, глядя на них непредвзято, непредубежденно, развеивая, если это необходимо, скрывающий их мифологический туман»⁹⁷. Доклад, естественно, вызвал критические замечания, которые, как мне кажется, я сумел отразить. Но присутствовавшая там приятельница Дружникова Лола Звонарева, по-видимому, представила ему все это в преувеличенном виде, и он написал мне: «Она рассказала мне по телефону историю в Крыму со злобными нападками на нас с Вами. Я-то приучен, с меня как с гуся вода, но переживал за Вас. <...> Тягости жизни Вашей мне хорошо понятны. Я в такой ситуации жил десять лет, когда таскали меня

⁹⁷ Пушкин и Крым. Кн. 1. Симферополь: Крымский архив, 2000. С. 81.

в Москве в небезызвестные органы и грозили посадить. Не посадили только потому, что на Западе разгорался большой скандал, в результате которого Горбачев отдал меня американским конгрессменам в руки».

Здесь все сильно преувеличено. Я совсем не считал себя «побитым». Меня не только не грозили посадить, но и доклад мой был хорошо воспринят большей частью аудитории и напечатан в сборнике материалов конференции, а вскоре еще раз — в российско-польском сборнике статей «Феномен Юрия Дружникова».

Среди моих публицистических этюдов его особое внимание привлек «“Железный занавес” образца 94-го», в котором я возмущался уменьшением поступления в украинские библиотеки российской периодики. Теперь я понимаю, что то были золотые денечки в сравнении с ситуацией, существующей сегодня, когда не то что перекрыто поступление журналов, газет и книг, но и отключены российские телеканалы. Дружников писал: «Читать о “железном занавесе” в Харькове было грустно. Конечно, это не только не устареело, но стало еще больней. Получаю письма от библиотечных работников разных рангов из разных областей России и из бывших республик с жалобами на те же проблемы. Пишут они писателю на Запад, ибо начальству писать бесполезно. От всего вместе, ей-богу, сердце кровью обливается».

Были в том же письме строки, которые мне очень дороги: «Книжку Вашу о Галиче я прочитал сегодня ночью. О нем много написано, но это лучшее, что я знаю. Вы, помимо прочего, очень точный на слово эссеист». Увидев, что в каком-то из российских журналов меня назвали «первым русистом Украины», он (в письме от 8 апреля 2000 года) откликнулся на это так: «Конечно, Вы **первый русист**. Кто там еще есть?! <...> То там, то сям вижу Ваше имя. Вчера — в КЛЭ — как много Вы наработали! Баратынского буду ждать с нетерпением, а уж “Денницу” и говорить нечего».

Но, как мне кажется, из того, что я «наработал», он чаще всех упоминал, ссылался, цитировал статью о Пушкине и Польском восстании 1830–1831 годов. В обширной статье «О поэтах и оккупантах», напечатанной в трех номерах «Русской мысли», напомнил давний эпизод моей биографии: «Харьковский пушкинист Леонид Фризман в послесоветское время писал, как в начале 60-х его статью, содержащую честные слова о Пушкине и Польском восстании, боялись печатать без одобрения Пушкинского

Дома, а там так и не дали разрешения...»⁹⁸ Затронув ту же тему в романе-исследовании «Смерть изгоя», он позаботился о том, чтобы это не ускользнуло от моего внимания. «Вы там тоже по поводу Польши обозначены», — писал он мне, и далее: «Конечно, буду ждать Вашу статью о Сулейменове, хотя, по чести, уже изрядно подзабыл ту заваруху вокруг книги. Может, тем интересней будет прочесть. Дочка мне послала “Пушкинскую энциклопедию”, мне ее привезут в Варшаву, так что тоже буду Вас читать».

Показательна и выразительна его реакция на приход к власти Путина. 8 апреля 2000 года он уже ставил мрачные прогнозы: «В Польше издают моих “Ангелов”, ибо резонно считают, что на родине Ангелов ангел пришел к власти, и вытолкнула его организация, которая всегда рвется к власти, а теперь особенно. И гайки прессы будут затягивать (не для всех, но для тех, кого надо затянуть) <...> Грядет новый Павлик, если Павлики рвутся к власти».

Не раз намекал на то, как хотел бы увидеться:

«В мае я буду в Будапеште, а в нач. авг. в Варшаве. Звонарева говорит, может, и Вы туда выберетесь?»

«А вообще, это долгий разговор за чаем. Может, когда-нибудь мы с Вами его сотворим?»

При этом он ни разу не заговорил о возможности пригласить меня в свой университет. Я, понимая, что у него есть на сей счет какие-то резоны, также не касался этой темы. Точнее, не успел этого сделать. Дело в том, что в Калифорнии живет еще один близкий мне человек — профессор Вадим Назаренко. Он был когда-то моим студентом, позднее много пользовался моими консультациями и считает своим учителем. Раздобыв необходимое финансирование, Вадим создал не то в Сан-Франциско, не то в его окрестностях специализированный колледж с объемными курсами русского языка и литературы и пригласил меня поработать в нем год-два. Мой приезд планировался не сразу, потому что мне предстояло работать на старших курсах, но в принципе казалось, что дело на мази, и я в осторожной форме сообщил об этой перспективе Дружникову. Но получить мое письмо он не успел. Его вдова известила меня, что 14 мая 2008 года этот замечательный человек ушел из жизни.

⁹⁸ Дружников Ю. О поэтах и оккупантах // Русская мысль. 2001, 1–7 марта.

Он ни в одном из своих писем ни словом не обмолвился о своем здоровье, писал, когда были волнения, связанные с болезнью жены. Я же не раз говорил себе: если семидесятилетний профессор ездит на работу на велосипеде, это подтверждает, что он ведет правильный образ жизни. Так-то оно так, но это его не спасло. Еще раз беспощадно подтвердилась правота пушкинских слов: «От судьбы защиты нет».

«Обманчивый коллега»

15 марта 1980 года Михаил Леонович Гаспаров прислал мне отиск своей статьи, опубликованной в тартуском сборнике «Вторичные моделирующие системы» (1979), с дарственной надписью: «Дорогому Леониду Генриховичу от обманчивого коллеги». Можно лишь предполагать, какое содержание он вкладывал в слово «обманчивый». Мне кажется: изменчивый, не такой, каким его принято считать, каким он может показаться поверхностному взгляду. Не зря он так любил повторять афоризм Аристотеля: «Известное известно не всем».

С именем и деятельностью Гаспарова с полным основанием связывают две области филологической науки, в которые он внес наиболее значительный вклад: это стиховедение и античная литература. Но, видимо, иногда он ощущал потребность напомнить, что круг его интересов намного шире, и ему есть что сказать и на другие темы. Приведенной надписью он сопроводил статью «М. М. Бахтин в русской культуре XX в.».

В этой статье, на мой взгляд граничащей с памфлетом, Гаспаров обратился к первостепенно важным проблемам методологии литературоведения и с блеском объяснил те недоразумения, в которые впадают авторы, считающие себя последователями Бахтина. «Ирония судьбы Бахтина, — писал он, — в том, что мыслил он в диалоге с 1920-ми годами, а печататься, читаться и почитаться стал тогда, когда свои собеседники уже сошли со сцены, а вокруг встали чужие. Пророк нового ренессанса оказался канонизирован веком нового классицизма. Ниспровергатель всяческого пietetа оказался сам предметом пietetа. Несвоевременные последователи сделали из его программы творчества теорию исследования. А это вещи принципиально противоположные: смысл творчества в том, чтобы преобразовать объект, смысл исследования в том, чтобы уберечь его от искажений»⁹⁹.

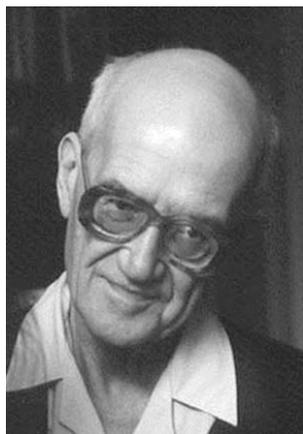
Спустя четверть века вооруженный новым обширным материалом Гаспаров в докладе «История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина» сказал еще более решительные слова: «М. М. Бахтин был философом. Однако он считается также и филологом — потому что две его книги написаны

⁹⁹ *Гаспаров М.Л.* Избранные труды. Т. 2. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 496.

на материале Достоевского и Рабле. Это причина многих недо-
разумений. В культуре есть области творческие и области иссле-
довательские. Творчество усложняет картину мира, внося в нее
новые ценности. Исследование упрощает картину мира, система-
тизируя и упорядочивая старые ценности. Философия — область
творческая, как и литература. А филология — область иссле-
довательская. Бахтина нужно высоко превознести как творца —
но не нужно приписывать ему достижений исследователя»¹⁰⁰.
И далее: «Так Бахтин, сочинитель небывалой литературы, всту-
пал в конфликт с Бахтиным, пытающимся исследовать реальную
литературу; этот конфликт в его творчестве так и остался не раз-
решенным, а лишь затушеванным».

Эрудиция Гаспарова, запас сведений, которые он держал в па-
мяти, были столь колоссальны, что даже его работы не способны
дать о них полное представление. Я поддерживал с ним близкие
дружеские отношения больше тридцати лет и могу подтвердить
это личными впечатлениями. Однажды, когда он сидел у меня дома
за чаем, было упомянуто имя Б. Пильняка. И вдруг он заговорил
о Пильняке так, как будто он только им и занимался всю жизнь.
Он цитировал его, по памяти сравнивал журнальные редакции его
произведений с напечатанными в отдельных изданиях. Мы слуша-
ли его как замороженные.

И к своим темам Гаспаров нахо-
дил такие оригинальные, неожида-
ные подходы, что только диву даешься.
Ограничусь одним примером. Он под-
готовил для серии «Литературные па-
мятники» издание сборника маленьких
лирических стихотворений Иоанна Се-
кунда «Поцелуи». В сопроводительной
статье Гаспаров с необыкновенным ма-
стерством объединил достоверный ана-
лиз «памятника» с подобием пародии
на чрезмерный литературоведческий пе-
дантизм. Помнится, я тогда сказал ему,
что этой статьей он заложил основы но-
вой науки — *поцелуеведения*.



М. Л. Гаспаров

¹⁰⁰ Русская литература XX–XXI веков. Проблемы теории и методоло-
гии изучения. М., 2004.

Не могу отказаться от того, чтобы привести несколько цитат, способных дать хоть какое-то представление об этом шедевре пера Гаспарова и вызвать у тех, кто не читал эту относительно незначительную работу, желание восполнить допущенный пробел. «Залогом удачи “Поцелуев” был прежде всего счастливый выбор исходного мотива. Поцелуй — это такая ласка, которая одновременно и невинна, и чувственна, и отраднa сама по себе, и обещает большее...»

Стихи Секунда группируются в семь циклов по семи аспектам. «Первый аспект темы задан античным образцом: стихами Катутла о счете поцелуев. Это подсказывает три мотива: количество поцелуев (“столько, сколько колосьев... травинок... дождинок... гроздьев... пчел...”), сила поцелуев (“когда ты приникаешь... и присасываешься... и дышишь... и стонешь...”), разнообразие поцелуев (“сухие и влажные, слабые и крепкие, краткие и долгие, в щеку и в шею...”). Отсюда — три стихотворения в цикле: 6, 5, 10.

Второй аспект — свойства поцелуев. Среди них Секунд выделяет тоже три: звук (“звонче, чем считали приличным суровые предки!”), аромат (“душистее, чем нард, тимьян, киннамон, чем мед и розы, чем нектар самих богов!”), вкус (“пчелы, собирая мед, будут искать не цветов, а уст Нееры!”). Отсюда — другие три стихотворения: 11, 4, 19.

Третий аспект — лицо под поцелуями. Это губы, только для поцелуев и созданные; это язык, прикушенный в порыве страсти и от этого лишенный силы славословить возлюбленную; это глаза, которые ревнуют к губам, потому что в минуту поцелуя они видят лишь малую часть лица женщины, а оторвавшись — все ее лицо. Эти усложняющиеся картины — содержание еще трех стихотворений: 17, 8, 7.

Четвертый аспект — переключение темы в возвышенный план, т. е. мифологический... Пятый аспект — переключение темы в сниженный план, то есть — в эротически непристойный. Это напоминание о том, что поцелуи, как они ни прекрасны, для поэта еще не все и что он видит в них обещание дальнейшего и большего.

Таковыми напоминаниями Секунд не злоупотребляет, но два стихотворения этому все же посвящены: 12 и 14»¹⁰¹ и т. д.

Я намеренно напомнил о двух таких не сходных между собой статьях Гаспарова, чтобы не вызывало сомнения, как многообразен

¹⁰¹ Эразм Роттердамский. Стихотворения; Иоанн Секунд. Поцелуи. М.: Наука, 1983. С. 264–266.

был его талант, сколько неожиданного могла таить в себе разработка любой темы, к которой он обращался. Можно приводить и другие примеры. Раскройте его книгу «Занимательная Греция», с ее детальными описаниями событий, быта, нравов, технологии ремесел, образа жизни древних греков. Непосвященному читателю в голову не придет, что ее написал литературовед. И Гаспаров это понимал, как он все понимал. На подаренном мне экземпляре он сделал надпись: «Дорогому Леониду Генриховичу с любовью для отвлечения и развлечения». Для отвлечения — от чего? От наших профессиональных занятий, от той науки, в которой мы оба работаем, — иначе я это слово объяснить не могу.



С М. Л. Гаспаровым

Или — трехстраничный этюд «Статусы обвинения в рассказе А. П. Чехова “Хористка” (1886)», написанный, оказывается, для издания полного русского перевода Квинтилиана с целью помочь неподготовленному читателю разобраться в особенностях античной риторики. Характерный для Гаспарова филигранно-тонкий анализ композиции чеховского рассказа он завершает так: «Если бы “Хористку” читал античный человек, он непременно

ощутил бы за чеховской концовкой возможность той “естественной” концовки, к которой его вело движение от первого ко второму, третьему и — гипотетически — четвертому статусу; и это ощущение фона только усилило бы для него художественный эффект чеховской концовки, в которой искусственнейшее *move* одерживает верх над логическим *docere*»¹⁰².

Не будь я закоренелым материалистом, я бы сказал, что в объеме и разносторонности эрудиции Гаспарова было что-то мистическое. После выхода сборника «Литературно-критические работы декабристов» я получил много комплиментарных откликов. Но никто не прочел ее с таким вниманием и не выявил в ней такого количества огрехов, как Гаспаров. Вот цитата из его письма от 5 мая 1978 года: «Можно ли сделать несколько замечаний к Вашим примечаниям в присланной книге? (Не из злонамерения, поверьте, а единственно, чтобы уверить Вас, что я ее читал с вниманием: к тому же я не сомневаюсь, что это не последнее из подобных изданий с Вашим участием, и потому, может быть, ими еще можно будет воспользоваться.) На стр. 319, прим. 34 недоразумение: речь идет не о Мене, а о Менелаке, пастухе из «Буколик» Вергилия (как и Дафнис). Прим. 39 лучше сформулировать: “Лонгобарды — германское племя, в VI в. завладевшее Италией»; а в прим. 31 объяснить слово “пританы” (хотя бы как “выборная коллегия правителей афинской республики”) — а то сейчас их легко отождествить с софистами. Стр. 320, прим. 53: вероятно, опечатка — “Систербецк” вместо “Систербек”. Прим. 55 на “Ванлоо”: не объяснено самое темное — “пестрядинные картины” (гобелены??). Прим 77: Черные клобуки — “тюркское племя, жившее у границ Киевского княжества” (слово “каракалпаки” неминуемо уведет мысль современного читателя к Аральскому морю). Прим. 79: “Трильби” Нодье — не пьеса, а повесть. Стр. 333. Прим. 5: предположенный здесь безвестный Говард очень маловероятен, скорее это все же знаменитый филантроп, названный рядом с Атилой ради контраста. Мелкие опечатки: стр. 343, ст. 2 св. (“гл.”, вероятно, вместо “песнь”) и 345, ст. 13 св. (в инициале Кардано). Именной указатель, кажется, неполон: например, Флегона (стр. 259) в нем нет.

Повторяю, что пишу это в двух уверенностях: во-первых, что никакой другой Ваш критик, добрый или недобрый, ничего этого не заметит; и во-вторых, что Вы по добром ко мне отношению на меня не обидетесь. Позвольте надеяться, что я не обманываюсь!»

¹⁰² *Гаспаров М.Л.* Избранные труды. Т. 1. С. 589.

Зачастую письма Гаспарова содержали такой тщательный, детальный критический анализ моих работ, которые я ему посылал, что без знакомства с этими работами его письма трудно понять, а тем более оценить. Поэтому необходимо хотя бы в сокращении воспроизвести содержание разбираемых им статей. В 1991 году в журнале «Человек» была опубликована статья «Быть поэтом. Опыт статистической литературометрии», написанная мной в соавторстве с моим другом, доктором физико-математических наук Владимиром Моисеевичем Кошкиным. Мне не терпелось узнать мнение Михаила Леоновича об этой нетривиальной работе, и я, не дожидаясь выхода в свет номера, где она была опубликована, ознакомил его с ее текстом. Он отозвался письмом, кажется, самым большим за без малого тридцать лет нашей переписки. Публикацию этого письма предворяю сокращенной версией нашей статьи.

«Психологическое состояние общества ощущается каждым его представителем. Интуитивно очевидной кажется и взаимосвязь между психологическим состоянием общества в целом и его экономическим статусом. Возможен ли объективный количественный анализ этих характеристик и их взаимного влияния? Исследования динамики экономического состояния общества проводятся весьма интенсивно в течение всего нынешнего века, и количественные параметры, прямо или косвенно характеризующие социально-экономический статус общества (национальный доход, интенсивность торговли, величина капиталовложений и пр.), достаточно хорошо апробированы. Еще в 1920-х годах этого века Н. Д. Кондратьев обнаружил, что экономический индекс претерпевает закономерные колебания с периодом, близким к 50 годам, в течение которого осуществляется полный цикл экономической конъюнктуры — от максимума через минимум до нового максимума. История сохранила цифры, которые могут составить основу для экономической статистики, и это позволило С. Ю. Маслову проследить ретроспективно на несколько веков в прошлое существование 50-летних циклов¹⁰³, что подтверждает открытие Н. Д. Кондратьева.

Есть ли надежды дать подобную количественную характеристику психологического статуса социума? Разумеется, сегодня есть возможность провести тестовый социологический анализ населения и получить такие оценки. Но можно ли получить информацию

¹⁰³ См.: Маслов С. Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика: сб. науч. ст. М., 1983. Вып. 20. С. 3–31.

о психологическом состоянии общества в прошлом, когда тестирование как метод исследования исключается?

Мы располагаем свидетельствами времен и эпох, пришедшими к нам в первозданном виде, и их анализ может дать характеристику психологического состояния общества. Эти свидетельства — художественное наследие (литературное, музыкальное, изобразительное) — материализованные результаты творчества представителей того или иного социума. Если считать, что творцы являются представительной выборкой нации (социума), и полагать, что в творческих результатах проявляются психологические черты творца, то можно надеяться на основании анализа этих результатов получить характеристику психологии нации на соответствующем этапе ее истории.

Мы сделали попытку осуществить эту программу на материале русских поэтов и дать количественную оценку их психологической доминанты в шкале экстраверт — интроверт. Количественные параметры психологии творческих личностей могли бы быть выведены на основе метода экспертных оценок. Такова процедура исчисления результатов в фигурном катании, конкурсах музыкантов или в популярных играх Клуба веселых и находчивых...

Итак, исходя из признания того, что художественное творчество отражает психологическую индивидуальность творца и дает достаточные основания для суждения о ней, мы предложили экспертам — специалистам по истории русской литературы (Е. А. Андрущенко, З. В. Кирилук, С. И. Кормилов, И. Я. Лосиевский, В. Г. Маранцман, Р. Г. Назарьян, В. А. Сапогов, И. В. Фоменко и др.) — дать, исходя из своих представлений о творческом наследии, оценку меры интровертивности поэтов, действовавших в русской литературе на протяжении без малого 130 лет (1789–1917). Был составлен список поэтов, творчество которых полностью или частично приходится на указанный отрезок времени. В него вошли имена всех поэтов, которым посвящены статьи в “Краткой литературной энциклопедии”, а также поэты, которые не включены в это издание, но упоминались в рецензиях на него как необоснованно пропущенные. Их общее число составили 372 имени.

Период с 1789-го по 1917-й год был разделен на пятилетия, точнее, первый отрезок времени составлял два года (1789–1790), затем 25 пятилетних отрезков (1791–1795, 1796–1800, 1801–1805...1911–1915) и еще один двухлетний (1916–1917). Было установлено, в ка-

кие годы каждый из подвергаемых анализу поэтов писал стихи, и, если его творчество приходилось хотя бы на один год того или иного пятилетия, оно целиком рассматривалось как время его поэтического творчества.

В контексте данного исследования десятибалльная шкала интроверт — экстраверт предлагалась экспертам без априорного указания ее крайних точек на основе только следующих дефиниций: интроверт — поэт, творческий процесс которого обращен преимущественно на себя, направлен на самопознание, самовыражение; экстраверт — поэт, творческий процесс которого обращен вовне, для которого главным является воздействие на окружающий мир, его изменение и т. п. Поэт, интровертичность которого оценена, например, в 6 баллов, является экстравертом с баллом 4. Понятно, что каждый эксперт мог оценить творчество лишь тех поэтов, которые ему достаточно хорошо известны. Большинство экспертов дало оценки 100–120 поэтам. В целом экспертами было оценено 308 из 372 поэтов. Из 308 поэтов 181 был аттестован не менее, чем тремя экспертами.

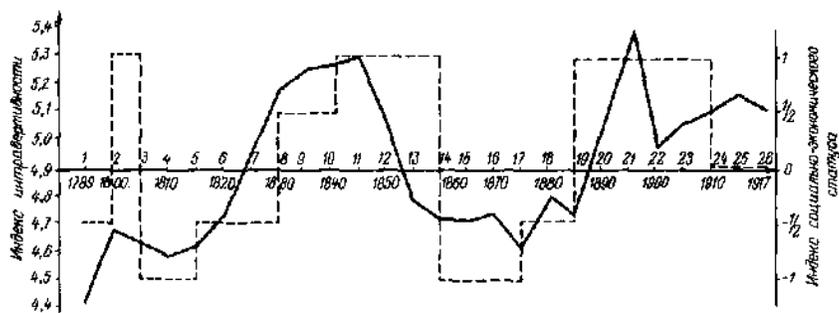
Первая цифра, следующая за фамилией поэта, обозначает число экспертов, давших оценку меры интровертичности поэта, вторая колонка — средний балл его интровертичности. Уже первый взгляд на таблицу — еще до какой-либо обработки ее результата — позволяет сделать весьма определенный вывод о том, что среди выраженных интровертов значительно больше крупных поэтов, чем среди экстравертов. Если в качестве меры известности поэта принять число оценивших его экспертов, то мы увидим, что 25 “интровертов” получили 225 оценок, то есть каждый из них оценен в среднем 9 экспертами, а 25 “экстравертов” получили лишь 110 оценок, в среднем — 4,4. Означает ли это бóльшую априорную предрасположенность интровертов к поэтическому творчеству? Мы еще вернемся к обсуждению этого вопроса.

Для двух массивов данных (308 и 181) были построены частотные распределения по баллу интровертичности по всей “популяции” поэтов. Оба распределения оказались соответствующими нормальному (с квадратом дисперсии 1,71 и 3,1 и средним глобальным значением интровертичности 5,0 и 5,0 соответственно). Нормальный характер распределений свидетельствует об их устойчивости.

Определив среднее значение интровертичности для поэтов, действовавших на протяжении каждого данного пятилетия,

и построив зависимость этой величины от времени (см. график, кривая 1), мы обнаружили, что указанный параметр достаточно хорошо вписывается в период 50–60 лет. Отдавая себе отчет в том, что экспертные оценки творчества даны с известной долей неопределенности, факт периодического изменения психологической доминанты во времени представляется нетривиальным.

Кривая 2 графика характеризует “социально-экономический статус” русского общества. Она отражает данные, заимствованные из упоминавшейся работы С. Ю. Маслова. Как свидетельствует график, колебания кривых в целом совпадают.



Зависимость индекса интровертированности русских поэтов от социально-экономических процессов в стране.

— кривая интровертированности русских поэтов;

— — — — — кривая социально-экономического статуса (по С. Ю. Маслову).

Таким образом, очевидно, что психологические характеристики поэтов и населения коррелируют с социально-экономическим состоянием общества и испытывают синхронные колебания с периодом, близким к 50–60 годам. Связь проявлений культуры с экономическим индексом была отмечена еще в работе С. Ю. Маслова при исследовании эволюции архитектурных стилей в России, а затем О. Н. Даниловой и В. М. Петровым в их статье “Периодические процессы в музыкальном творчестве”¹⁰⁴. Обнаруженные нами пики интровертированности русских поэтов совпадают с пиками “синтетического характера мышления”, проявляющегося (в интерпретации С. Ю. Маслова) в преобладании элементов барокко над элементами классицизма в архитектуре и (в интерпретации О. Н. Данило-

¹⁰⁴ Данилова О. Н., Петров В. М. Периодические процессы в музыкальном творчестве // Природа, 1988. № 10. С. 54–59.

вой и В. М. Петрова) в положительном значении так называемого индекса асимметрии.

Таким образом, взаимосвязь между смысловым содержанием и эмоциональной тональностью литературных произведений, с одной стороны, и социальной ситуацией, изменениями, происходящими в обществе — с другой, можно считать доказанной количественно. Это и позволяет видеть в данной работе опыт литературометрического исследования.

Статистическая литературометрия позволяет проследить ход литературного процесса в его связях с эволюцией социума. Переход от характеристик типа “поэт крестьянской демократии”, “выразитель настроений патриархального дворянства”, “лучший, талантливейший поэт эпохи” и т. п. к количественным статистическим оценкам может, вероятно, послужить инструментом литературоведческих исследований совершенно нового типа. Возможно, что статистическая литературометрия будет полезна как метод ретроспективного социологического анализа.

Мы сделали попытку показать возможности статистической литературометрии на примере исследований взаимосвязи поэт — социум. Этот опыт дает не так много ответов, однако позволяет сформулировать ряд достаточно нетривиальных вопросов, ответы на которые могут быть получены с помощью предложенного метода. Вот некоторые из них.

Не откроется ли на пути литературометрии или искусствометрии возможность получить сравнительные параметры психологических особенностей нации в целом? Разумеется, не только в шкале интровертированность — экстравертированность. Оценка русских поэтов экспертами, живущими в России, дала оценку, тяготеющую к середине шкалы. Появится ли сдвиг при подобной оценке русских поэтов экспертами, воспитанными в другой культуре? Чрезвычайно интересна такая же оценка нерусских поэтов. Обнаружится ли изменение ширины распределения и его средних значений? Может быть, статистическая литературометрия даст возможность количественно определить особенности не только национальных литератур, но и национальных характеров?

Что первично в доказанной теперь взаимной связи проявлений культуры и экономики? Общество отбирает своих глашатаев, или пророки ведут общество за собой? Бытие определяет культуру или изменения в характере мышления определяют социальное бытие?

Или и то, и другое определяется неким третьим, “неопознанным” фактором? Что означает синхронность колебаний архитектурных стилей в Западной Европе и в России, ведь социально-экономическая ситуация в этих двух регионах существенно различалась? Может быть, десятилетие — достаточно большой срок для обмена и усреднения общественно-значимой информации между странами? Не обнаружится ли корреляция 50-летних циклов интровертивности с известными одиннадцатилетними солнечными циклами А. Л. Чижевского?

Психологическая обращенность на себя свойственна поэтам (и народу) в периоды реакции и стагнации. В такие моменты обычно начинается поиск новой парадигмы, поскольку старая себя исчерпала. Качественная экстраполяция кривых 1 и 2 с периодом в 50–60 лет дает оценку времени наступления пиков интровертивности у населения России в 1945–55-е и в 2000–10-е годы, экстравертивность же должна достигать максимума в 1925–35-е и 1980–90-е годы.

Разумеется, этим футурологическим экстраполяциям не следует придавать “судьбоносного” значения, не говоря уже о том, что они могут быть уточнены исследованием поэтов эпохи 1917–1990 годов. Но реакция конца 1940-х — начала 1950-х годов, так же, как всеобщий “трудолюбивый энтузиазм” первых пятилеток (конец 1920-х — начало 1930-х годов) и, наконец, всепоглощающая экстравертивность конца 80-х годов XX века настолько очевидно близки к предсказываемым эффектам нашего времени, что политическая перспектива начала XXI века несколько тревожит»¹⁰⁵.

Вот ответ Гаспарова:

Дорогой Леонид Генрихович,

статья исключительно интересная, и методика очень перспективная. Я думаю, примеры использования такой «искусствоведческой» можно умножить: я, никогда не занимаясь этим специально, когда-то наткнулся в английском журнале, 1940–60-х годов, не помню каком: по портретам, модным картинкам и пр. прослеживалась пропорция высоты и ширины силуэта одежды за XVII–XX веков, и обнаружилась волнообразная кривая их изменений. Простите, что не могу подсказать никаких библиографических направлений.

¹⁰⁵ Человек. 1991. № 3. С. 79–82.

Но, чтобы убедить в этом наших публикаторов, понадобится очень много пота. Попробую предугадать некоторые из возможных сомнений.

1. Работы Маслова я не читал. Публикация ее малодоступна — наверное, желательно ее пересказать. Дело в том, что всякая попытка свести разнородные и разноплановые показатели — экономические или иные — к одному знаменателю, как бы к отметке по пятибалльной системе, всегда подозрительна; у нас в литературоведении именно за это критиковал Андрея Белого Томашевский. А если у читателя возникнут подозрения насчет кривой Маслова, то рухнет и убедительность сопоставления вашей кривой с масловской.

2. Экспертные оценки — очень рискованное дело. Хорошо, что Вы в конце перечисляете экспертов поименно, но ведь девяти читателям из десяти эти имена ничего не скажут. Как правило, такие оценки дают скорее социально-вкусовую характеристику коллегии экспертов (драгоценную, конечно), нежели оцениваемого материала. Поэтому нужно отступление о каких-то индивидуальных особенностях экспертов А, Б, В и т. д. (конечно, не называя имен): скажем, как они оценивали такой-то десяток самых знаменитых поэтов. Фонетисты так делают, давая материал разных дикторов.

3. Это связано с тем, что опубликованные средние результаты могут кое-где вызвать удивление. Например, весьма высокий показатель интровертности Пастернака и Бунина. Не может ли быть так, что подсознательно (или даже сознательно) для нас «интровертный» априори значит «хороший» и наоборот? И не объясняет ли это без дальних сложностей расположение «крупных» и «некрупных» по началу и к концу списка? Какой здесь возможен и желателен контроль — вообразить пока не могу. Попутно: начало и конец списка, конечно, очень ярки, но любой читатель законно полюбопытствует: а Пушкин? а Маяковский? По ним и, наверное, по некоторым другим большим именам надо бы сообщить баллы в дополнение к таблице.

4. Ясность представлений любого эксперта «по 100–120 поэтам» не может быть одинакова: всякий из нас представляет себе Жуковского лучше, чем Ломана. Для надежности эксперимента следовало бы предложить экспертам, прежде чем давать ответы, перечитать какой-то (единый для всех) список рекомендуемых стихотворений каждого автора. Разумеется, не вменяя им в обязанность ограничивать свою характеристику только этими

стихотворениями. Кстати, для некоторых авторов (по усмотрению экспериментаторов) можно было бы сделать разные списки по ранним и поздним стихам. Ранний Тютчев, философский, интровертен, а поздний, политический, экстравертен: что мы склонны о втором забывать, характеризует не Тютчева, а нас. А внося в характеристику 1860-х годов черты Тютчева 1830-х годов, не деформируем ли мы картину? Лебедев-Кумач до 1917 года, кажется, только переводчик Горация; неужели это экстравертичность?

5. Выведение средних — действие всегда рискованное, математики не раз критиковали за это нас, стиховедов. Есть способы учета разброса составляющих и подсчета доверительного интервала возможных отклонений; я иногда ими пользовался, и это от многого предостерегало. Здесь, где одни средние выведены из трех, а другие — из двенадцати оценок, эта страховка необходима. Показатели среднего балла в последнем столбце должны иметь вид «столько-то плюс-минус столько-то», иначе математики нас в порошок сотрут.

(З-а. Перечитал стр. 4: если приметой экстравертичности считать «воздействие на окружающий мир», то, конечно, Пастернак — интроверт. А если просто «внимание к окружающему миру, преклонение перед ним»? Какое определение правильнее с точки зрения психологов? Считая Пушкина бóльшим экстравертом, чем Фет, считаем ли мы, что он активнее стремился воздействовать на окружающий мир? Для полного параллелизма надо было бы тогда и интроверта определять как «воздействителя на собственный внутренний мир», а это, наверно, сильно смутило бы картину. И: задавались ли экспертам эти определения интро- и экстравертности со стр. 4? Из статьи это неясно.

6. Для времени после 1917-го убедительнее было бы не заниматься экстраполяциями, а просто продолжить обследование. Я не очень уверен, что поздние и послесталинская публицистика 1945–1955 годов дадут «пик интравертичности», а нынешний, с колыбели утомленный авангард 1980-х — «пик экстравертичности». Может быть, для каждого периода раздельно подсчитать авторов «старших поколений» и «младших поколений» (я так однажды делал, и это помогло)? Точно так же и обследование XVIII века (захватывающее и начало XIX), боюсь, даст сбой 50-летних циклов.

7. Перспективы дальнейших вопросов и ответов очень увлекательны. Я бы посоветовал лишь одну осторожность формулировки: лучше сказать «можно будет разделить переменный фактор

влияния эпох интернациональной европейской культуры и постоянный вектор национальной специфики русской культуры» и более не употреблять опасных слов «народ» и «нация». Слишком это большое место.

Кажется, я раскритиковал почти все. Поверьте, это не из предубеждения, а наоборот, из величайшего интереса к тому, что Вы делаете. Позвольте мне не тратить слов, чтобы в этом убеждать: Вы ведь, Леонид Генрихович, знаете меня достаточно. Ваша статья была мне самым дорогим предновогодним подарком (поэтому и не возвращаю ее; но если нужно, вышлю). Это тем приятнее для меня, что сегодня я узнал, что со мной случился реприманд неожиданный: по инициативе Лихачева меня выбрали в членкоры, и я чувствую себя как старый сановник, за совершенной бесперспективностью назначенный в члены Государственного совета. Принимаю соболезнования. Не подумайте, что рисуюсь: этот год по разным неуважительным причинам был у меня трудным и бесплодным (несмотря на уход в Ин-т рус. языка), а наступающий, говорят, будет для всех трудным, если не хуже. Пожелаем друг другу преодолеть его.

Любящий Вас М. Г.
15 декабря 1990 г.

К сказанному можно лишь добавить, что вдохновленные напутствием Гаспарова авторы продолжили начатые эксперименты. Наиболее существенные результаты отражены в статьях «Исчисления души, или Коллективный анализ как метод литературоведения»¹⁰⁶ и «Вероятностный мир лирики»¹⁰⁷.

В 2001 году я опубликовал статью «Античность в “Евгении Онегине”». Должен признаться, что это было мое первое обращение к античности, которой я прежде ни разу не касался, и понятен тот трепет, с которым я представлял свою работу на суд самого Гаспарова.

Вот несколько фрагментов из этой работы, вызвавших его возражения:

«Читал охотно Апулея, А Цицерона не читал.

¹⁰⁶ Вопросы литературы. 1995. Вып. 5. С. 91–103.

¹⁰⁷ Кентавристика. Опыт сочетания несочетаемого. Вестник РГГУ, 1996. № 1. С. 127–138.

Мысль, заложенная в это противопоставление, не вызывает сомнений: читал развлекательную литературу, предпочитая ее серьезным авторам, причем данные имена были не обязательными и могли заменяться другими. В беловых и черновых автографах обнаруживаются такие редакции:

Читал украдкой Апулея,
А над Вергилием зевал.

Читал охотно Елисея,
А Цицерона проклинал.

Среди других опробованных Пушкиным вариантов: “Бранил Вергиля, Феокрита”, “Бранил Биона, Феокрита”, “Бранил Тибулла, Феокрита”, “Не мог он Тацита <понять>”, “Не мог он Ливия <понять>”, “Не мог он Федра понимать”. Наличие в этих перечнях Вергилия, Биона, Тибулла, Феокрита естественно: никого из названных литераторов Пушкин особенно не жаловал. Но то, что в одном ряду с Тацитом и Ливием фигурирует Федр, представляет значительный интерес. Дело в том, что это едва ли не единственное пушкинское упоминание имени латинского баснописца. Мы знаем, что в библиотеке Пушкина был сборник басен Федре в русских переводах, но об отношении к нему поэта ничего не известно.

Легкость, с которой менялись имена разных литераторов, показывает, что их индивидуальность была Пушкину безразлична. Они служили указанием на принадлежность к известному типу литературы. С другой стороны, как полагал Д. П. Якубович, это и одна из черт образа Онегина: амплитуда называемых имен характерна как уровень, о котором свободно болтает любой денди, но и только.

Некоторые упоминания античных деятелей в романе побуждают задаться вопросом: чье отношение в них выражено — пушкинское или онегинское. Таковы, например, стихи о “науке страсти нежной, / Которую воспел Назон...”. Ю. М. Лотман считал, что упоминание непристойной дидактической поэмы Овидия “Наука любви» «резко снижает характер любовных увлечений Онегина”. Аналогичной точки зрения придерживался Ю. П. Суздальский. “В лицейской лирике, — писал он, — имя Овидия было символом легкой эротической поэзии... Поэтому, рисуя светскую жизнь Онегина, Пушкин употребляет имя Назона в том же символическом

его значении”. Но элегическая тональность двух следующих стихов: “За что страдальцем кончил он / Свой век блестящий и мятежный” — иного происхождения. В нем характерные для Пушкина периода южной ссылки сопереживание судьбы Овидия, параллели между его участью и своей собственной. В декабре 1821 года было написано центральное произведение Овидиева цикла — послание “К Овидию”, — а менее чем через полтора года началась работа над “Евгением Онегиным”.

Вопрос о соотношении онегинского и пушкинского возникает и в связи с упоминанием Ювенала. По мнению Ю. М. Лотмана, “соединение имени Ювенала с небрежным «потолковать» и общий контекст рассуждения о слабом знании Онегиным латыни придают онегинским разговорам о Ювенале ироническую окраску, отделяя от аналогичных бесед декабристов”. К кому же относится пушкинская ирония: к Ювеналу или к Онегину? С 1816 года, когда в одном из первых дошедших до нас писем поэта он упомянул “гневную музу Ювенала”, до 1836-го, когда он писал о “Ювенальном негодовании” в одной из своих последних статей, его отношение к римскому сатирику было неизменно уважительным. Знаменитые строки “Не нужно мне гремющей лиры, / Вручи мне Ювеналов бич!” появились примерно тогда же, когда началась работа над “Евгением Онегиным”.

Н. Л. Бродский вообще не усматривал в этих словах иронии. «Потолковать о Ювенале, — писал он, — значило коснуться общественных язв, политического режима, беседовать о «гнете власти роковой», о «тиране», о «холопах венчанного солдата» и пр. Разумеется, Онегин мог толковать на подобные темы только в каком-либо кружке идейных друзей... Равнодушный к формальным элементам искусства, глухой к спорам о «звуках», Онегин предпочитал беседы на другие темы, он вступал в горячие «мужественные» споры

О Мирабо, об Мармонтеле,
О карбонарах, о Парни,
О Бейроне и Бенжамене,
Об генерале Жомини.

Пушкин изъясил из окончательного текста эти стихи, но тот факт, что в вариантах к V строфе Онегин был представлен с подобного рода интересами — надо считать показательным”.

На наш взгляд, Н. Л. Бродский впадает здесь в противоположную крайность, удаляясь от истины в еще большей степени, чем Ю. М. Лотман. Если факт, что эти темы входили в круг интересов Онегина, показателен, то разве не показательно, что приведенная строфа оказалась исключена из окончательного текста? Хотя перечень этих писателей действительно “почти полностью входил в программу чтения либеральных молодых людей 1819–1820 годов”, имен, не приемлемых для цензуры, среди них нет, и вероятно предположить, что Пушкин в итоге пришел к выводу, что участие в этих “мужественных” спорах не соответствует облику молодого Онегина. В глаголе “потолковать” присутствует несомненный пренебрежительный оттенок, и все говорит о том, что адресован он не Ювеналу, а Онегину. Герой романа поверхностно знаком с римским сатириком, не намного лучше, чем с “Энеидой”, из которой помнил два стиха, и на большее, чем “потолковать” о нем, не способен.

Комментируя седьмую строфу первой главы: “Бранил Гомера, Феокрита...”, В. В. Набоков задавался вопросом: “Что у Гомера и Феокрита вызвало недовольство Онегина? Мы можем предположить, что Феокрита он бранил как слишком «сладкого», а Гомера — как «чрезмерного»”. Предположить можно все, что угодно, ибо мы обречены здесь остаться на уровне догадок. Если же говорить об отношении к Гомеру и Феокриту не Онегина, а Пушкина, то наиболее красноречиво само сопоставление этих двух имен. Гомер — один из кумиров Пушкина, предмет его неизменного восхищения. Его имя упоминается им десятки раз, и отношение к нему фокусируется в самом “Евгении Онегине”: “Как ты, божественный Омир, Ты, тридцати веков кумир!”

Совсем иное дело — Феокрит. Он интересовал Пушкина мало, упоминался им лишь несколько раз, а в письмах единожды — в черновике письма к Вяземскому, причем, насколько можно судить по контексту, он ставит в вину Андре Шенье его подражание Феокриту, а восклицание: “Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?” — выражает восхищение не столько греческим поэтом, сколько Дельвигом, сумевшим возрастить в суровой России столь не привычные к ней греческие цветы. И то, что Пушкин был знаком с Феокритом по плохим французским переводам, и то, что его подражатели в XVIII веке культивировали далекую от действительности, чувствительно-слащавую буколи-

ческую поэзию, не могло увеличить симпатии Пушкина к греческому лирику»¹⁰⁸.

И вот ответ Гаспарова:

Дорогой Леонид Генрихович, мне хочется заступиться за Овидия: Вы несправедливо вслед за Лотманом называете «Науку любви» «непристойной». Вы ведь ее читали и знаете — по ней можно было научиться «разуверять, заставить верить» и т. д., по безукоризненному пушкинскому раскрытию, но не более того. Пушкин говорит: «Это у Онегина была не любовь, а игра в любовь». Снижение само собой разумеющееся, но не такое уж резкое. Упоминание Федра однозначно: Федр — очень простой автор. Это первый поэт, которого читают начинающие учиться латыни; не понять Федра — значит совсем не знать латыни, т. е. тогда из «Энеиды» Онегин не знал бы и двух строк; за эту натяжку вариант и был отброшен. Ливий и Тацит — другое дело, их Онегин (как и Пушкин) читал только по изданиям с паралл. французским переводом. Пренебрежение Пушкина к Феокриту у Вас, может быть, преувеличено — как и преклонение перед Гомером: «Омир-кумир» в «Онегине» стоит в слишком явном ироническом контексте. Наверное, самое большее, что можно сказать о строчке «Бранил Гомера, Феокрита», — это «бравировал равнодушием к кумирам и классицистических дедов, и сентименталистских отцов, а вместо этого держался последней моды самой высоколобой молодежи с ее Адамом Смитом»: видно, как Пушкин ощупью ищет подходящий ему уровень поверхностности Онегина. Насчет Ювенала я согласен с Вами и Лотманом; знаете ли Вы перевод Ю. Тувима, где Онегин чуть серьезнее: «Porówniać Plauta z Juvenalem, Dokończyć list klasycznym vale'm...»? Спасибо Вам за Вашу статью — Вы даже не написали, из какого сборника этот ксерокс. Простите за промедление с ответом — я только в Новый год вернулся из командировки, где писал совместный с О. Роненом комментарий к Мандельштаму. Боюсь, что больше меня врачи уже не выпустят. Доброго Вам здоровья, сил и времени в Новом Году!

Неизменно любящий Вас М. Г.

¹⁰⁸ Крымский пушкинский научный сборник. Вып. 1 (10). Симферополь, 2001. С. 65–73.

После всего сказанного, надеюсь, должно быть понятно, почему, получив от моего «обманчивого коллеги» письмо, в котором он советовался со мной относительно своего замысла «начать новую науку», я испытал восхищение, но не удивление. Это письмо представляет собой, по моему убеждению, документ настолько значительный, что ему не следует оставаться лишь достоянием моего архива.

Вот это письмо.

4 ноября 2002 г.

Дорогой Леонид Генрихович, посылаю Вам эти три страницы как главному человеку по русской элегии — с чувством вины и тревоги. Сочинились они не совсем ожидажно для меня. Когда-то я стал упражняться в сокращенных, конспективных переводах лирики — главным образом на материале французских символистов, отбрасывая то, что мне казалось риторическими длиннотами и балластом. Мне хотелось сделать то же, что Пушкин делал, переводя Вильсона и сокращая на ходу его чумную сцену почти в два раза. Это было напечатано в книжке «Записи и выписки» 2000 года — мне кажется, я ее Вам послал. Там же были вставлены в статью, с извинением перед русской поэзией, сделанные таким же образом три конспективных переложения верлибром из Лермонтова, Баратынского и Гнедича. Сейчас одно ленинградское издательство попросило меня собрать книжку «Экспериментальные переводы». Для нее я сделал еще семь таких переложений: получившийся десяток составил там раздел с предисловием. Его-то я Вам и посылаю. Помогите мне понять, как воспринимается и может быть названо то, что я сделал: «переложение»? «стилизация»? «по мотивам»? Или это уже не имеет никакого отношения к оригиналам? Когда я гляжу на получившееся, то мне душевно очень нехорошо — Вы меня поймете: собственно, этим я признаюсь, что в элегиях пушкинского времени я активно воспринимаю только четверть текста, а остальное для меня балласт, для восприятия которого я должен произвести, хотя бы в голове, некоторую научную работу. Головой я это понимал и раньше и писал об этом не раз, но тут почувствовал это более внутренне, и это было очень неприятно. Я подумал: собственно, то, что я сделал, это демонстрация модного понятия — читательского сотворчества. На меня эта демонстрация произвела более удручающее впечатление даже, чем я думал раньше. Вы работаете с элегиями всю жизнь. Вы прошли все ступени восприятия их

и умом, и сердцем — если в Вашем опыте есть что-то подобное моему самопроверяемому отношению к ним, скажите мне, пожалуйста.

Вот и все. Жизнь у меня без перемен; два года назад мне делали неожиданно тяжелую внутриутробную операцию, но осложнений не было, врачи мною довольны. Служу в Институте русского языка и на полставки в маленьком и очень ученом Институте высших гуманитарных исследований при РГГУ. Главной моей заботой считается новая наука «лингвистика стиха»: в этом году мы с моей ученицей должны сдать по ней маленький сборник статей, а через год — большой, притворяющийся монографией. У С. Заяицкого в каком-то предисловии рассказчик говорит: есть науки исчерпаемые, как физиология, а есть неисчерпаемые, как психология. Один знакомый начал изучать физиологию, но не рассчитал темпов и к 45 годам изучил до конца. Очень был недоволен: в физиологии ничего не осталось, а новую науку начинать уже времени нет; так и кончил жизнь, занимаясь рыбной ловлей. Так как к рыбной ловле я не приспособлен, то пришлось начать новую науку, хорошо чувствуя, что кончить ее мне не придется, поэтому чувствую некоторый душевный дискомфорт. Кроме того, продолжаю комментарии к Мандельштаму, кроме того, числю за собой некоторые античные долги, и вот, как видите, еще и «экспериментальные переводы», хотя чувствую, что переводить я уже разучился. Словом, все как всегда.

Очень хочется надеяться, что Вы в добром здравии — насколько это возможно в нашем возрасте. Самые сердечные Вам благопожелания.

Душевно Ваш М. Г.
4 ноября 2002 г.

Элегии. 1

Это переводы с русского на русский. Когда-то мне пришлось написать статью о композиции элегий пушкинского времени. Это оказалось очень трудно по неожиданной причине. Я перечитывал по многу раз давно знакомые стихи и ловил себя на том, что, дочитав до середины страницы, не могу вспомнить, о чем была речь в начале: стихи были так плавны и благозвучны, что убаюкивали сознание. Чтобы удержать их в уме, я стал, читая, пересказывать их про себя верлибром. Верлибр не заглушал, а подчеркивал содержание: можно стало

запомнить последовательность тем и представить себе план лирического стихотворения. Когда через много лет я задумался о возможности конспективных переводов, я вспомнил это мысленное упражнение и попробовал сделать его письменно. Пусть это не покажется только литературным хулиганством. Во-первых, мне хотелось проверить: что остается от стихотворения, если вычесть из него то, что называется «музыкой»? Мы читаем мировую поэзию в переводах, о которых нас честно предупреждают, что передать музыку подлинника они бессильны; как относится то, что мы читаем, к тому, что было написано на самом деле? Вот так, как предлагаемые стихотворения к тем, которые мы читаем в собраниях сочинений русских романтиков. Во-вторых, мне хотелось дать себе отчет: что я сохраняю из подлинника XIX века, что мне кажется художественно живым и выразительным, а что — вялым, многословным и надоевшим? Мы любим притворяться, что нам близко и дорого все, все, все, — а на самом деле? Нам говорят: переводы нужно делать так, чтобы они вызывали у нас те же художественные эмоции, какие оригинал вызывал у первых читателей оригинала. Я попробовал придать этому переложению такую степень формальной новизны, какую, по моему представлению, имели романтические элегии для первых читателей. Я получил картину своего художественного вкуса: как мало я вмещаю из того, что мне оставлено поэтами, как много искажаю от себя. Картина эта мне показалась очень непривлекательной, и мне это было полезно: как будто я медик и испытываю на себе опасное лекарство. Было бы интересно сверить эту картину вкуса с картиной вкуса моих близких и решить, что здесь от общего нашего времени, а что от моей личной душевной кривизны. При всех сделанных сокращениях я ничего не вносил от себя и пытался сохранить стиль подлинника — настолько, насколько я им владел. Я даже старался почти в каждом переводе сохранить дословно строку или полторы из подлинника — чтобы легче было сравнивать. Заглавия этих стихотворений в подлинниках — «Мечта», «Вольное подражание св. Григорию Назианзину», «Вечер», «Любовь одна...», «Поверь, мой милый друг...», «Осень», «Гебеджинские развалины», «Гений», «К моему гению», «Уныние», «Элегия». Цифры на полях, как везде, показывают, сколько строчек получилось из скольких.

Не считаю необходимым приводить тексты перечисленных «сокращенных» элегий, т. к. идея Гаспарова понятна и без этого.

Я, конечно, знал, что у него проблемы со здоровьем. Но знал и то, что он ложится в больницу не всегда для лечения, а иногда для того, чтобы работать там без помех. Каким фанатичным тружеником он был, общеизвестно. Когда 13 апреля 2005 года я поздравил его с 70-летием, а он не ответил, я не встревожился. Но когда 24 сентября не получил поздравления по аналогичному поводу, заподозрил, что что-то не ладно. И, увы, чутье меня не подвело: жить ему оставалось меньше двух месяцев.

О писательской критике и Иване Франко

Однажды я пришел побеседовать с моим старшим другом Марком Владимировичем Черняковым. Я считаю его своим учителем, но не потому, что он меня много учил, а потому, что я многому у него научился. Дело было в мои студенческие годы или чуть позже, когда я постоянно размышлял о направлениях своей будущей деятельности. Когда он услышал сказанные мной слова «писательская критика», то весь встрепенулся и прервал меня восклицанием: «Лесик! Не говорите больше ни слова!». Это значило: да, конечно! я сам об этом думал! мне не нужно объяснять перспективность этой идеи!

Я тоже об этом думал и пришел к Марку Владимировичу с результатами своих размышлений. У меня не вызывало сомнения, что писательская критика — особый эстетический феномен, и ее особенность состоит в том, что она вводит нас в мир творческих принципов, художественного своеобразия, эстетических позиций не только и не столько того автора, которого критикуют, сколько того, который критикует. Б. Ф. Егоров видел в ней не более и не менее, чем «творческую лабораторию писателя», Н. Ф. Бельчиков — «важный материал для понимания его художественных творений», другие авторы — «творческое самосознание», «форму творческого самосознания и самоконтроля» и т. п.

Писатель-критик всегда судит других писателей по законам, признанным им для собственного творчества. Поэтому писательская критика — это нескончаемая смесь прозрений и заблуждений, причем заблуждения характеризуют автора не менее выразительно, чем прозрения.

Пушкин, расхвалив некоторые частности в «Горе от ума», в целом дал бессмертному творению Грибоедова отрицательную и совершенно ошибочную оценку: он не увидел «во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины»¹⁰⁹. Иначе и быть не могло, если мы вспомним, что именно в это время в мозгу самого Пушкина созрел замысел «Бориса Годунова». Еще резче был позднейший отзыв: «“Горе от ума” есть уже картина обветшала, печальный анахронизм»¹¹⁰.

¹⁰⁹ Письмо П. А. Вяземскому от 28 января 1825 г. // А. С. Пушкин о литературе. М.: Гослитиздат, 1962. С. 78.

¹¹⁰ Путешествие из Москвы в Петербург // А. С. Пушкин о литературе. С. 337.

В аналогичное положение поставил себя Достоевский, находивший в «Евгении Онегине» свою проблематику и своих героев. «А разве может человек основывать свое счастье на несчастье другого», — определяет он основной вопрос романа Пушкина. Но ведь это проблема, поставленная в собственных произведениях Достоевского! Иван Карамазов «возвращает билет» в «высшую гармонию совершенства», потому что она окупается слезинкой замученного ребенка. Путешествовавшего по России Онегина Достоевский отправляет в скитания «по землям иностранным», а Алеко попадает в ряд социалистов, набравшихся идей на Западе. Мужа Татьяны, который был, как явствует из пушкинского текста, сверстником Онегина, критик превращает в старика, причем не просто в старика, а именно в старика Достоевского («честный старик», «обесчещенный старик», «старый муж», «муж молодой жены, в любовь которой он верит слепо»).

«Купил я в Вашем магазине Достоевского, — пишет Чехов Суворину, — и теперь читаю. Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий»¹¹¹. Ничего не дающая для понимания Достоевского, эта оценка открывает нам Чехова. Критикуя (пусть и несправедливо) чужое, Чехов отстаивает свое, обосновывает собственные творческие принципы. «Длинному» противопоставляется краткость, нескромности — сдержанность, претензиям — безыскусность.

Для автора этих строк специфика писательской критики была предметом напряженного интереса на протяжении многих лет. В соавторстве с одной из моих любимых учениц Яной Романцовой я написал книгу о Твардовском как литературном критике, одна из главных задач которой виделась нам именно в выявлении этой специфики. Среди выводов, к которым мы пришли, есть и такой: «Литературно-критическая деятельность Твардовского — интересный и показательный образец именно писательской критики со всеми ее преимуществами и издержками. В ней присутствует значительный элемент субъективизма, она не свободна от пристрастных, а порой и ошибочных суждений, которые более характеризуют самого Твардовского, чем занимающий его предмет. Но не раз бывало и так, что поэт как бы “помогал” критику, собственный творческий опыт позволял глубже подойти к оценке чужого, постичь секреты художественной выразительности и поэтического мастерства.

¹¹¹ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Т. XIV, Письма. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1949. С. 323.

Прослеживается постоянная связь между суждениями в статьях и письмах Твардовского и его собственным творчеством»¹¹².

Писателям как критикам я посвятил немало и других работ. Мои ученики защищали диссертации о литературно-критическом творчестве Державина и Короленко. Был период, когда увлеченность этой проблематикой в известной мере заполнила мою жизнь. Расскажу об этом подробнее, потому что это не только эпизод моей биографии, но и страница истории нашей литературной науки.



Б. Л. Мильявский

В середине 80-х нашелся человек, который разделял мой интерес к писательской критике как специфическому явлению, заслуживающему внимания и пристального изучения. Это был Борис Львович Мильявский, в то время заведовавший кафедрой литературы в Душанбинском университете. Мы затеяли обширную программу действий, включавшую организацию серии представительных конференций с последующей публикацией их материалов, популяризацию соответствующих тем, предлагаемых аспирантам, и т. п.

Наши обязанности распределились удачно. Борис Львович был *persona grata* в Таджикистане, пользовался симпатией тамошних верхов и, получая щедрую финансовую поддержку, обеспечивал этому делу «крышу». А у меня был определенный авторитет в столичных литературоведческих кругах и возможность привлечь к этой затее именитых специалистов. Первая конференция, которую мы провели, увенчалась успехом, превзошедшим все ожидания. Правда, мы несколько перестраховались, побоялись, что, сразу выболтав сокровенные намерения и написав на своем знамени слова «писательская критика» (как мы это сделали в дальнейшем!), ограничим круг возможных участников конференции и подорвем ее представительность. Тема конференции была сформулирована так: «Проблемы истории и методологии литературоведения и литературной критики».

На нее съехался, можно сказать, цвет науки: М. Л. Гаспаров, У. А. Гуральник, М. М. Гиршман, А. Л. Жовтис, А. А. Жук, А. И. Жу-

¹¹² Фризман Л. Г., Романцова Я. В. Требовательная любовь. А. Т. Твардовский — литературный критик. Харьков: Новое слово, 2006. С. 147.

равлева, Л. А. Розанова, А. Л. Гришунин, Я. С. Билинкис, В. М. Маркович, М. Г. Соколянский, М. В. Строганов... А каков был резонанс! Как обижались не получившие приглашений! Когда у Ю. В. Стенника спросили, едет ли он в Душанбе, он сердито ответил: «Разве туда пробьешься? Фризман собрал там своих друзей!» И, надо признать, доля правды в этом была.

Из докладов, посвященных собственно писательской критике, наибольшее внимание привлекли два: «Маяковский — критик Блока», сделанный Б. Л. Милявским, и «Литературно-критические суждения Н. С. Лескова», с которым выступила харьковчанка О. В. Анкудинова. Милявский говорил о том, что глубоко знаменательной является именно неоднозначность и противоречивость отношения Маяковского к Блоку, выразившаяся в несовместимых, взаимоисключающих оценках, которые он давал Блоку и его творчеству. Эти оценки обусловлены противоречиями, которые существовали между художниками, представлявшими две поэтические эпохи. Сочетание несочетаемого в критике Маяковским творчества Блока, когда глубинные прозрения сосуществуют с непостижимыми, казалось бы, просчетами, представляет общий интерес и должно быть учтено в размышлениях об особенностях писательской критики. Феномен отношения Маяковского к Блоку подтверждает, что критическая деятельность писателя должна рассматриваться в связи с проблемами его собственного творчества.

О. В. Анкудинова также увидела в писательской критике органическую часть художественной целостности, называемой творчеством писателя. У Лескова это проявлялось, в частности, в том, что как критик он утверждал особую иерархию материала, признавая главенствующим достоверность и живописность событийно-психологического момента над рассудочностью логических постулатов. Присущая критическим выступлениям Лескова неразрывность рассуждений полемического, этико-философского типа и эстетического осмысления фактов действительности определила специфически лесковское отношение к литературным жанрам и определение своих произведений как «рассказ кстати», «пейзаж и жанр», «маленький фельетон», «наблюдения и заметки» и т. д. Возникает и особая композиционная структура критико-публицистических выступлений Лескова, в значительной степени близких его художественному повествованию.

Перекликались по подходам доклады Б. Бадалбаевой «М. Кольцов — теоретик сатиры» и Э. Обуховой «П. А. Вяземский — теоретик драмы». Обе докладчицы показали влияние на критические выступления писателей их собственного художественного опыта. Я. С. Билинкис в мемуарном докладе о толстовском семинаре Н. К. Гудзия в Московском университете с таким ораторским мастерством и энтузиазмом ввел присутствующих в исследовательскую и педагогическую лабораторию выдающегося ученого, что своеобразное «обсуждение» его выступления продолжилось и тогда, когда работа конференции сменилась застольем, и М. Г. Соколянский завершил свой эпиграмматический тост двустихием:

Ученый с темпераментом шайтана,
Билинкис был особенно любим!

Но дальнейшей реализации наших планов помешали непредвиденные обстоятельства. Назревали события, завершившиеся распадом Советского Союза и превращением мирного Таджикистана в поле военных действий, причем осложнение межнациональных отношений стало давать о себе знать задолго до того, как пар вырвался из котла.

Преодолевая все трудности, используя свой авторитет, организаторские данные и незаурядное личное обаяние, Милявский провел еще три конференции: «Писатели-критики» (1987), «Писатели как критики» (1990) и «Писатель — критик — писатель» (1992). Состав приезжих участников был поскромнее, чем на первой из них, но оставался довольно представительным, украшенным именами Н. А. Богомолова, В. Е. Хализева, С. И. Кормилова, А. И. Журавлевой, Ф. З. Кануновой, М. В. Михайловой, М. А. Тахо-Годи, М. Г. Соколянского, В. Б. Катаева, Б. А. Гиленсона, Д. А. Тухарели и др. Ездили и мои ученики, один из них — В. А. Режко — подарил мне сборник конференции 1992 года с надписью:

И на обломках СНГ,
Где нынче правит бал война,
Все пишут наши имена
Во славу Фризмана Л. Г.

В целом сохранились материалы более чем двухсот докладов, и накопленный в них объем сведений, суждений, концепций на-

столько велик, что нечего и пытаться вместить его в рамки этого очерка. Собственно, тогда и обнаружилось, как огромен континент, который мы затеяли освоить. А. Грин, Н. Заболоцкий, Л. Пантелеев, Л. Леонов, Ф. Вольф, Д. Гарднер, К. Воннегут, А. Писемский, В. Гаршин, Л. Андреев, Р. Роллан, А. и Б. Стругацкие, Э. Хемингуэй, Ю. Нагибин, Н. Николев, А. Галич, Н. Павлов, А. Платонов — это лишь часть писателей, критическая деятельность которых стала предметом научного изучения, притом для многих из них впервые.

Я назову некоторые темы и идеи, выдвигавшиеся во время этих конференций, расценивая их как крупницы опыта, подлежащего освоению, обобщению и использованию: категория читателя в профессиональной и писательской критике; критические суждения в письмах Тютчева; писательская критика в арабских поэтических антологиях; критика собственного творчества в стихах Лажути; Геродот у Плутарха как объект критики; стихи Державина о стихотворстве и стихотворцах; Каченовский в пародиях и антикритиках Кюхельбекера; литературная пародия как акт творческой критики (Тургенев о поэзии Фета); эпиграмма как форма критики в творчестве Тургенева; черт как литературный критик (Из наблюдений над текстом романа Достоевского «Братья Карамазовы»); уэллсовские реминисценции в «Клопе» и «Бане» Маяковского; Достоевский и русская гейнеана.

Можно надеяться, что рано или поздно природа и специфика писательской критики как особого эстетического феномена станет предметом обобщающих исследований, которые будут учитывать опыт многих десятков писателей. Автор этих строк не видит себя участником решения этой необъятной проблемы. Но могу признаться, что посвятил последние годы изучению автора, которому принадлежит уникальное место именно в ряду писателей-критиков. Это Иван Франко.

В его 50-томном (а на самом деле 56-томном!) «Зібранні творів» «Фольклористические и литературно-критические статьи» занимают 20 томов. Уже одно это больше, чем ПОЛНЫЕ собрания сочинений Белинского или Чернышевского, не говоря уже о рано умерших Добролюбове или Писареве. Но в действительности и в эти 20 томов вместились не все: значительное количество литературно-критических работ Франко напечатаны в других разделах. Например, предисловия, которые он писал к своим переводам и которые ничем не отличаются от предисловий к работам других переводчиков,

мы находим в первых 25 томах, в ряду «Художественных произведений». А это не более и не менее, как книги Франко о Данте и Пушкине, не говоря уже о вещах, которые меньше бросаются в глаза.

Среди «научных произведений» (Т. 44–47) есть статьи литературно-критического характера или, во всяком случае, содержащие анализы и оценки писателей и художественных произведений. Упомянутое «Зібрання творів» не только не является полным, но страдает многочисленными и существенными пробелами, которые ликвидировались позднее. Сначала вышел сборник «Іван Франко. Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах»¹¹³. А в 2006–2010 годы «Зібрання творів» было продолжено выпуском еще нескольких «Дополнительных томов», в двух из которых были собраны литературоведческие, фольклористические, этнографические и публицистические статьи, причем прямо было сказано, что необходимость их выпуска связана с вынужденными пробелами в пятидесятитомнике, возникшими по вине советской цензуры.

Естественно, сам Франко не раз задумывался о природе и задачах литературной критики. В 1896 году он опубликовал статью «Слово о критике», в которой утверждал, что «критика никогда не была руководителем литературного творчества, а всегда плелась за ним, подсчитывала готовые уже достижения», что «каждый великий талант опрокидывал установившиеся правила критики, создавал одновременно с великими творениями и новые критические мерки для них». «Угодно ей или не угодно, — писал Франко, — но она обязана быть не догматической, а аналитической, не дедуктивной, а индуктивной. Перед литературным произведением критик не судья, не Зевс-громовержец, а сведущий докладчик»¹¹⁴.

Критик вправе испытывать при знакомстве с литературным произведением те же чувства, которые испытывает любой читатель, но он обязан подвести свои чувства «под какие-то высшие принципы, — *язык чувства перевести на язык разума*»¹¹⁵. Этим последним словам Франко придавал такое значение, так хотел приковать к ним внимание, что они — и только они! — были для большей убедительности выделены курсивом.

¹¹³ Іван Франко. Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах / Упорядники: З.Т. Франко, М.Г. Василенко. Львів: Каменяр, 2001.

¹¹⁴ Франко И. Сочинения. Т. 9. М.: Гослитиздат, 1959. С. 70.

¹¹⁵ Там же. С. 71.

Позволю себе, однако, утверждать, что если подобные «переводы чувств на язык разума» в критике не редки, то для Франко обращение к ним отнюдь не было правилом, что подтверждается и его собственным признанием: «И в свои научные и публицистические работы я вношу своей темперамент и этим способом (а не переводом языка чувств на язык разума! — *Л.Ф.*) пробуждаю заинтересованность к затронутым мной вопросам»¹¹⁶.

В действительности Франко-критик вовсе не был склонен воздерживаться от прямого выражения своих чувств, которые ни на какой другой язык не переводятся, а успешно сосуществуют с мыслями, в которых тоже не обнаруживается недостатка. Более того, ему случалось предъявлять другим критикам претензии, прямо противоречащие тем, которые акцентировал его требовательный курсив.

Для критических работ Франко характерны стилевые особенности, которые проистекают именно от «сердца»: обилие и острота полемических приемов, склонность к использованию риторических вопросов и восклицательных предложений, ораторские интонации, многообразные выразительные возможности иронии, гневные инвективы. Убежден, что литературно-критическое наследие Франко дает уникальный материал для уяснения природы именно писательской критики.

Рано или поздно природа и специфика писательской критики как особого эстетического феномена станет предметом обобщающих исследований, которые будут учитывать опыт многих десятков писателей. Но и сейчас очевидно, что они лишь подтвердят особость того места, которое занимает в этом ряду Франко. Для подавляющего большинства писателей обращение к литературной критике было событием единичным, неким отвлечением от своего главного дела. Не то у Франко. Сделанное им в области литературной критики практически не уступает его деятельности как писателя. Художественное творчество — деятельность его как поэта, драматурга, беллетриста — и деятельность как критика в количественном отношении вполне сопоставимы, и он представляет собой в этом смысле уникальное явление в мировой литературе. Именно потому, что литературно-критическое наследие Франко не знает себе равных в мировой литературе, его изучение способно привести к наиболее обоснованным выводам.

¹¹⁶ *Франко І.Я.* Твори. Т. XX. К.: Держлітвидав, 1956. С. 582.

30 июля 1879 года он писал М. И. Павлику: «Вы знаете, что когда я пишу что-нибудь, я совсем не хочу создавать шедевры, не думаю о законченности формы и т. д. не потому, что это неважно само по себе, но потому, что теперь главное дело в нас — сама мысль, главное задание писателя — возбудить, заинтересовать, воткнуть в руки книжку, пробудить в голове мысль. Исходя из этого, я считаю Флобера, сидящего 20 лет над одной повестью, дураком или великим самолюбом. Я придерживаюсь метода Золя, который пишет и не зачеркивает, но пишет только тогда, когда мысль вполне сложилась в его голове» (Т. 48, С. 199–200)¹¹⁷. Это, конечно, экскурс в свою творческую лабораторию, но одновременно определение критериев, с которыми он подходит к оценкам других писателей — и не только поименованных Флобера и Золя.

Самую развернутую и конкретную характеристику своего метода работы как литературного критика Франко дал, отвечая однажды на обращенные к нему нападки: «Приступая к оценке литературного произведения, я прежде всего беру его как факт духовной истории общества, затем как факт индивидуальной истории данного писателя, т. е. стремлюсь использовать метод исторический и психологический. Проследив таким образом генезис, значение и идею данного произведения, стараюсь оценить достигнутые результаты, исходя из состояния современных духовных и культурных потребностей и стремлений, задаюсь вопросом, что там необходимо ценного, поучительного и полезного для нас, т. е. попросту насколько данный автор и данное произведение стоят того, чтобы мы его читали, думали над ним и писали о нем» (Т. 27, С. 311).

Это самоанализ профессионального критика, но не менее, а может быть, еще более важно то, что Франко, выступая, как критик, оставался **писателем**. Во многих из его критических статей созданы художественные образы тех, о ком эти статьи написаны, причем это касается не только таких крупных фигур, как Лев Толстой, Иван Вишенский или Леся Украинка, но и третьестепенных литераторов, вроде бы не заслуживавших подобного внимания. Видимо, он не мог иначе, потому что, становясь критиком, но оставаясь при этом писателем, он продолжал, по крылатому выражению Белинского, мыслить образами.

¹¹⁷ Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, ссылки в тексте даются по изданию: *Франко І.Я. Зібрання творів*. Т. 1–50. К.: Наукова думка, 1976–1986.

В его статьях увидишь такое, что трудно себе даже представить под пером любого другого автора. Много ли вы мне укажете **литературно-критических статей**, из которых можно выписать такой, к примеру, отрывок: «Но вот раздается зловещий сигнал, неприятель идет на приступ, команда бастиона вся бросается на вал, в самую пасть огня. Солдат с амулетом падает первым; тот, кто минутой назад дрожал, выказывает в пылу сражения чудеса храбрости; новичок, первый раз оказавшийся в огне, хватается знамя из рук падающего ветерана — один момент, один клич — и все исчезает в клубах дыма, а когда он рассеялся — вся эта горстка, кто знает, трусов или героев, идиотов или обыкновенных людей — лежит спокойно, недвижимо, навеки усыпленная ужасной катастрофой войны»¹¹⁸?

С особой силой писательское мастерство Франко выявилось при создании в его статьях литературных портретов. Как правило, каждый из них содержит не только обзор творчества, но и психологическую характеристику соответствующего писателя. Их много, и хотя они очень несходны, он имел обыкновение давать им однотипные заголовки: «Гергарт Гауптман, его жизнь и произведения», «Эмиль Золя, его жизнь и сочинения», «Конрад Фердинанд Мейер и его произведения» и т. п.

Каждый такой портрет, каждая творческая биография писаны не только пером критика, но и кистью художника. Откровенно говоря, я не могу назвать еще одного писателя-критика, статьи которого были бы так насыщены образными оборотами, яркостью сравнений, остротой контрастов. Но не везде, а лишь в той степени, в которой это отвечало авторскому замыслу.

Прежде чем мы прочтем почти три десятка страниц статьи о Конраде Мейере, в самое ее начало выдвинут впечатляюще детализированный художественный образ, в который как бы спрессовано все ее дальнейшее содержание: «К. Ф. Мейер стоит как высокий ветвистый дуб, который глубоко и широко пустил корни, крепко держится в почве, и хотя не скрипит, как дуплистая осина, но зато издает свой серьезный, может быть, несколько однообразный, но глубоко поэтический шум, волнующий душу и навевающий свеже, светлые мысли»¹¹⁹.

¹¹⁸ Франко И.Я. Избранные сочинения. Т. 5. М.: Гослитиздат, 1951. С. 299.

¹¹⁹ Франко И. Сочинения. Т. 10. М.: Гослитиздат, 1959. С. 24.

В статье «Жизнь и произведения Альфонса Доде» Франко, стремясь противопоставить Доде и Золя, насытил характеристику первого каскадом блистательных образов, намеренно обделив в этом второго. Мы читаем: «Правда, из маленьких рассказов Доде, этих подлинных самоцветных брильянтов, щедро рассыпанных знаменитым автором, переведено у нас очень мало...» (Т. 31. С. 173.) «Несравненный дар слова <...> почти женская тонкость и нежность чувства и при этом мужская энергия рисунка шли у него в паре с подробным обозрением подробностей и с тем тонким, добродушным и притом саркастичным юмором, совершенный недостаток которого отличает, например, могучую физиономию его приятеля Э. Золя. Вдумавшись глубоко в мировоззрение Доде, мы видим, что он намного больший пессимист, чем Золя, а его рисунки, напротив, облиты таким ярким сиянием искреннего поэтического чувства, искрятся такими брильянтами творческой фантазии, что кажутся райскими садами, если сравнить их с темными, понурыми и колоссальными панорамами Золя» (Там же). «Стихи Альфонса Доде <...> почти невозможно перевести ни на какой другой язык; форма, гармония красок, музыка слов — это все в них; от них веет невыразимым очарованием, как запахом только что расцветшей ржи» (Там же. С. 177).

Нельзя не обратить внимание на то, как блеск образов, столь щедро дающий себя знать при характеристике Доде, контрастирует со скупостью описания Золя. Может быть, облик Золя предоставлял для этого меньше возможностей? Вовсе нет! Все дело в писательском мастерстве Франко, в его умении подчинить выбор художественных средств поставленной цели. В том же 1898 году, когда писалась статья «Жизнь и произведения Альфонса Доде», появилась и другая статья Франко — «Эмиль Золя, его жизнь и сочинения», в которой образное слово играет далеко не последнюю роль.

Вот несколько отрывков из нее. «Статья ударила в артистические круги, как бомба» (Там же. С. 282.) «Автор из атмосферы кадила и гармонии сразу обеими ногами вскопчил в водоворот современной жизни...» (Там же. С. 299.) «Цикл повестей, который воздвиг Золя в конце XIX века как бессмертный памятник своему художественному творчеству и одновременно как колоссальную пирамиду на могиле Наполеоновской империи. Не все в этой пирамиде — твердый гранит и блестящий порфир; есть там и простой песчаник, есть и топкое болото. Не везде рисунок отвечает жизни

и истории...» (Там же. С. 301.) «...Не раз мы прочитаем у него целые сотни страниц, а наше чувство не взволнуется ни разу, наше сердце не забьется живее. Это скорее анатомический театр, чем живая жизнь, согретая теплом авторского сердца. <...> В этом завзятом натуралисте, в этом неутомимом художнике социального болота и гнила душа романтика <...> Реалист занимается изучением, описывает как можно старательнее, нюхает, пробует, меряет циркулем, а романтик иронически смотрит на эту работу, водит пером автора, и из-под этого пера выходят диковины, которых никогда и глаз не видел, и ухо не слышало <...> Золя можно назвать мономаном, натурой в чем-то болезненной. Контуры действительности в его руках искривляются, надуваются, приобретают неестественные цвета и движения, мертвая природа оживает, становится подобием человека и человеческой души, а живые люди, напротив, мельчают, как-то затираются и не могут сильно и полностью завоевать наш интерес и вызвать наше сочувствие» (Там же. С. 305–306).

Вот какой каскад образных средств умел Франко мобилизовать для характеристики Золя, когда считал это нужным. И то, что эти образные средства не сгущены и не сконцентрированы, как было, когда речь шла о Доде, а распылены на протяжении довольно большой статьи, объясняется различием целей, которые ставил перед собой автор. Характеризуя Доде, он добивался контрастности в сопоставлении двух писателей, а в статье о Золя она была ни к чему. Это лишь пример писательского мастерства, явленного в творчестве Франко-критика.

Как я уже писал, в 1978 году я получил одно из главных писем в моей жизни — от моего друга Юрия Буртина, который убеждал меня «не остаться в плену у старого, сделанного, не побояться открыть чистую страницу, замахнуться на что-то большое, даже непосильное». Понадобилось почти сорок лет, прежде чем я последовал этому совету. Притом не скажу, что **я это сделал**. Нет, **это со мной случилось**. Когда я задумал свою книгу о Франко, преследуя цель изучить литературную критику в аспекте не только содержания, но и формы и показать особенность писательской критики, я не считал, что замахиваюсь на что-то непосильное, превышающее мои возможности. Понимание этого пришло значительно позднее.

Есть такое расхожее выражение: «талант — это человек, способный решить проблему, которую не могут решить другие, а гений —

тот, кто видит проблему там, где другие не подозревают о ее существовании». Конечно, никакой я не гений, и проблему, которую я задался целью решить, видел до меня несчетное множество других. Свою заслугу я вижу в том, что высмотрел **материал**, на котором она может быть решена успешнее, полнее и убедительнее, чем на любом другом. А сумел ли я воспользоваться возможностями, которые открывал этот материал, не мне судить...

Наука и нравы

*Я правду об тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи.*

Грибоедов

После того как я был утвержден в докторской степени, а вслед за тем и в профессорском звании, в моей жизни наступил, можно сказать, звездный час. Остались позади приниженное положение «лица еврейской национальности», которое не берут на работу, ущемляют, не дают развернуть свои возможности. Я наконец был востребован в полном смысле этого слова и в университете, в котором я работал, и в стране, в которой я жил.

Два проректора по науке, с которыми я имел дело, сначала Иван Александрович Наумов, потом Александр Николаевич Микитюк, высоко меня ценили, и сегодня, когда их нет в живых, я храню о них благодарную память. Поскольку на нашей кафедре появился первый и на некоторое время единственный доктор наук, была воссоздана аспирантура, и взгляды всех желающих «остепениться» устремились на меня. Я, конечно, не популяризировал свое положение рецензента ВАКа, но кому надо, об этом знали. Сильные мира сего обхаживали меня, чтобы я брал себе в аспирантки их родственниц или тех, в ком они почему-либо были заинтересованы.

После того как в нашем университете был создан Специализированный совет по русской литературе, я стал основным поставщиком защищавшихся в нем диссертаций. На первом заседании Совета защищались две диссертации, и обе — «мои», а потом это повторялось не раз. По моим приглашениям в Харьков приезжа-



Среди учениц

ли А.Л. Гришунин, Б.Ф. Егоров, Я.С. Билинкис, В.С. Баевский, И.Я. Заславский, М.М. Гиришман, С.Д. Абрамович, Э.В. Кирилук, М.В. Теплинский, А.В. Кеба и другие именитые оппоненты.

А до открытия нашего Совета мои ученики и ученицы получали степени в Москве, Ленинграде, Свердловске, а также в Симферополе, Херсоне и, конечно, в Киеве. Совет в Институте литературы имени В.Г. Шевченко, которым руководила Нина Евгеньевна Крутикова, был, можно сказать, моим вторым домом. Мне кажется, Нину Евгеньевну любили все, кто ее знал. С тихой гордостью вспоминаю, что и она одаряла меня своим уважением и душевным теплом. Буквально месяца за два до смерти она отправила последнюю из подаренных ею мне книг — монографию «Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя».

Конечно, я не только пользовался ее услугами, но и стремился отвечать на них. Скольким людям я там прооппонировал, сказать не решусь, но в этом Совете и с моим прямым участием получили докторские степени два самых близких, самых долголетних моих киевских друга — Зинаида Васильевна Кирилук и Исая Яковлевич Заславский. Я не только оппонировал сам, но организовывал приезды в Киев людей моего дружеского круга: Андрея Леопольдовича Гришунина из Москвы, Бориса Тимофеевича Удодова из Воронежа, Ваню Семеновича Шадури из Тбилиси.

До распада Советского Союза я был так завален приглашениями на оппонирования из всех его концов, что при всей моей любви к такого рода поездкам многим приходилось отказывать. Кроме Москвы и Ленинграда, были еще Томск, Саратов, Ростов, Тбилиси, Ташкент и еще что-то, не поручусь за полноту этого перечня.

Мне кажется, никто не упрекнет меня во лжи, если я скажу, что я многим людям помог на протяжении своей жизни. Когда-то очень давно я по какому-то поводу написал Лихачеву: «Дмитрий Сергеевич, я понимаю, что никогда не смогу сделать для Вас чего-то сопоставимого с тем, что вы сделали для меня, но я обещаю, что ко всем, кто обратится ко мне за помощью, я буду относиться так, как Вы отнеслись ко мне». В меру своих возможностей я это обещание исполнял. Я способен достаточно трезво оценивать свои побуждения, чтобы не называть это альтруизмом. Это скорее *такой* эгоизм. Я делаю это для себя, для того, чтобы ложиться спать с сознанием, что я сегодня кому-то помог, сделал доброе дело.

После 1991 года наличие российско-украинской границы приобретало все большую реальность. Боже вас сохрани даже мысль допустить, что я потерял прежнее отношение московских или петербургских филологов! По сей день не скудеет поток приглашений на конференции и на участие в сборниках, куда зовут печатать и печатают не только меня, но и моих учеников. Два подготовленных мной фундаментальных издания вышли в такой престижной серии, как «Литературные памятники», ожидается третье. Редакция справочника «Кто есть кто в российском литературоведении» востребовала у меня сведения о себе и исправно их использовала. А о статьях и говорить нечего. Не раз и не два в российской научной периодике меня называли первым русистом Украины.

Меня так упорно продолжают считать «своим», что дело доходит прямо-таки до комичных ситуаций. Мой давний приятель, заведующий кафедрой русской литературы Санкт-Петербургского университета Александр Анатольевич Карпов, постоянно присылает мне на подпись всякие коллективные письма с протестами против безобразий, творящихся в России, как будто российские власти может заинтересовать мнение иностранца. Как я ему это ни объясняю, не хочет он признавать меня иностранцем. Что и говорить, граница между Украиной и Россией есть, но нет границы между Фризманом и русской литературой. Не была она для меня иностранной и не будет!

Другое дело, что, живя в Украине, я работаю по украинским правилам и инструкциям, и их недостатки ранят меня и ранят болезненно. Я недостаточно знаком с ныне действующими в России требованиями к диссертациям и не могу сравнивать их с нашими. Я могу говорить только о том, что я твердо знаю: чем отличается ситуация в союзном ВАКе, в котором я работал в 80-е годы, от существующей сейчас в Украине. И нет в этом ничего от старческого ворчания и попыток идеализации времен прошедших в укор нынешним. Я анализирую только бесспорные факты.

Союзный ВАК 1960–1980-х, по законам которого я защищал и к деятельности которого стал позднее причастен, не следует идеализировать и принимать за образец. Скандальных ситуаций и тогда было предостаточно. Когда объявлялось решение о его реформировании или, как тогда говорили, перестройке (никто не подозревал, что вот-вот выскочит черт из табакерки по фамилии Горбачев и затеет такую Перестройку, что само это слово будет ассоциироваться

только с ним), особенно рьяно популяризировался факт, что в один день были утверждены две диссертации, идентичные по содержанию и чуть ли не по тексту. Были известны и другие многочисленные безобразия: как четыре года не утверждали диссертацию З.Г. Минц, наткнувшуюся на отрицательный отзыв выжившего из ума кретина Машбиц-Верова, которому эту диссертацию специально направили из ненависти к ее мужу Ю.М. Лотману; как сидевший в ВАКе К.Н. Ломунов более двух лет препятствовал утверждению в докторах Я.С. Билинкиса, который до того напечатал рецензию на монографию Ломунова, озаглавленную «Описывать или исследовать?»; как задерживали утверждение А.Л. Гришунина из-за доноса, связанного с его давнишним исключением из партии. Не помню точно, сколько, но немислимо долго, длилось утверждение харьковчанина М.Г. Зельдовича, вероятно, из-за нежелательной национальности. Подобных случаев было так много, что установили ограничение на срок рассмотрения — 10 месяцев, десятый месяц называли «престижным». Он, конечно, тоже нарушался, но в целом какой-то порядок был наведен.

Я о другом. В том ВАКе решения принимали ученые, и не просто какие-нибудь, а крупные, авторитетные ученые с громкими именами, известными всей стране. Долгое время лингвистику контролировал академик Виноградов, много привлекался Благой, иногда и Жирмунский, Гудзий, Машинский, Стеблин-Каменский, Дьяконова. А сотрудники аттестационных отделов проверяли исправность документов, отсутствие нарушений процедуры в процессе зачит, но никаких решений не принимали.

Я это видел. Да, был при Кулешове начальник аттестационного отдела Андрей Федорович Парастаев, с которым я взаимодействовал, чтобы не морочить голову Василию Ивановичу по любому пустяку. Но ведь он смотрел на Кулешова, как дрессированная собачонка, мог что-то подсунуть, о чем-то напомнить, но сам ничего не решал. Я в украинском ВАКе не работал, порог его переступал два-три раза в жизни, но знаю, что там такие парастаевы указывали кулешовым, какое решение им провести через Экспертный совет!

Утверждаю, что действующие у нас требования к содержанию и оформлению диссертаций ни один ученый сочинить не мог, — этим занимались чиновники-бюрократы, имеющие весьма отдаленное представление о том, что такое наука, научные исследо-

вания и научное творчество. Диссертация — это только другое название монографии. Что такое монография? На этот вопрос ответит любой словарь: «Научное исследование, посвященное одной теме, решению одной проблемы». А диссертация разве не то же самое? Закономерно, что монографии защищаются в качестве диссертаций. Полагаю, такую практику следует всячески поощрять. Естественно, что все филологи ориентируются, как на образцы, на монографии, созданные классиками их науки: «Поэтика древнерусской литературы» Лихачева, «Пушкин и Байрон» Жирмунского, «Реализм Гоголя» Гуковского, «Достоевский и мировая литература» Фридендера. Так же следует поступать и авторам диссертаций.

Но диссертации заставляют писать по другим правилам, и эти правила выдают сочинителей с головой. Они требуют от автора, чтобы он САМ определял актуальность своей темы и новизну полученных результатов. Полагаю, что любой подлинный ученый согласится: эти требования абсурдны. Актуальность и новизна исследования — это КРИТЕРИИ оценки научной работы, а оценку должны давать рецензенты, оппоненты, эксперты, но никак не автор. Тот, кто делает это сам, уподобляется кокетке, которая сама расхваливает свою внешность: «Посмотрите, какие у меня глазки! Обратите внимание на мои ножки!».

Мне лишь раз в жизни довелось видеть Юрия Валентиновича Кнорозова, историка и этнографа, расшифровавшего письменность майя, за что его сравнивали с Шамполионом, но общие знакомые рассказывали, как проходила его защита. Вступительное слово диссертанта продолжалось три минуты, после чего он покинул кафедру. Он не пожелал говорить: я открыл, я нашел, у меня актуальность и новизна! Только когда стали выступать оппоненты, зал осознал значение свершившегося.

Передо мной статья выдающегося литературоведа современности Вадима Эразмовича Вацура «Русская идиллия в эпоху романтизма» — первая, просто первая работа на эту тему. Она начинается словами «Тема, обозначенная в заглавии настоящей статьи, не является совершенно новой. К ней уже обращались...» и т. д. Вот какими словами характеризуют свою новизну настоящие ученые! Вы можете себе представить, чтобы Лихачев, Жирмунский, Алексеев сами определяли новизну и актуальность своих работ? А ныне действующее положение требует, чтобы автор не просто определил

свою новизну и «обозначил свое место в решении проблемы», а еще по полочкам ее разложил: вот это у меня впервые получено, это усовершенствовано, это получило дальнейшее развитие...

Я не настолько наивен, чтобы не понимать, из чего такие требования истекают. Чиновники, назначенные командовать учеными, настолько невежественны, что сами отличить актуальную тему от неактуальной НЕ СПОСОБНЫ. Образования не хватает, чтобы отделить новое от тривиального. Вот они и перекалывают это на авторов, надеясь разжиться готовым результатом.

А чего стоит схоластическое разделение «объекта» и «предмета» диссертаций! Помните, как Мюллер объяснял Айсману: «Действия и поступки — это одно и то же»? Объект и предмет исследования — это одно и то же. Не я открыл эту истину. Ее подтвердит любой толковый словарь. Например, Ожегова: объект — «предмет, на который направлено действие». Уловили? Объект — это и есть предмет. А что такое предмет? «То, на что направлено какое-нибудь действие». Не удовлетворены? Откройте словарь Ушакова: «объект — предмет, то внешнее, на что направлена деятельность человека».

Авторы действующей инструкции, заявляющие, что предмет — это часть объекта, претендуют на командование уже не наукой, а языком: вкладывают в слова то значение, которого эти слова не имеют. Меня спросят: зачем присматриваться к этим деталям? А затем, чтобы понять, откуда у них ноги растут. Ни один ученый в процессе исследовательской работы не задается вопросами: а какой у меня объект? а какой у меня предмет? Не авторам и не читателям научных работ это нужно, а безголовым контролерам.

Игнорируется специфика отдельных наук, в частности наук гуманитарных. Требования указывать практическое значение полученных результатов необходимы, если речь идет о работах технических, сельскохозяйственных, медицинских, но не применимы к философским, филологическим, историческим. Оказавшись в безвыходном положении (требование инструкции — закон!), несчастные соискатели в диссертациях о Цицероне и Шаламове, Сервантесе и Губермане уныло пишут одно и то же: материалы, дескать, могут быть использованы в спецкурсах, спецсеминарах, внеклассной работе... Вы видите, что одни и те же слова кочуют из диссертации в диссертацию независимо от ее содержания? Вы понимаете, что они в этом случае теряют всякий смысл?

Идем дальше. Инструкция, действующая на Украине, требует составления списка использованных ДЖЕРЕЛ. Джерело — это источник. Изучением природы источников занимается специальная наука — источниковедение. В диссертации об «Анне Карениной» источник — это текст романа Толстого, а работы других исследователей об «Анне Карениной» следует озаглавить «Список использованной литературы». Смешивать источники и использованную литературу может только круглый невежда. Попробуйте убедить в этом наших перепуганных ученых секретарей Советов! Им вынь да положь джерела.

И наконец, главное. Требования к научной работе не должны напоминать устав строевой службы. Отказаться от них совсем нельзя: поскольку исполнителям разных работ присуждается одна и та же степень, должно быть и некое единство предъявляемых к ним требований. Но исходить следует из того, что перед нами изложение результатов творческого, исследовательского процесса. Ни одна инструкция не может предусмотреть всего их многообразия. Поэтому ее формулировки должны носить преимущественно рекомендательный характер. И сам диссертант, и в особенности Советы должны обладать узаконенным правом отступать от тех или иных рекомендаций, если это диктуется спецификой данной науки или данной исследовательской задачи.

Изложение общей методики и основных методов исследования, на которые предписано отводить вторую главу, нужно не во всех диссертациях, а лишь в тех, где эти методы в чем-то необычны, обновлены, являются результатом творческой работы автора. И уж конечно, смехотворно указывать, *сколько процентов* общего объема работы отводится на ту или иную главу.

Должен признать, что, когда в начале 90-х появился украинский ВАК, требования к диссертациям не были столь узколобы и не так впечатляли своим невежеством, как это произошло позднее. Лет десять я особых препятствий в своей деятельности не ощущал. Выпускал одного аспиранта за другим, все они исправно получали степени, а за барской любовью я никогда не гонялся.

Все стало меняться, когда председателем ВАКа стал В. В. Скопенко, начавший устанавливать жандармские порядки. Я легкомысленно надеялся, что ликвидация ВАКа и передача его функций Министерству образования и науки оздоровят ситуацию. Произошло прямо противоположное. Научное сообщество страны

отстранено от присуждения ученых степеней и званий. Его прибрали к рукам какие-то неведомые лица, не обремененные ни собственными научными трудами, ни заслугами в подготовке кандидатов и докторов. Укрывшись в своих кабинетах, они творят черные дела.

Когда-то в беседе с С. И. Машинским я поделился с ним опасениями по поводу утверждения ВАКом моей докторской, и он, имевший в этом деле большой опыт, задумчиво произнес: «Знаете, диссертант смотрит на ВАК, как кролик на удава. Между тем если диссертация защищена без каких-либо нарушений процедуры, то отклонить ее не так-то просто». Ах, милый вы мой Семен Иосифович! Я вам расскажу, как это делается в Киеве.

Некий чиновник по каким-то ему одному ведомым соображениям принимает решение отклонить данную диссертацию и вызывает соискательницу на заседание Совета. Сам он остается за кадром, а пятнадцать профессоров, проинструктированных, какое решение они должны оформить, забрасывают ее вопросами, перебивают, поспеиваются, словом, куражатся всласть. После этого соискательницу удаляют, **«обсуждение» проводится в ее отсутствие**, никакого решения ей не сообщают, а просто в Совет приходит бумага: в присуждении степени отказать, а Совет лишить права проводить защиты по данной специальности.

Даже преступникам дают возможность выслушать выдвинутые против них обвинения и после этого выступить с последним словом. А наши соискатели этого права лишены. Мне понятно, по каким соображениям установлены такие порядки. Рассуждают так: нельзя, чтобы диссертантка услышала, что я был против ее утверждения, она расскажет об этом своему руководителю, а он человек влиятельный, при случае мне так врежет! Во мне подобные соображения вызывают брезгливость.

Я за полную открытость в обсуждениях научных вопросов, в том числе и достоинств и недостатков диссертации. Я приглашал бы участвовать в них и научных руководителей, и председателей Советов, в которых защищалась работа, и даже оппонентов, если в том возникает нужда, — пусть принимаемое решение будет плодом дискуссии специалистов. А если это делается тайком, за закрытыми дверями, то что же это за сообщество ученых, черт возьми!

Я выделяю три черты, которые отличают сегодняшнюю ситуацию в Украине от того, что я видел в 80-х годах. Первая — беззастенчивая коррупция, явление, с которым я не только не сталкивался,

работая в московском ВАКе, но даже слышать не доводилось. Чтоб кто-нибудь дал взятку Благому или Кулешову, да хоть и самому последнему Машбиц-Верову, даже представить себе невозможно! Искали заступников, влиятельных покровителей, крупных ученых, способных замолвить слово, — такое бывало. Но что утверждение можно купить у чиновника аттестационного отдела, никому и в голову не приходило. А сейчас? Доводят до сведения неудачливого соискателя цену его вопроса: заплатишь — утвердим, не заплатишь — останешься без степени.

Вторая — расцвет плагиата. И кто пойман за руку? Жена вице-премьер-министра страны Екатерина Кириленко¹²⁰. И сами разоблаченные ворюги подыскивают объяснения, причины, по которым их разоблачили, пытаются приуменьшить количество украденного, но самих фактов совершенного ими плагиата не отрицают. Признали их и бывший министр Станислав Николаенко, и нынешняя Лилия Гриневич¹²¹.

И третья черта, вероятно связанная с двумя предыдущими, — девальвация ученых степеней. Дело в том, что все препоны, все страшные барьеры, которые ставятся на пути диссертантов, носят чисто бюрократический характер. Да изготовят вам столько публикаций, сколько пожелаете, и на английский переведут, и в Интернете разместят... Есть контора, которая называется «Профконсалтинг». Судя по размаху развернутой ею рекламы, она имеет необходимую лицензию и трудится вовсю. Но вот беда: не повышает это научной ценности проведенных исследований. И преодолеваются барьеры, установленные чиновничьими инструкциями, без задержек и затруднений. По опубликованным данным, в Украине наплодили больше докторов педагогических наук, чем их было во всем Советском Союзе. А докторов экономических наук стало больше, чем во всех странах Европы вместе взятых.

Автор этих строк ни разу в жизни не дал и не получил взятку, да и возможностей таких не имел. Заведующий кафедрой — тоже мне должностное лицо! К нему и просьб таких не поступает, чтобы потребовать на лапу за их исполнение. О том, чтобы я посягнул на чужое, и говорить нечего: своего хватает, и делился им всю

¹²⁰ Читайте подробности в: ... Диссергейт // Зеркало недели. 24 июня 2016.

¹²¹ Мазур В. Как лишить плагиаторов ученого звания // 2000. 10 февраля 2017; Соколова В. Ворье // 2000. 28 апреля 2017.

жизнь. Фиктивных соавторов к своим статьям приписывал — грешен. Не о себе заботясь, а о соавторах, нуждавшихся в публикациях. Соавторство книг всегда было действительным: без сотрудничества, без выполнения согласованного распределения обязанностей ни одна из них не вышла бы в свет. Множество раз убеждался, что соавторство — это школа. Набравшись опыта в процессе совместной работы, мои соавторы в дальнейшем справлялись и без меня.

Девальвацию ученых степеней рассматриваю очень болезненно — как посягательство на ценность моей собственной степени. С горькой иронией слежу за тем, как вошло в обиход выражение «настоящий профессор». Столько наплодили ненастоящих, что язык на это прореагировал. Есть ли в этом доля моей вины? Наверное есть. В целом мне за качество своей аспирантуры краснеть не приходится. Многие ее выпускники стали докторами и заведующими кафедр, есть среди них ректоры и проректоры. Но как у каждого руководителя, подготовившего много кандидатов, были у меня и слабые диссертации, не удовлетворявшие меня самого.

Причина очевидна: низкий уровень нашего высшего образования, я бы сказал и резче — его деградация. В результате в аспирантуру попадали люди, к ней в действительности не готовые. Я не раз говорил: не должны выпускники идти в аспирантуру прямо со студенческой скамьи, год пусть поработают над своими темами как соискатели. Но сталкивался с нажимом и иногда ему поддавался.

Считал бы правильным существенно (в три-четыре раза) поднять нынешнее количество часов, которые начисляют руководителю за руководство аспирантом. Поддерживаю уже высказывавшиеся предложения об увеличении срока учебы в аспирантуре. Что же касается воспитанных мной докторов — могу гордиться каждым из них. Уже и научных «внуков» — учеников моих учеников — выращено немало, и число их продолжает возрастать.

В 2017 году исполнилось 40 лет моей докторской защиты, после которой воспитание научных кадров стало важной частью моей жизни и деятельности. Этот период делится на две примерно равные части. Первые два десятилетия я имел возможность реализовать то, что мне было дано от Бога, чтобы растить своих учеников. Но затем, сначала исподволь, а потом все более явно, стало ощущаться то, что мне представляется перерождением или вырождением системы подготовки научных кадров — пусть каждый выберет то слово, которое ему более по душе. Суть своего понимания

я выразил, как мне кажется, достаточно ясно: порядки, инструкции, направление деятельности — все это перешло от ученых в руки бюрократическо-чиновничьего аппарата.

Как любая система отторгает чуждые ей элементы, так и я был отторгнут этой системой. Иначе и быть не могло. Если она вызывает во мне негодование и презрение, то за что же ей меня любить? Здесь все закономерно. Взаимность нашего неприятия характеризует и меня, и ее.

Но вот о чем я хотел бы сказать с предельной определенностью и ясностью. Я был отторгнут этой порочной с моей точки зрения системой, но не украинской филологической наукой, чиновниками, а не научным сообществом. Приезжая на конференции, я был встречаем так, как только можно себе пожелать, на моих выступлениях царила мертвая тишина, все глаза были устремлены на меня, а уши ловили каждое слово. Моим присутствием дорожили, к моему мнению прислушивались.

В подтверждение сказанного позволю себе привести перечень тех украинских филологов, литературоведов, с которыми я общался и от которых не видел ничего, кроме внимания и уважения. Чтобы он не был слишком длинным, в него включены только обладатели докторских степеней и профессорских званий. С. Д. Абрамович, В. К. Айзенштадт, И. В. Александрова, Е. А. Андрущенко, Е. С. Анненкова, Д. С. Берестовская, Л. М. Борисова, С. Б. Бураго, И. А. Высоцкая, М. Ф. Гетманец, М. М. Гиршман, В. А. Глущенко, М. Я. Гольберг, Э. П. Гончаренко, Я. Ю. Голобородько, Р. Т. Громьяк, А. Т. Гулак, В. А. Гусев, Е. А. Гусева, Л. В. Дербенева, Л. В. Дереза, В. Г. Дончик, С. И. Дорошенко, И. Я. Заславский, Д. В. Затонский, И. С. Заярная, В. Я. Звиняцковский, М. Г. Зельдович, С. П. Ильев, Н. И. Ильинская, В. П. Казарин, Г. Ф. Калашникова, О. Л. Калашникова, В. М. Калинин, А. В. Кеба, Е. П. Кирилюк, З. В. Кирилюк, А. С. Киченко, И. В. Козлик, С. А. Комаров, А. А. Кораблев, С. А. Кочетова, С. К. Криворучко, Н. Е. Крутикова, Л. А. Кудрявцева, С. О. Курьянов, Т. В. Кушнирова, А. И. Лагунов, Н. П. Лебеденко, Л. А. Лисиченко, И. Я. Лосиевский, М. Б. Лановик, Т. П. Маевская, Н. Р. Мазепа, Т. М. Марченко, И. С. Маслов, В. Г. Матвишин, В. И. Мацапура, И. И. Меньшиков, А. Д. Михилев, О. Г. Муромцева, А. Ю. Мережинская, А. В. Михед, О. В. Мишуков, И. И. Москвина, О. Н. Николенко, А. А. Новиков, М. А. Новикова, В. В. Орехов, Т. А. Пахарева, Л. Н. Пелепейченко, А. Б. Перзекке, Р. Н. Поддубная,

Т. Н. Потницева, О. В. Резник, Е. И. Романова, Э. М. Свенцицкая, А. С. Силаев, В. И. Силантьева, Д. Н. Синельникова, Е. А. Скоробогатова, И. И. Степанченко, Л. Ф. Тарасов, М. В. Теплинский, В. И. Теркулов, В. Н. Тихомиров, Е. Г. Ткаченко, Л. В. Ушкалов, В. В. Федоров, Ю. П. Фесенко, Т. В. Филат, А. М. Финкель, И. В. Черный, Ю. В. Шанин, Т. С. Шевчук, Э. Г. Шестакова, А. М. Эмирова.

Список противоположного свойства своих, так сказать, гонителей назвать не могу: ни одного в глаза не видел, ни одного имени не знаю. Расскажу только о том, какими методами они действовали. Помешать главному в моей деятельности — моей работе как ученого, моему научному творчеству — они не могли. Мои книги выходили и выходят одна за другой, и на Украине, и в России, получают признание во всем мире, и с этим они ничего поделать не могут.

Оставалось пакостить исподтишка. Отобрали журнал, который я основал и выпускал больше двадцати лет, по регулярности выхода он не знал себе равных и «кормил» всю страну. Надавили на ректорат университета, в котором я работал, чтобы меня поскорее выперли на пенсию. И уж конечно, сделали все возможное, чтобы отстранить от подготовки научных кадров.

Целенаправленно распускались слухи, что ко мне, дескать, ТАМ относятся плохо, что меня опасно не только обозначать в качестве научного руководителя, но и приглашать в оппоненты, потому что мое участие в защите может иметь нежелательные последствия при последующем продвижении работы. Знаю людей, которые такими слухами руководствовались, и никаких претензий к ним не имею. При наших нравах и порядках держаться от меня подальше было вполне предусмотрительно.

По прямому указанию сверху меня не допускали в состав Совета по защитам, хотя ни один из членов этого Совета не имел ни такого опыта подготовки научных кадров, как я, ни результатов, сопоставимых с моими. Налицо была открытая персональная дискриминация. Ну и факты прямого обкрадывания, если называть вещи своими именами.

Одна преподавательница (ни имени, ни города называть не буду) решила писать докторскую диссертацию об украинской элегии. Я считался первым специалистом по элегическому жанру не только на Украине, но и на всем постсоветском пространстве, и, естественно, она попросилась в мою докторантуру. Диссертация была написана, выпущены монографии — все честь честью.

Но на заседании, на котором диссертация рекомендовалась к защите и на которое меня не пригласили, было решено обозначить научным консультантом не меня, а человека, который диссертантку и в глаза никогда не видел.

Второй подобный случай. При подготовке к защите другого моего докторанта по указанию свыше мое имя было удалено с титульного листа диссертации и автореферата. Объяснение смехотворное: он, дескать, на пенсии. Да даже если б я умер, следовало указать мою фамилию в траурной рамке! Но недаром говорят: когда Бог хочет кого наказать, он лишает его разума.

Клятвенно заверяю: у меня нет никаких претензий ни к диссертанту, ни к руководству Совета. В создавшихся условиях они иначе поступить не могли. В сущности, их можно только пожалеть. Их унизили и поставили в глупое положение ни за что ни про что. Я привел эти два случая, потому что это факты грабежа на «докторском» уровне, которых в моей жизни было немного, и потому они запомнились. А сколько у меня украли кандидатских защит, и сосчитать не могу. Делалось это открыто, внаглую: не разрешали указывать мое имя на диссертациях, подготовленных под моим руководством. Как я расцениваю подобные действия, догадаться нетрудно. Но чтоб я жаловался или скулил — НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

Я начал с Твардовского, им и завершу. Скажу о себе его словами:

...С великой охотой, с звериною злобой
Едят меня всякие серые волки.
НО
...Отнюдь не сказать, чтобы все-таки съели.

Пусть подтверждением этих слов послужит прочитанная вами книга.

Содержание

От автора.....	5
Вместо введения.....	6
Твардовский, Буртин и другие.....	11
Притупленное жало Овода.....	49
Молодой Баткин.....	52
Память о Лихачеве.....	61
Пигарев и Двинянинов.....	71
Кандидат, превзошедший академиков.....	79
В кругу пушкинистов.....	94
Ученый, редактор, личность.....	106
Две встречи с Грибоедовым.....	114
«Аз и Я» и я.....	122
Норвежский исследователь русской литературы.....	130
Влюбленность.....	137
«...Об уме Юры Фридлиндера».....	146
Первая защита.....	151
В кругу лермонтоведов.....	162
Б.Ф. глазами Л.Г.....	179
Обаяние Аникста.....	197
«Поэт фактов».....	203
Г.В. Краснов: мелочи из запасов моей памяти.....	210
Мой Н.Н.....	215
Вторая защита.....	222
Рыцарь литературной науки.....	237
В мире бардов.....	248
Дорогие мои томичи.....	259
Валик и Верочка.....	268
Янковский и Бураго.....	273
Слово о Марке Теплинском.....	281
О Мише Гиршмане — ученом, человеке, друге.....	288
Служили два товарища.....	292
Многоликий профессор.....	301
Полвека в «Воплях».....	311
Дружба с Дружниковым.....	322
«Обманчивый коллега».....	330
О писательской критике и Иване Франко.....	352
Наука и нравы.....	365

12+

Леонид Фризман
В КРУГАХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

Мемуарные очерки

Редактор *Е. В. Горшкова*
Корректор *Т. В. Никонова*
Оригинал-макет *А. А. Крыласов*
Дизайн обложки *И. А. Тимофеев*

Подписано в печать 00.00.2017. Формат 60×90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл.-печ. л. 23,75
Тираж 500 экз. Заказ № 1041

Отпечатано в типографии
издательства «Нестор-История»
Тел. (812)235-15-86

По вопросам приобретения книг
издательства «Нестор-История»
звоните по тел.: +7 965 048 04 28